

ЮНОСТЬ

12 '91





Георгий КУСОЧКИН. г. Кострома. «Эх, погуляем». Холст, темпера. 1989 г.

На первой странице обложки — «Демократия уже не девочка...». Холст, темпера. 1989 г.

Смотрите нашу вкладку.

ЮНОСТЬ



(439) 12'91

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ**

**ВЫХОДИТ
С ИЮНЯ
1955 ГОДА**

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Татьяна БОБРЫНИНА —
редактор отдела прозы
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ —
редактор отдела культуры
Натан ЗЛОТНИКОВ —
консультант главной редакции
Олег КОКИН — главный художник
Михаил КУРКОВ —
коммерческий директор
Виктор ЛИПАТОВ —
заместитель главного редактора
Константин МИХАЙЛОВ —
редактор отдела публицистики
Эмилия ПРОСКУРНИНА —
редактор отдела рукописей
Анна ПУГАЧ — редактор
отдела международной жизни
Юрий САДОВНИКОВ —
ответственный секретарь
Александр ТКАЧЕНКО —
редактор отдела поэзии
Александр ХОРТ —
редактор отдела сатиры и юмора
Ирина ХУРГИНА —
редактор отдела писем

Редакционный совет:

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ
Василий АКСЕНОВ
Анатолий АЛЕКСИН
Аркадий АРКАНОВ
Юрий БОЛДЫРЕВ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Георгий ИГИТЯН
Игорь ИРТЕНЬЕВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Алексей КОВЫЛОВ
Александр ЛАВРИН
Вячеслав ЛЕОНТЬЕВ
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрис ПОДНИЕКС
Юрий ПОЛЯКОВ
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Виктор РОЗОВ
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Виктор СЛАВКИН
Олжас СУЛЕЙМЕНОВ
Лев ТИМОФЕЕВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ
Юрий ШЕРБАК
Григорий ЯВЛИНСКИЙ
Глеб ЯКУНИН

Издательство «Пресса»
Москва

В НОМЕРЕ:

Проза

Олег ХАНДУСЬ. Мародеры. Рассказ (12)
Владимир ХЛУМОВ. Сухое письмо
(из «Книги Писем») (18)
Николай ЯКИМЧУК. Прогулки с Ляо-саном,
или Страдания белонощные. Повесть-коллаж (21)
Феликс ХОФМАН. Театр сюрреаль. Рассказ (33)
Валерия НАРБИКОВА. Великое кня...
Повесть (54)

Наследие

Василий КОМАРОВСКИЙ. Стихи. Проза. Публикация
и предваряющее слово В. Носкова (66)
«Мы выросли, любя Россию». Страницы дневника
княгини Екатерины САЙН-ВИТГЕНШТЕЙН. Публикация
и предисловие Ю. Кублановского (86)

Поэзия

Илья КРИЧЕВСКИЙ (41), Сергей ВАСИЛЬЕВ (52),
Татьяна ВОЛЬТСКАЯ (65), Виталий ПУХАНОВ (74),
Маша БЛИНКИНА (75), Андрей ШИРЯЕВ (80),
Иван ЧУРАНОВ (81), Мария МАКСИМОВА (82),
Элла КРЫЛОВА (83),
Александр МАКАРОВ-КРОТКОВ (83)

«20-я комната»

Игорь МАРТЫНОВ. На солнечной
стороне истории (3)
Алексей МУСАТОВ. Проснуться в России (4)
Артем АРТЕМОВ. От марксизма к идеализму-2 (5)
Андрей НОВИКОВ. Будущее исчезло (7)
Человек Эпицентра. Интервью Алексея МЕЛЬНИКОВА
К. Михайлову (9)
Вероника МАРЧЕНКО. Лучшая европейская
«Двадцатка» (39)
Дмитрий КРЮКОВ. Рок вокруг (42)
Дмитрий БЫКОВ. Взгляд на нечто (44)
Степан ФИЛИППОВ. Отчего мне невесело жить (46)
Игорь ГРИЦЕНКО. Памяти зайчика (93)

Культура и искусство

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Дураковины
Грини Кусочкина (32)
Илья АЛЕКСЕЕВ. В поисках потерянной
реальности (50)

Спорт

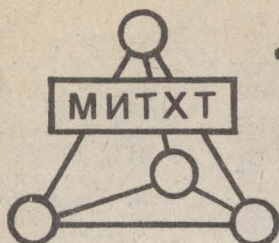
Игорь ОРАНСКИЙ. Московский самурай (77)

Почта «Юности»

«Исповедь поколений: о жизни и о себе» (72)

Зеленый портфель

Александр ДУДОЛАДОВ. Про букву «Г» (84)
Алексей ЦАПИК. Урна (85)
Владимен ПРУДОВСКИЙ. Иронические стихи (85)



Ваш единственный шанс

— это образованные люди!

Реализовать этот шанс вашему предприятию предлагает МИТХТ — один из самых престижных московских вузов.

В Москву — учиться! Это всегда звучало заманчиво для абитуриента с периферии!

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТОНКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ им. М.В. ЛОМОНОСОВА (МИТХТ) — один из старейших вузов страны (входивший когда-то в состав 2-го Московского Государственного Университета) — славится не только почти вековой историей. Учебный процесс, отвечающий требованиям современности, фундаментальные знания университетского уровня, качественная инженерная подготовка и специальные знания, которые дает своим студентам институт, — сделали его одним из самых престижных в области химии и химической технологии. Диплом МИТХТ "конвертируется" за рубежом, что при нынешней ориентации нашей экономики на контакты с Западом отнюдь не является "напрасной роскошью". Своего студента МИТХТ начинает искать, отбирать и готовить задолго до вступительных экзаменов. Но если для москвичей форма довузовской подготовки найдена давно — для них существует химическая школа при институте, то с иногородними абитуриентами всегда было сложнее. Два года назад МИТХТ создал "Воскресный лицей" — новую форму выездных подготовительных курсов.

...Представьте себе обычный провинциальный город с развитой химической промышленностью. Дымящиеся трубы, отравленный воздух, пустые магазины... Что может дать предприятие, даже самое крупное и богатое, своим работникам за многолетний труд, за годы жизни в экологически неблагоприятной среде? Что оно может предоставить молодежи? "Деревянные" рубли? Очевидно, что нужно искать и другие формы компенсации.

ДАЙТЕ ДЕТЯМ СВОИХ РАБОТНИКОВ НАСТОЯЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ — И В БУДУЩЕМ ОНИ УЛУЧШАТ И ПРОИЗВОДСТВО, И ЭКОЛОГИЮ, И ЭКОНОМИКУ, — ПРЕДЛАГАЕТ МИТХТ им. М.В. ЛОМОНОСОВА.

Программа "Воскресного лицея" состоит в следующем, рассказывает ректор МИТХТ, академик ИА СССР, профессор В.С. Тимофеев. — По договору с предприятием мы беремся подготовить 35–40 школьников к поступлению в наш институт. Наши преподаватели ездят к ним по субботним и воскресным дням, проводят еженедельные занятия, а потом выезжает независимая приемная комиссия и принимает конкурсные экзамены. Наша подготовка достаточно интенсивна для того, чтобы ребята могли выдержать конкурс и нормально

учиться впоследствии. На первых курсах мы помогаем им адаптироваться в институте и в Москве: предлагаем в случае необходимости репетитора по "запущенному" предмету или психолога. Сейчас у нас успешно учатся ребята из Белой Церкви, Норильска, Удомли, Соликамска, Новокуйбышевска и других городов, с предприятиями которых заключены контракты.

МИТХТ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, СПОСОБНЫХ ТВОРИТЬ В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ: СОЗДАВАТЬ МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КООПЕРАТИВЫ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ, ВЫПУСКАЮЩИЕ ПРОДУКЦИЮ ПОВЫШЕННОГО СПРОСА. ТО ЕСТЬ РАЗВИВАТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС, БЕЗ КОТОРОГО МНОГОТОННАЖНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ НЫНЧЕ НЕ ВЫЖИТЬ. На четырех факультетах МИТХТ им. М.В. Ломоносова не только обучают студентов новейшим химическим специальностям, но и преподают им основы маркетинга и менеджмента. МИТХТ им. М.В. Ломоносова относится к тем, пока немногим, нашим вузам, которые понимают, что обучение химии в наши дни невозможно без специальной подготовки в области экологии. В этом сугубо техническом вузе много места занимают и гуманитарные науки: история отечества и основы экономики, философия и культурология.

— МЫ ОБУЧАЕМ СТУДЕНТОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ, КОТОРАЯ РАНЬШЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕ ПРАКТИКОВАЛАСЬ, — говорит профессор В.С. Тимофеев, — По способностям и желанию наш студент может стать **МАГИСТРОМ-ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ, МАГИСТРОМ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ** и конструктором, или **МАГИСТРОМ-МЕНЕДЖЕРОМ**. Такое образование он может получить за шесть лет. Остальные студенты получают специальности инженера-технолога (за пять с половиной лет), или бакалавра (за четыре с половиной года). Дипломные работы всегда тесно связаны с тематикой предприятия, и после окончания института связь с выпускающей кафедрой продолжается в виде совместной работы.

Мы ждем ваших деловых предложений по адресу: 117571, Москва, пр. Вернадского, 86 МИТХТ им. М.В. Ломоносова. Тел.: 246-80-66

ТПО "АХИЛЛ"

проводит прием учащихся в

ЗАОЧНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ

на факультеты:

• ПСИХОЛОГИИ

Практическая психология творчества
Мастерство делового общения
Введение в культуру эротики
Актерское мастерство

• ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Искусствознание (история и теория изобразительного искусства)
Декоративно-прикладное искусство
Живопись, графика

А ТАКЖЕ, в Центр гитарного искусства и литературное объединение "Слово".

Обучение заочное, платное, прием в течение года.

У нас вы можете приобрести книги по психологии, философии, изобразительному искусству, пособие "Stream line":

интенсивный курс разговорного английского языка. (1 часть).

КРОМЕ ТОГО, Объединение помогает мастерам и художникам в реализации художественных изделий.

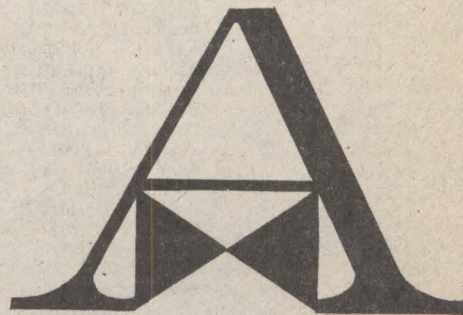




Фото Феликса Титова

Журнал в журнале № 8 (47)

Говорят, нет никакого поколения, потому что зацепиться не за что... А «Бони М», Афганистан, «Боинг» южнокорейский, первый советский чуингам, проводы Высоцкого, Олимпиада-80, «Фанта», пересменки кремлевских вождей, подешевление водки до 4 р. 70 коп., фестиваль молодежи и студентов, укрепление дисциплины и порядка, «Уот кен ай ду», антивоенный указ? А тьма прочих курьезов и раритетов? Ох и шикарные аукционы устроили бы мы из экспонатов нашей памяти! Не верьте тому, кто скажет: плохие были времена, мрачные, застойные, а теперь, дескать, наступят хорошие, светлые. Да он ни одного глотка «андроповки» не сделал, ни одной песни Макара не разучил! Мелочи? Какие ж мелочи, когда суть — запах, цвет, тепло, а все прочее — схема. Нешто ж можно понять походку человека, измерив ступни его трупа?

Мы двигались по солнечной стороне истории. Говорят: а где ж тогда герои вашего времени? Где правофланговые и эталонные? Так скажу: какие еще герои, когда просто си-

Манифесты



дишь с приятелями на кухне, прихлебываешь в меру разбавленное пиво, а за окном восходит парус теплой майской ночи, и одновременно счастливо и страшно, потому что молод... Эта ночь самодостаточна, она не нуждается в расшифровке. Какие герои могут быть в настоящем времени? В настоящем времени надо жить

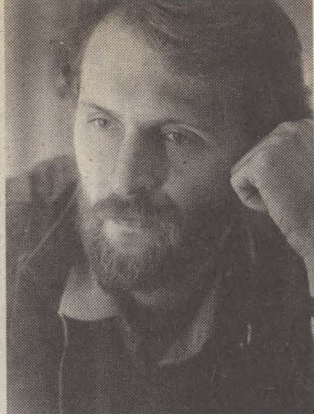
и умирать, а героизировать и все прочее надо в истории. Но наблюдаю панику в рядах сверстников. Мол, где ж наши книжки, где ж наше кино, где подвиги? успеем ли? Спокойно, братва. Этих, которые спрашивают: «А ну-ка, ну-ка...» — смело посылайте. Они, видите ли, хотят знать всю правду о нас! А что такое правда? Бледная копия буйной жизни, в которой, кроме правды, есть тысячи всяких хитроумных приспособлений для того, чтоб обмануть нас, запутать следы, принудить к головокружительным авантюрам и экстремам. Всякое искусство мнется в предбаннике, тупит взор и двух слов связать не умеет пред этой обыкновенной, бессюжетной, бессвязной жизнью. И не надо заводить шарманку про потерянное поколение, запомните: это поколение потерялось по собственной затее, а не по чьей-то. Потихоньку вырабатываем иммунитет к жизни. Дайте ей малость зарасти, подернуться тиной, покрыться сорняком. Это глупость, что якобы нужно жизнь пропалывать и прочищать, наоборот, всякий сорняк имеет свой

смысл. Вот когда завершим свой затянувшийся субботник по уборке введенной нам Богом территории, окажется, что все в порядке. Мы никуда не уходили, все под рукой: страна, язык, норы. Тогда понапишем книжки, понасмотрим фильмы, понасовершенствуем кучу подвигов.

И все равно некоторые из наших, из сверстников, сомневаются, чему отдать предпочтение: жизни или смерти? Давайте помозгуем без обид, нам друг от друга скрывать нечего. Итак, согласен: жизнь — болезнь, смерть — выздоровление. Жизнь — сумасшедшие затраты энергии по бессмысленной перегонке кровяного тока, по транспортировке неуклюжего двуногого тела в пространстве, по сопротивлению то инфлюэнце, то жаре, то морозу, то пестициду, по обеспечению мозга информацией, души — эмоциями. То ли дело — смерть! Куда более естественное для организма состояние. Покой и воля. Отчего ж я возник как комиссар с наганом поперек отступающих и ору: «Не сдаваться, но пасаран?!» Какие такие козыри у меня? А никаких. Только упрямство и вредность. Уже больно ловко все подстроено, чтобы испустить до полного исхода из артерий моего поколения всю группу крови 196... года. Мылят петлю, точат бритву, зазывают на осклизлые карнизы. Ладно, допустим, мы уйдем. А кто там займет наши места? Что за постояльцы? Я уже примечал кое-какие новые физиономии и скажу честно — они мне не по нутру.

Но если мы выбираем существование, давайте же спросим, зачем. На этом вопросе многие ломались. Порочную практику поиска смысла жизни прекратим. Стоит ли потрошить вены по всяким пустякам? В такие времена, как наши, надо лениво жечь камин, листать в сумерках дорогие французские альбомы, варварского топота кованых сапог века не замечать. Господи, займемся делом! Соблазняйте красивых женщин, выбирайте квартиры, размножайтесь, ищите еду. За широко раскинутым столом многоголосо войте бесконечную унылую русскую песню. Но, живя, храните свойственное только нам вольное пренебрежение и аристократическое презрение к жизни. Слишком часто, слишком горячо наши предшественники повторяли: «Я люблю тебя, жизнь». И что же? Жизнь отвернулась от них, как от чересчур назойливых ухажеров. Яростное атакующее жизнелюбие, как напалмом, выжгло все прочее внутри и вовне. Зачем же так в лоб? Какие претензии могут быть у двадцатисемилетнего славянского человека, обладателя талонов на сахар, муку, водку и прочие деликатесы?! В последний раз заявляю прямо: жизнь удалась. Обиды наши перочинные, мелкие. Удачи наши баснословные, окончателльные. Хочу, чтобы меня запомнили именно таким: идиотски улыбающимся от счастья. На фоне моего несуществующего поколения, которое я убедительно попрошу остаться!

Игорь МАРТЫНОВ



Поиски абсолюта

Алексей МУСАТОВ

Присутствие
в
РОССИИ

Я родился 21 сентября — в день Рождества Пресвятой Богородицы, известный еще как день Куликовской битвы, которую историки считают датой рождения Великой России. Но не создавал я эту связь всю свою жизнь так же остро, как сейчас.

Счастливы те, кто родился на пять — десять лет раньше! Их учили, как выйти на площадь. Их связи — диссидентские, правозащитные, кипучие. Они, как орнитологи, знали, какими путями мигрируют «туда» рукописи и обратно «тамиздат». Знали, какие вопросы задают в связи с этим в заведении, изучали возможные системы ответов. Известно было даже, что многие системы изобретены в недрах все того же заведения и, следовательно, непригодны к применению. Многие легко бросали институты, читали полулегальные лекции, выдавая себя за кандидатов наук (и часто действительно обладая достаточным уровнем знаний). До нас же суждения доходили урывками, выхваченными фразами. В них восхищение и осуждение смешивались в равных долях, и недаром! Вышедшие на площадь моментально превращались в севших, «подписанты» — в диссидентов. Подделом — «плетью обуха не перешибешь». Так урок мужества трансформировался в наглядное пособие по конформизму...

Мы росли тихими. Не тихонями, нет. Многих жизнь научила драться, говорить в глаза то, что думаешь, ни в грош не ставить дубоголовых учителей. Но это в сфере партикулярной, частной. В общественной жизни мы были ниже травы. В близком будущем надо было найти разумный компромисс с Монстром и — в обмен на соблюдение его условий — завершить образование, стать специалистом, получить хорошую работу.

Фото Леонида Шимановича

Мы учились остервенело, вытрясая из гнилой вузовской системы и то, чего она не могла дать. Выискивали преподавателей, которые хоть немного «искрили», — светящихся уже не было. Готовили — нет, уже делали! — себе профессиональную карьеру. Так продолжалось до 1980 года.

Трудно сказать, что именно стало катализатором — Афганистан? Позорная Олимпиада? Живое чучело на Мавзолее? — но вдруг стало повторяться из уст в уста: «Подгнило что-то в королевстве Датском». Мы стали интересоваться политикой. Нет, не напрямую, но, выбирая карьеру, выбирали и жизненный путь, и взгляды, и систему ценностей. Одни все чаще заглядывали «за бугор». Другие с неожиданным интересом и надеждой, втайне, конечно, поворачивали голову к церкви. Все окунулось в там-и самиздат. «Давали» за него по-прежнему крепко, но читалось заповедом. «На одну ночь», «на два дня», «по первому требованию»... Какая адская была смесь! И пять, и десять лет спустя никто почти не умеет отличить антисоветского от антирусского, Совдепию от России, овец от козлиц...

В детстве я увлекался историей. Моей крестной в будущей профессии была Галя Шекрот, падчерица Галича. Она была настоящим искусствоведом, работала в Пушкинском и знала все на свете. Благодаря ей я бредил Египтом, зачитывался Куном... Я обещал ей, что буду со временем читать по-египетски, и обещания не сдержал.

На модной кафедре реставрации МАРХИ отнюдь не учили строить гениальную архитектуру, но учили ценить наследие выше собственных зодческих опусов. Повезло и еще раз: выйдя из МАРХИ, удалось попасть в мастерскую, исследовавшую памятники и исторические территории Москвы. Через два-три года я уже свободно «плавал» в отечественной культуре, и этот мир стал моим.

Следующий шаг оказался сложен, несмотря на внешнюю простоту: «Не может быть ущербным народ, создавший столь высокую культуру, такие прекрасные памятники». Тезис входил в очевидное противоречие с окружающей действительностью. Но само осознание разрыва между историей и современностью оказалось плодотворным.

Моей «вершиной» стала эпопея защиты Щербаковских палат в 1986 году. Меня разыскивали через общих знакомых, обзванивая всех возможных людей, прося посильной помощи. Телефон как «коллективный организатор» так и не был оценен властью, и напрасно. Российская специфика — активно действовать, не вставая с кресла.

Идя как-то утром на палаты, я издала увидел, что экскаватор рушит дом. Подбежав, убедился, что остоорожные строители начали снос с соседних торговых рядов. «Наших» не было видно. Отлично понимая, что жест театрален, я все-таки вскарабкался по битому кирпичу под ковш. Далее состоялся такой разговор.

— Ты чего? — спросил экскаваторщик из-за рычагов.

— Прекратите несанкционированный снос здания, — сказал я.

— Уйди, — посочувствовал экскаваторщик, — а то дам ковшом и окочуришься.

— Сядешь лет на десять, — урезонил его я.

— За такое дерьмо и десять суток не дадут, — предположил он.

Я не ответил, и тогда он двинул меня ковшом в плечо. Я устоял. Экскаваторщик посмотрел на меня с отвращением, но больше бить не стал. Ситуация была пошлая. Мы оба знали, что 1) он не может меня убить и 2) нельзя стоять под ковшом вечно.

Но чудо уже произошло: Москва, сонная Москва, «большая деревня», «сборище лимиты», «гнездо гнилой интеллигенции», — вдруг заговорила, загудела. Наконец о нас сообщили... Би-би-си.

Памятен солнечный день, когда сослуживица донесла до меня голос своего близкого родственника, работавшего на Старой площади:

— Гриша говорит: «Жалко парня». Он видел твоё дело...

— Мое? Дело?

1986-й... Никаогда книги по истории не раскупались так. Никаогда на наших лекциях не было такого количества слушателей. Никаогда, наконец, — ни до, ни после — архитектура, история Москвы не были у всех на языке. Казалось, еще чуть-чуть — и интерес к истории превратится в движитель национальной консолидации. Этого, как известно, не случилось. Мне кажется, не было сказано каких-то ясных и простых слов, которые для большинства людей дали бы направление движения. Некому их было сказать? Не нашли тех слов? Не успели?

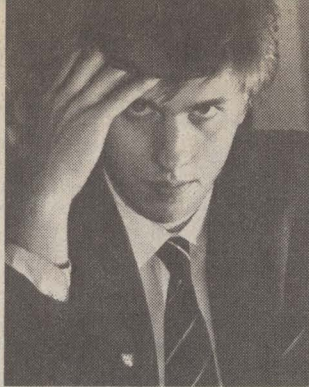
Теперь отовсюду подсказывают: стянуть остатки национальной культуры; вытравить особенности национального характера; землю рассматривать как территорию. Потому что ничего этого на самом деле уже нет. Есть иллюзия, которая, как чуждое ядро, не дает нам бежать в лучшую жизнь...

Но тридцать лет я искал Родину, а не изобретал ее. Кто виноват, что я нашел, когда ее, кажется, нет?..

Можно предвидеть, что наша судьба, если те слова так и не найдутся, будет подчиняться формуле римлян — «горе побежденным». Как у Булгакова:

«О, только тот, кто сам был побежден, знает, как выглядит это слово! Оно похоже на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение. Оно похоже на комнату, в которой по обоям ползет зеленая плесень, полная болезненной жизни. Оно похоже на демонов, рахитиков-ребят, на протухшее постное масло, на матерную ругань женскими головами в темноте. Словом, оно похоже на смерть».

Мы живем сейчас, разделенные незнанием, храня каждый частицы России. Нам только-то и надо — сложить их вместе. И чтобы они сошлись...



Чувство вечности

Артем АРТЕМОВ

ОТ МАРКСИЗМА К ИДЕАЛИЗМУ-2

*Хроника взросления времен
перестройки и гласности*

Не крушение идеалов (было бы чему крушиться-то!), а резкая смена мироощущения и психологического климата. По силам ли нам сей тяжкий груз? Судя по рейтингу проститутки и рэкетиров в умах «самого привилегированного класса», отнюдь.

И я вскормлен питательным бульоном социалистической системы — пусть пошлой, пусть лицемерной, пусть омерзительной, но в то же время по-своему привлекательной и обаятельной: твой путь расписан на 20–30 лет вперед; могут быть варианты, которые, впрочем, конструируются из одних и тех же элементов в разной последовательности и в разном составе: школа, комсомол, институт, ПТУ, завод, НИИ, партия, пенсия... «Шаг влево, шаг вправо...», и далее по тексту.

В этой модели жизни заложены страшный соблазн и искушение. Человек отрешается от свободы во имя жизненной стабильности и фикции материального благополучия в некоем отдаленном «завтра». Это, по сути, и есть главный соблазн коммунизма, его «прелесть» и «скромное обаяние». Неискушенному в философских мудрствованиях трудно понять, что отказ от свободы воли, то есть от того, что, собственно, и отличает род людской от всех иных земнородных, повергает в состояние, близкое к летаргическому сну или смерти. 74 года в плену у князя тьмы! В борьбе за это все мы как один умерли.

Я родился в семье простых советских интеллигентов. Простых и неверующих. И жизнь моя, как водится, была заранее распланирована: в какой школе учиться, в какой институт поступать, где потом работать (какие там будут перспективы)... Предполагалось, что я буду художником. Помню, когда буквально за неделю до вступительных экзаменов я решил иначе — поступать в Историко-архивный институт, о чем и уведомил родителей, мать была повергнута в шок.

Благоговение и страх перед «высшими сферами» памятны с детства. Как-то в 85-м году, после очередной программы «Время», я посмел — о ужас! — сказать про Горбачева «Горбачев». Меня сразу одернули: «Не «Горбачев», а «Михаил Сергеевич Горбачев — наш генеральный секретарь!» Покоробило это «наш», поскольку родители мои никогда в КПСС не состояли.

Помню и грозное предупреждение классного руководителя: «Артемов, если ты будешь себя плохо вести и не вступишь в комсомол, характеристика у тебя будет такая, что ты ни в один институт не поступишь!» Правда, когда я поступал в институт, характеристики уже отменили в связи с «новыми веяниями». А в комсомол я так и не вступил: видимо, сказалося разлагающее влияние вражеских голосов.

«Голоса» я начал слушать к концу школы. А так — детская наивная уверенность в том, что я живу в самой лучшей стране, что мне просто ужасно повезло, что я родился именно здесь, а не где-то «там», где сплошной голод и разруха.

Как-то вместо урока химии нам стали показывать фильмы антирелигиозного содержания. Среди них был и такой: некие плохие «дяди» приезжают в деревню и организуют там секту, призывая членов расстаться со своим имуществом. Деньги и драгоценности публично как бы сжигают в печке. На самом-то деле они, оказывается, присваивают их себе. Неожиданным образом мошенничество раскрывается, плохих «дядь» выгоняют, а доверчивые сельчане становятся сознательными атеистами и клянутся никогда не верить в Бога. Я спросил себя: а почему, собственно, это фильм антирелигиозный? Ведь эти «дяди» именем Бога обманывали людей, значит, сами-то они «атеисты» и фильм, следовательно, антиатеистический!

Сам не знаю, что вдруг дернуло меня начать изучать труды «вождя мирового пролетариата». Поначалу, видимо, простое любопытство — учили-то мы Ильича главным образом по чужим конспектам, а как раз в это время наши «прорабы перестройки» трубили о возвращении к чистым идеалам ленинизма.

К уясну своему обнаружил я в статье «Очередные задачи советской власти»: принцип социалистической демократии вовсе не противоречит диктатуре отдельных личностей. Я проштудировал всего Ильича и пережил глубокий идейный кризис.

Когда скинули Ельцина, я отпечатал дома на машинке листовки против Лигачева и развешивал их ночью на автобусных остановках. 70-летие Октября мы с приятелем отметили тем, что расписали ночью забор в нашем районе лозунгами «Долой КПСС!». А как я восхищался антиленинской статьей Селюнина в «Новом мире» в июне 1988-го — «Истоки»: вот молодец! Вот правильно написал! Так ему, кровопийце!

Я тогда как раз окончил школу и оказался на перепутье. Я знал, что

уже существуют разные оппозиционные группы, что провозглашена первая партия — «Демократический союз», что где-то есть единомышленники, которые меня поймут и поддержат. Продолжать идти старой протоптанной дорожкой советского обывателя, поступать куда-нибудь на дизайнера или инженера, затем работать где-нибудь и смириться с ролью наблюдателя или болельщика на политической арене? Либо окунуться с головой в бурлящий поток нарождающейся оппозиции, с неясными перспективами эту самую голову сохранить, ибо «Система» тогда казалась еще прочной и непоколебимой? Я вступил в первую же оппозиционную организацию, на которую мне удалось выйти, — в Московский народный фронт.

А затем была избирательная кампания Станкевича, я был доверенным лицом, и мой домашний телефон значился в его листовках как телефон инициативной группы. После выборов началась долгая, изнурительная борьба внутри Народного фронта между социалистами и либералами — сторонниками «чистой демократии», где я занял сторону последних и даже редактировал нашу самиздатовскую газету «Накануне весны». Наконец, в конце 1989-го, я стал координатором предвыборной кампании Виктора Аксютинца, после избрания которого было учреждено Российское христианское демократическое движение.

Общий смысл моей эволюции можно обозначить булгаковской формулой «от марксизма к идеализму». И далее, добавил бы я, к христианству. По-видимому, этот путь для людей моего склада типичен, ибо многие, с кем я начинал, в конечном счете пришли к тому же или, я уверен, придут.

Поначалу я был по убеждениям своим, конечно же, не коммунистом и даже не социалистом твердокамненным, но, может быть, либеральным социал-демократом. (Все эти штампы довольно условны, но без них тут никак не обойтись.) Мне тяжело было совсем отрешиться от социалистических догм, на которых я был воспитан. Марксизм как социальное учение мне претил, но методология его казалась безупречной, да и сравнивать было не с чем.

Но я что-то читал, что-то слушал и в конце концов пришел к полному отказу от того, что «всесильно, потому что верно». Я понял, что марксизм отрицает свободу личности, низводя ее до некоего «продукта механизмов истории». Какое-то время я считал себя чистым либералом. Однако в определенный момент я почувствовал, что под этим мировоззрением не хватает основы, прочного фундамента, без которого любая конструкция, как известно, обречена на слом при первом же серьезном потрясении. «Человек от рождения свободен!» — хорошо, я согласен. Но почему? Из чего это вытекает? Где обоснование такому суждению?

К тому же меня стало смущать резкое противопоставление демократии и патриотизма. Понятия «демо-

крат» и «патриот» считались несовместимыми. «Война журналов» разжигала идеологическую вражду. Противопоставление стало казаться мне искусственным и беспочвенным. Я не понимал, почему человек с демократическими и либеральными убеждениями не может быть патриотом России. Я стремился к синтезу. В этом смысле мое знакомство с Виктором Аксютинцем оказалось providentialным. Я получил доступ к литературе, которая раскрыла мне глаза: Соловьев, Булгаков, Ильин, Вышеславцев, Бердяев, Солженицын, «Вехи», «Из глубины», «Из-под глыб»... — было ощущение, что я наткнулся на живительный источник, который так долго искал. Я обрел православную веру и крестился. Я открыл для себя Истину.

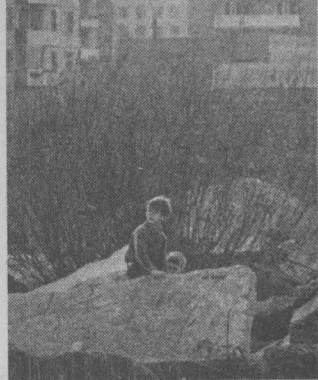
Да, я консерватор. Не в том, конечно же, смысле, чтобы вернуться к социализму, нет, он мне омерзитель. Но я считаю, что наши планы по обустройству России должны покоиться на прочных основах тысячелетней христианской традиции и культуры, чтобы не уподобиться нам... человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; — и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было то падение великое (Матф. 7, 26—27). Я против разгула нигилистической стихии анархии и безнравственности, ибо убежден, что моральные нормы для общества важны не менее, чем формальные, юридические. Я государственник. Я против развала и расчленения нашего Отечества, которое создавалось не нами, и не пристало нам топтать его ногами и резать на куски по живому. Я патриот. Народ наш, обманутый, истерзанный и измученный безбожными коммунистическими правилами, пока слаб и немощен. Но сей день не есть последний в его судьбе, и вот уже Россия встает с колен и расправляет плечи. Но я и либерал, если брать это слово в его первоначальном смысле, ибо свобода человеческой личности есть тот дар Божий, который мы должны хранить и защищать от посягательств.

Новая историческая обстановка рано или поздно поставит всех моих сверстников перед таким выбором. Одни — их меньшинство — рвут безоглядно с душащей и гадкой «Системой» и бросаются в стихию свободы — в политику, в бизнес. Другие — их тоже меньшинство — пытаются уйти от жизни и постепенно деградируют, спиваясь, предаваясь разврату, опускаясь на дно. Большинство же покорно следует по стопам предшественников, с тревогой вглядываясь во вдруг переставшее быть таким простым и определенным будущее.

Я не судья. Я еще слишком молод, чтобы наставлять кого-либо на путь истинный, и не имею ни малейшего желания ставить себя кому-либо в пример. Мне самому предстоит учиться, чтобы познать и стать профессионалом на поприще, которое я избрал.

А выбор, слава Богу, у нас теперь есть.

До востребования



РАСКОПКИ ПОКОЛЕНИЯ, задуманные нами в июле, состоялись в августе, когда само собой сложилось искомое: «девятидесятники». Партию, сказавшую «надо», — послали. Но рифмуется ли Ельцин — все еще непонятно. А «Что не делать?» — вопрос навсегда. Кстати, и новым партиям тоже что-то надо. Раскопки продолжаются? ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ? РИФМУЕТСЯ ЛИ ЕЛЬЦИН? ЕСЛИ ПАРТИЯ СКАЖЕТ «НАДО»...

1. Есть масса способов и возможностей, особенно теперь, делать что-то конкретное, а не говорить о том, что делать. Поэтому вы меня очень удивили тем, что затеяли столь бесплодный разговор. И на ваш вопрос я отвечаю: не мучиться дурью. Перестаньте задаваться вопросом о том, почему вы молчите и бездействуете. И, поверьте, только вы это сделаете — появятся идеи, слова, поступки.

И еще: что за маниакальная тяга ощущать себя частью целого (поколения, например), а не целым? Это неуверенность в собственных силах или детское желание разгородить комнату на свою и папину? Для меня существуют только два поколения на все времена: дураки и умные.

2. Это к поэтам.

3. Значит, ей и правда что-то надо. И это ее проблемы. Но вместо того, чтобы обсуждать, куда кинуться, если вернется тоталитаризм, лучше делать (ключевое слово), что в твоих силах, чтобы он не вернулся. Если же вы начинаете размышлять: «тогда я уеду», «а я займусь переводами» — у тоталитаризма есть надежда. Порядочному человеку не надо печатать в журнале объявление «никогда никого не предаю», он просто не предаст — и все.

Ника, Москва

1. Главное сейчас — не разваливать государство, не верить необольшевикам-демократам, не ненавидеть Советскую Армию и не раболепствовать перед Западом.

2. Безусловно. Он хорошо рифмуется с Поповым, торгующим московскими квартирами, с Собчаком, знающим правду о трагедии в Тбилиси и превратившим ее, с Шеварднадзе, бывшим идейным партийцем, а ныне не менее идейным демократом, развалившим весь социалгерь, с Яковле-

вым, ярким русофобом, посвятившим свою жизнь борьбе с русским великодержавным шовинизмом, инициатором перестройки, плоды которой мы ныне пожинаем, и, разумеется, с Горбачевым, который охотно пляшет под их дуду.

3. Господа, о какой партии идет речь, о демократической? Если о коммунистической, то ваш вопрос устарел по крайней мере года на три. И теперь не партия, а партии говорят «надо». Сейчас нет разделения на коммунистов и антикоммунистов, есть разделение на патриотов и антипатриотов.

Алексей РУСАКОВ, Таллинн

1. Не заглядывать далеко вперед, все делать прочно «на сегодня» и ближайшее завтра, не во вред современникам и, значит, не во вред будущим поколениям.

2. У меня почему-то рифмуется так: «Ельцин — рабовладельцы». Наверное, подсознательно. Я не поэт вообще-то.

3. Уйду в подполье, но не для борьбы, а для себя — читать, что хочу, думать, что хочу, говорить, о чем хочу. Останусь в России. Буду «выживать» с томиком Саши Черного и страстно желать нирваны.

Дина, Орехово-Зуево, 17 лет.

1. Искать причины своих проблем в окружающем мире действительно не стоит, ведь ты — это тоже мир, своеобразное целое, так ищи опору в себе, находи решения в себе. Пусть это будет религия, боевое искусство, философия, поэзия, но только не насилие. Духовные ориентиры не потеряны, они размыты до неузнаваемости. Любое общество имеет национальную цель, но она не должна достигаться безнравственными средствами. Были и есть ориентиры в духовной, а не материальной области, но они оттеснены. Наша задача в том, чтобы сделать ориентиры более четкими.

Многие, возможно, большинство, живут не задумываясь над тем, как живут. Вот этого, по-моему, делать не следует.

Естественно, должна быть черта, которую человек не вправе переступить. Своя черта, даже если все остается в рамках закона.

Согласна, что 99% людей ничего плохого не хотят, но прежде чем дать им делать то, что они хотят, надо понять, что хотят — еще не значит уметь, мочь и делать. А уж если делать, то смелее занимать посты и должности.

2. <...>

3. Трудно дописать концовку предложения. Как и некоторые из участников раскопок, я не способна создавать партии, идти на баррикады, но и мне очень хочется, чтобы нашлись такие люди.

Евгения ЧАПЛИНСКАЯ,
Алма-Ата, 25 лет.



Свободный микрофон

Андрей НОВИКОВ



(Политологические миниатюры конца эпохи Перестройки)

Свершилось. Переименовываются города, районы, улицы... Редакции стали называться офисами, редакторы — шеф-редакторами, секретари — референтами. Гостелерадио — Телерадиокомпанией, программа «Время» — ТСН. «Голос Америки» стал называться «Радио России».

Грабеж стал называться ракетом. Колбаса по два рубля стала называться колбасой по восемь рублей. Союз Советских Социалистических Республик — Союзом Советских Суверенных Республик. Светлое коммунистическое будущее стало называться светлым капиталистическим будущим.

Маркс и Энгельс стали виноваты в том, что нет мыла. Город Рыбинск оказался знаменит тем, что его никогда не посещал Владимир Ильич Ленин. Жить стало хуже, зато веселее. Помирать стало дороже. Свадеб стало меньше.

Лучший способ стать демократом — дослужиться до генерала КГБ, выйти на пенсию и выступить затем с критикой своего места работы. Лучший способ стать коммунистом — стать демократом, а затем требовать национализации имущества КПСС от имени народа.

Лучший способ умереть с голоду — не быть ни демократом, ни коммунистом.

Лучшее место развлечения — Манежная площадь, где по воскресеньям устраивается что-то среднее между Февральской и Октябрьской революциями.

Все пишущие о чем-либо стали политологами, потому что ничего, кроме политики, не осталось.

Армия оказалась на первом месте среди институтов, пользующихся доверием. На втором стоит церковь, последнее занимает КПСС.

Конец перестройки похож на лето 17-го года, только растянутое во времени года на два. Горбачев не похож ни на Николая Второго, ни на Керенского в отдельности, зато похож на обоих вместе. По той же причине

новый Корнилов чуточку смахивает на Троцкого, а чуточку (усами) на Сталина, баллотировавшись при этом в Президенты России.

Революция возможна, но ни черта не решает. Военный переворот тоже возможен, но нет Пиночета. Среднеарифметическое от генерала Макашова и либерала Жириновского может дать советского Пиночета, но сами по себе они останутся Макашовым и Жириновским.

Главный результат перестройки: люди стали свободно говорить все, что думают, писать все, что говорят и не читать всего, что пишется. Не ясен, правда, один вопрос: если при этом никто ничего не думает, то ЧТО в таком случае все говорят и пишут?

В 88-м году на Пушкинской площади, где шумел тогда Гайд-парк, я время от времени слышал вопрос: «Скажите прямо, вы за советскую власть или вы против советской власти?» Я не знал тогда (и не знаю до сих пор), что такое советская власть, но, слыша такую постановку вопроса, почему-то всегда хотел ответить отрицательно. Два года спустя на какой-то тусовке я услышал: «Скажите честно: вы за демократию или вы против демократии?» Я честно повторил то, что я когда-то сказал по поводу советской власти.

Иногда кажется, что безумие, происходящее вокруг, должно наконец достигнуть логического предела, стать очевидным. То ли из «Авроры» опять кто-нибудь палнет, то ли в программе «Время» объявят «день открытых убийств». Кто-то что-то должен сказать, чтобы всем стало ясно: свершилось.

Для меня таким сигналом стало заявление в ЦДЛ представителя Партии конституционных демократов о необходимости раздать гражданам оружие. Для самообороны. Потому что если государство не способно защитить своих граждан, значит, граждане сами себя должны защищать.

Я вслушивался в аргументацию лидера кадетов Михаила Глобачева и потихоньку ужасался: настолько логичным следствием из окружающей жизни была эта мысль. Ведь действительно государство не защищает, и на улицы страшно выйти. И человек имеет право на самооборону. Все правильно. И все так страшно. Было даже как-то весело от того, что заявление это сделали не какие-то «экстремисты» — ДС или анархисты, — а самая что ни на есть умеренная кадетская партия.

До сих пор мы знали просто гомо советикуса — безликое усредненное существо, едущее в метро, стоящее у кассы, пишущее жалобы, агрессивное-жалкое, несчастное, — отныне, видимо, нам предстоит узнать, что такое гомо советикус с оружием в руках. Что такое очередь в гастрономе, где у каждого второго в авоське — пистолет.

Оружие в частных руках есть и в других странах. Например, в Америке. В Америке есть оружие, но там нет очередей в гастрономах. Каждый из этих факторов сам по себе не опасен, но, будучи соединенными,

они обязательно дадут взрыв.

Мы долго думали, что чем скорее развалится коммунистическая система, тем ближе мы окажемся к демократии, и только в последнее время начинаем задумываться о том, что развал коммунизма еще не ведет автоматически к демократической альтернативе. Мы переходим от коммунизма к фашизму. Происходит интенсивная фашизация не столько государства, сколько самого общества, взаимоотношений между людьми — на межнациональном да и просто на бытовом уровне.

Когда в южном городке прохаживающиеся — руки за спину — продавщицы выдергивают из очереди приезжих (там не обзавелись даже визитками) — что это, как не признак фашизма? Процесс обособления не начинается и не кончается народами — он происходит на всех уровнях общества. Есть фашизм национальный, есть фашизм региональный, есть фашизм столичный. Разве обывательская ненависть к «лимитчикам», нет-нет да прорывающаяся у московских теток, не аналог идеологии Ле Пена, призывающего выгнать из Франции всех турок? Фашизм всегда найдет повод для ненависти: не национальной, так классовой. Не классовой, так какой-нибудь другой.

Ненависть и озлобленность становятся основными доминантами нашей повседневной жизни. Иногда кажется, что все друг другу мешают, все друг друга ненавидят. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА давно уже идет, и вовсе не политические партии в ней участвуют. В этой «холодной» повседневной гражданской войне участвуем все мы. Не хватает лишь оружия, чтобы она материализовалась и стала кровопролитием.

Мне иногда становится жаль, что бастуют именно шахтеры, а не транспорт, котельные, кооперативные туалеты. Потому что в этом случае было бы легче показать всю фантазматику политической стачки. Представляете, спускаетесь вы в туалет и вдруг видите табличку: «Туалет бастует. Требуется отставка Горбачева и Ельцина». Хорошо, скажете вы, допустим, что Ельцин — герой, но зачем же стулья ломать?..

Поистине: все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. В последнее время частенько вспоминается сцена из недавней экранизации «Собачьего сердца». 1921 год. Разруха. В старом особняке под дирижерством Швондера хор старых патетически исполняет революционный гимн. Этажом ниже за столом сидят профессор и его ассистент. «Вот вы говорите «разруха». А откуда она, эта разруха? Нет, разруха прежде всего вот здесь, — профессор показывает на голову. — В наших мыслях. А все остальное — только следствия».

Мы бездарно повторяем азы марксизма, когда пытаемся объяснить забастовки, национальные конфликты, паралич власти лишь «объективными» экономическими причинами. Никогда эти причины не проявлялись

бы столь разрушительно, не будь хаоса, царящего в наших головах.

Хаос — закономерное состояние общества, на миг вырвавшегося из оков тоталитаризма, и нет ничего удивительного в том, что этому состоянию мы даем имя Свободы. Я часто думаю о том, почему с таким восторгом наши публицисты перестройку сразу стали оценивать в парадигме сначала Октябрьской, а затем и Февральской революций. Почему так упоенно и настойчиво провозглашаются мотивы именно 17-го года, а не конца 19-го — начала 20-го века, когда либеральная мысль пыталась найти оптимальную формулу свободы и социального прогресса? Почему тема СВОБОДЫ непременно ассоциируется с революцией, социальным взрывом, с митингами? Почему так близки нам эти мотивы? Может быть, потому что каждый из нас, будучи продуктом этой Системы, Ульянова прочитал раньше «Вех»?

Призрак Швондера бродит по шахтам, взматывается над многотысячными митингами в Зеленограде в поддержку Гдьяна. Новые швондеры исполняют демократические гимны в подземных переходах в то время, когда тысячи людей с невидящим взглядом проходят мимо них в конце рабочего дня.

Швондерство — замороженный вирус большевизма, отогретый нынешней оттепелью и распространяющийся вокруг со скоростью, превышающей скорость СПИДа. Неуклюжий полуинтеллигент-аутсайдер, сменивший кожанку на неформальную курточку, Швондер тусуется сегодня возле «Московских новостей», его можно видеть на театральных подмостках Манежа, наслаждающегося многократно усиленным эхом собственного голоса и близостью кремлевских стен.

Много лет тому назад довелось идти мне в колонне демонстрантов по Красной площади. В памяти осталось впечатление, аналогичное тому, которое сегодня испытываешь на Манежной площади: близость Кремля, лошадиный топот миллионной толпы, переходящий в бег, оцепление и — удивительная отчужденность от той цели, ради которой часами шел в колонне, — трибуны Мавзолея. Я был поражен, убедившись в неизменности законов этого социального жанра тоталитаризма уже в эпоху перестройки: с надрывом кричащие лидеры на трибуне и многоголовая толпа, испытывающая коллективный оргазм от того, что кто-то выводит на вербальный уровень ее агрессию.

Демонстрации и митинги — не что иное как вдруг заговорившие, задвигавшиеся, политизировавшиеся очереда. Обыватель очень своевременно осознал возможность смены жанра.

И — Боже мой, надо же — все это вышло из диссидентских кухонь. Я часто думаю, что испытывают наши правозащитники, глядя на социального монстра, бушующего сегодня от Пушкинской площади до Манежа. Предвидели ли они, каким фарсом обернется их социальный протест, когда его носителем станет

не интеллигенция, а магазинная очередь? Предвидел ли покойный Андрей Дмитриевич, как в подземном переходе, рядом со столиками продавцов порнографии, новоявленные массовики-затейники от демократического движения будут зазывать прохожих в «Союз имени Сахарова»?

«Толпы диссидентов, которыми предводительствуют вчерашние генералы КГБ и следователи по особо важным делам» — это выражение Г. Павловского передает всю фантазматику нашего времени, воспроизводящего кошмарные сны прошлого.

Перестройка кончится, как кончается всякий митинг: разбросанными клочками бумаги и брошенным кем-то в лужу портретом площадного лидера, которого еще недавно приветствовали громом оваций.

Всякое смутное время порождает мифы. Иногда мифы, овладевшие массами, становятся материальной силой.

Одним из таких мифов, порожденных перестройкой, является миф о сегодняшнем «либеральном» истэблишменте — деятелях политики, журналистики, литературы, являющихся носителями самых радикальных идей. Случайность или закономерность то, что именно те писатели и публицисты, которые в застойные годы верой и правдой боролись за «светлые идеалы», а в ранние годы перестройки страстно проповедовали возвращение к «ленинским нормам», — случайны ли, что сегодня именно они занимают наиболее радикальные позиции в атаке на социализм и КПСС?

Может быть... Ведь в конце концов все мы не безгрешны, да и плюрализм взглядов будто бы приветствовать надо. Но сказал же о нас едко один поэт-эмигрант: плюрализм в отдельно взятой голове — это уже шизофрения.

Я был немало удивлен тем, что 4-й Съезд народных депутатов СССР, состоявшийся в декабре 1990 года, вынес на референдум вопрос о самом существовании государства, история которого насчитывает несколько столетий и которое является продуктом жизни и деятельности нескольких поколений, живших в этом государстве. Мне непонятно, как одно сегодняшнее поколение может решать путем голосования вопрос, который составляет компетенцию не политики даже — истории! С таким же успехом можно было бы поставить вопрос о сохранении Солнечной системы.

Голосовать так голосовать.

Наша государственная целостность — такая же данность, как и небо, земля, и выносить на референдумы такого рода вопросы — примерно то же самое, что «отменять Бога» распоряжениями Совнаркома, как это уже однажды было.

Все империи в истории человечества заканчивали свое существование, но еще ни одна империя не прекращала своего существования путем референдума.

...Отключив охрипший телевизор, забросив в дальний угол все газеты, я с тоскою беру в руки Макса Вебера, чтобы еще раз прочесть строчку,

отчеркнутой карандашом: «ДЕМОКРАТИЯ ЕСТЬ НЕЧТО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ПРОСТО НАРОДОВЛАСТИЕ». Что имел в виду Макс Вебер, когда писал это: разделение властей, представительную систему? Мне кажется, что он имел в виду просто Разум.

Основное разрушение, произведенное перестройкой, не развал экономики и даже не развал государственности, а потеря смысла жизни, распад прежней парадигмы человеческого существования. Кто-то говорил, что есть страны, живущие своим прошлым, есть страны, живущие настоящим; Россия — страна, которая живет будущим. Это состояние «ожидания» стало способом нашего существования, мы вообще не жили, мы ЖДАЛИ, жили неким сверхсмыслом и сверхцелями, недоступными настоящему поколению. Настоящее, вся его ценность померкли, стали лишь средством достижения Будущего. Вся история согласно марксизму — лишь «протоистория», пролог к Новому миру. Идеология «сверхцелей», вытеснившая систему человеческих ценностей, уничтожившая самое понятие «самоценность» человеческого существования, стала важнейшей предпосылкой тоталитаризма.

И вдруг это будущее исчезло. Мы остались один на один сами с собой. Со своим настоящим, с проблемами сегодняшнего дня. И еще с историей, открывшейся нам как сплошной кошмар. Мы впервые по-настоящему ощутили свое подлинное ИСТОРИЧЕСКОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ, неизбежным продолжением которого являемся мы сами. Мы оказались несвободными в дне сегодняшнем — его проблемы детерминированы днем вчерашним.

Мы остались наедине с собой. Без Бога, без Ленина, без Будущего. Нет коммунизма — и капитализма тоже нет. Фрустрация, экзистенциальный вакуум, потеря смысла жизни, по Фрейдю, — предтеча безудержной иррациональной агрессии, «бунта жестокого и беспощадного».

В этом экзистенциальном вакууме, как грибы, начинают размножаться всякого рода шаманы и экстрасенсы — беспомощные наивные суррогаты, создаваемые обыденным сознанием.

Раньше, в годы так называемого застоя, был все-таки психологический комфорт, комплекс идей, на которых воспитывалось не одно поколение. Романтический антураж БАМа и целины, песенных гимнов Пахмутовой. Борьба за мир во всем мире. Озабоченность безработными в Великобритании и нарушениями прав человека в Чили. Толпы людей, искренне приветствующих Юрия Гагарина. И — толпы рыдающих на похоронах Сталина. Все это — штрихи к той эпохе. Романтичной, самоуверенной, смешной. Чаще — страшной.

Мы часто высокомерны в сегодняшнем нигилизме по отношению

к пяти поколениям советских людей, вовлеченных в этот безумный переворот «строительства нового мира». Об этом как-то тонко, рискуя быть понятым лишь с пропагандистской точки зрения, заметил писатель А. Проханов: это лишь с сегодняшних позиций 70 лет советской власти представляются как сплошная череда преступлений, обмана и самообмана, но для пяти поколений советских людей «сталинизм» и «застой» — реальный опыт их личной жизни, их чувств и надежд на «светлое будущее», страданий и счастья. Они идентифицируют себя с той эпохой. И мы не вправе сводить их жизненный опыт к предвзятому описанию того времени, выдержанному в уголовных, а то и пародийных тонах. То была страшная, но великая эпоха. Все это можно сегодня с легкой руки назвать мифологией, бредом, но это был такой бред, который оказался более реальным, чем сама реальность. То был действительно грандиозный эксперимент по созданию нового мира, нового человека, новой системы ценностей, нового смысла жизни.

Тема «покаяния» является нравственной новацией именно потому, что она не позволяет локализовать понятие вины лишь в прошлых поколениях и лишь в отдельных представителях Системы. Мы все причастны к тому, что тогда происходило: и жертвы, которые охотно становились жертвами, сами запуская карательную машину, рано или поздно настигавшую их самих. И мы, сегодняшние поколения, тоже несем ответственность. Но не за своих отцов, а за себя. Ибо наш сегодняшний радикализм — изнанка Системы. Система по-прежнему живет в нас, в наших большевистских реакциях на несправедливость окружающей жизни и упразднение старого мира.

ЧТО ТЕБЕ СНИТСЯ?..

По утрам меня часто спрашивает жена: «Что тебе снится?» — «Крейсер «АВРОРА»! — отвечаю шутя, словами старой пионерской песенки...

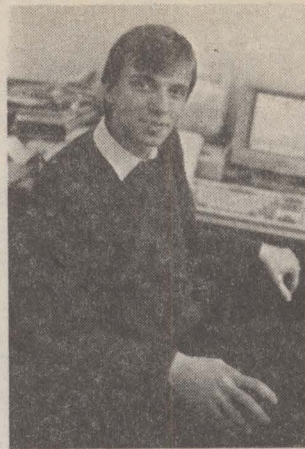
Почему бы и нет? Толику из «Черной розы...» Соловьева, если помните, не только «Аврора» сыграла, причем стреляющая (как чеховское ружье), но и собственный мавзолей! «Приезжаю я в один странно знакомый город, — рассказывает мой знакомый, — и начинаю спешить: туда надо, сюда надо, да еще водки выпить с друзьями... Тороплюсь, тороплюсь — и постоянно чувствую: мой поезд скоро уходит... И бегу по таким известным вдоль и поперек улицам — и неизменно то в тупик попадаю, то на какой-нибудь пустырь, и всегда опаздываю: вижу только красные огоньки, да слышу гудок... Я матери рассказал, а она и говорит: «Вот успеешь — так померешь...» Ужас!..»

А вот мои сны: как будто Прибалтика, пасмурное утро, спокойное, но мутное, как после бури, холодное море. Иду я по пустынному галечному берегу, а по кромке его — до самого горизонта — сплошные орденские планки.

А что снится тебе?..

Александр КОРОМЫСЛОВ
г. Воткинск

«20-я КОМНАТА»: А не собрать ли нам с вами коллекцию снов? А что?..



летопись смутного
времени

Человек ЭПИЦЕНТРА

«Эпицентр событий» — замаскированный газетный штамп, предмет мечтаний репортера... Я шел в эпицентр и не торопился. Потому что знал, что меня там ждут. С Алексеем Мельниковым, 27-летним старшим научным сотрудником «ЭПИ-Центра» — независимого московского центра экономических и политических исследований, известного публике под названием «команды Явлинского», — мы разговаривали долго и несколько сумбурно. Не знаю, как Мельников — я же вынес из нашей беседы, как выражались раньше, «чувство глубокого удовлетворения». Когда собеседник швыряет в тебя не лозунгами, а мыслями, когда он уводит разговор в сторону, чтобы ты до конца осознал смысл собственного вопроса, — что еще нужно, чтобы ощутить сполна роскошь человеческого общения?

Это ощущение я и пытаюсь воспроизвести на бумаге.

К. МИХАЙЛОВ

1. Правила игры

— Скажите, Алексей, «команда Явлинского» — это и в самом деле команда?

— Да, мы очень сплочены. То, что пишет или придумывает один, читают и обсуждают все.

— Вас много?

— Пятнадцать человек, и этот штат не будет расти.

— У центра, конечно, есть спонсоры — те, кто платит? Кто заказывает музыку?

— Никто не предписывает нам, чем заниматься. Делаем то, что считаем нужным. Естественно, каждый спонсор получает отчет: на что израсходованы его деньги.

— Вы — «западники»? Явлинский — «западник»?

— А Хомяков и Киреевский с их прекрасным европейским образованием — славянофилы? Нет, это люди, которые впитали западную культуру, увидели ее ограниченность — и доросли до того, чтобы сказать о чем-то своем. Политические институты Запада нельзя рассматривать как последнее слово цивилизации, хотя много разумного можно и позаимствовать. Но западниками нас я называть не хочу. Ведь к нашим демократам этот термин применяется сейчас в совершенно прямом смысле: они усвоили некие общие понятия о западном обществе и хотят это «общее» перенести к нам. Тот, кто видит всю неоднородность, неоднозначность этого абстрактного «Запада», «западником» быть не может. Но если мы и славянофилы, то исключительно в смысле Киреевского и Хомякова. В нашей последней программе «Согласие на шанс» примерно так было сказано: политические институты Запада могут быть заимствованы, но у России свои история, культура и судьба.

2. Дебют

— Алексей, признаюсь, что все мое «досье» на вас — пять минут вашего интервью «Пятому колесу». С телеэкрана вы производите впечатление закоренелого гуманитария...

— Тем не менее закончил я в 1988-м экономический факультет МГУ. Мне вообще-то не по душе разделение на гуманитариев и естественников, я ищу здесь некоей золотой середины. Может быть, это похоже на некий средневековый идеал образованности... Мне повезло с учителями — в университете я познакомился с одним из лучших, пожалуй, советских философов — Александром Никифоровым, он занимался философией науки. Вот такое образование, а что касается истории — это увлечение с детства.

— Остается сейчас время на увлечения?

— Хотя ночами, хоть как — стараюсь находить это время. Если заниматься только нашей непосредственной работой — так можно умереть. Тем более что Явлинский сам хочет, чтобы каждый из нас занимался и чем-то «своим».

— Как же вы пришли к Явлинскому?

— После университета я работал в Институте экономики АН СССР, кстати, в секторе академика Абалкина. Когда у него было время, мы достаточно часто общались. Честно говоря, его мысли в частных беседах выглядят гораздо привлекательнее, нежели в его печатных работах. Может быть, временем это вызвано, образованием... Но помню, как тогда удивили меня томики воспоминаний Витте у него на столе.

— А у Явлинского что лежит на столе?

— Ну, у него много чего может лежать. Сейчас он читает журнал «Полис» — «Политические исследования». Поверьте, круг его интересов весьма широк.

— Верю. Ну, и как же от Абалкина попадают к Явлинскому?

— Так вышло, что познакомился я с Лешей Михайловым и Мишей Загорновым — моими нынешними коллегами по центру. Они и свели меня с Явлинским — было это в начале 1991-го, мы начали общаться — так я и пришел сюда.

— Ваши функции здесь?

— По большей части занимаюсь я внешнеэкономическими связями. А «свое» — русская история, философское осмысление наших реформ.

— История — экономики? культуры?

— История в широком смысле. И, разумеется, история духа.

— Она для вас продолжается после 1917-го?

— Да, конечно. Другое дело, что это за дух. Вот в вашей «Юности» статья Георгия Федотова (№ 8, 1991 — «О национальном покаянии» — К. М.), там как раз хорошо сказано — без Бога человек является зверем. Звериный дух — тоже дух. Хотя духовность советского общества исследована слабо, ее изучение нужно «посадить» на почву исторических фактов. Вот, слава Богу, сейчас издательство «Тетра» начало выпускать гессеновский «Архив русской революции» — там столько уникального, столько нового! Нельзя, по сути, говорить о духовности, духе советского общества как о чем-то едином. Очень примитивен взгляд на людей как на некий «народ», он слишком многолик. Это, кстати, и есть недостаток, свойственный нашим современным демократам-либералам: для них есть народ, есть его противостояние тоталитарному государству — и не более.

3. Стратегия

— А вы что же, знаете, в чем ныне конфликт эпохи?

— Я не думаю, что конфликт один. Их много, и в разных плоскостях. Во всяком случае, основное противопоставление — «демократы — консерваторы», «рыночники — коммунисты» и т. п. — представляется мне совершенно неверным. Назрела некая третья линия в политике — подспудно. Сначала проявилась она в публицистике — статьями таких, например, людей, как недавно умерший экономист Виктор Богачев. Он напечатал несколько блестящих работ в «Эко», в «Вопросах экономики» — они прошли, естественно, незамеченными. А ведь там были низвергнуты все экономические постулаты наших сегодняшних вождей-демократов! Богачев рассматривал различные типы рыночных ситуаций — совершенную конкуренцию, олигополию, монополистическую конкуренцию и т. д. — и доказывал, что не всякий рынок хорош сам по себе, что он не есть всеобщая панацея... В более массовой публицистике этим занимался Эдуард Лимонов — в «Советской России», «Комсомолке». Он очень хорошо показал, что представления о либеральном западном государстве как о чем-то мирном, идиллическом не соответствуют реальному, что в США и Западной Европе

государство в определенных ситуациях очень жестко ведет себя по отношению к своим гражданам. Отечественная «либеральная» идеология была, мне кажется, сильно этим поколеблена.

— И стало заметным «третье направление»...

— ...которое отличается от демократов большим реализмом. Его люди не консерваторы, но не революционеры! По сути дела, «третье направление» — это то, что старается делать Явлинский. Конечно, этот человек вышел из демократического лагеря, но он ушел дальше. Словом, есть тенденция к выявлению этой третьей силы — демократов, исповедующих идею государственности, понимающих, что придется управлять по-настоящему, чьи действия достойны того, как вели себя в России Витте или Столыпин.

— Идея государственности в каких границах? Русская? Союзная?

— Если говорить о России, то это, конечно, русская идея, но не в политическом смысле — в духовном. Под государственностью я здесь имею в виду элементарные способности и умение управлять. Сейчас важно создать среду для самостоятельных единиц экономических действий и взаимодействия.

— Что вы ответите тем, кто до сих пор говорит, что Россия не готова еще к нормальной экономической жизни, к гражданскому обществу и т. д.?

— Я не думаю, что никто не готов. У нас есть, при всех его недостатках, при том, что он черный, частный сектор. Да и вообще представление о капитализме как о мире всеобщей наживы и безудержной частной инициативы неверно. Духом наживы там охвачено и движимо определенное, но не слишком большое число предпринимателей. А большинство населения живет, как и у нас, на оклад. Другое дело, что сама социальная среда заставляет там работать лучше. Важно, чтобы и у нас окреп этот элитарный предпринимательский слой.

— Чувствуете ли вы себя включенным в политику?

— Ну, сейчас нет, а когда делались наши программы «О политике общественного согласия» и «Согласие на шанс» — да. Явлинский не только экономист, он и политик настоящий.

— Пытались ли вы открыть свое дело, применить экономические познания на практике?

— Были возможности, были предложения, мог я зарабатывать гораздо больше — но нет. Мне нравится эта работа. Даже когда она поглощает семь дней в неделю.

— Что же, счастье — в любимом деле?

— Ну, у меня жена и дочка есть...



хим птенцом в душе своей, я объяснить не могу. Наверное, для этого надо долго, тихо, внимательно всматриваться в глаза сидящего напротив...

Ирина ГАРНОВА
Иваново

Я счастливый человек, во всяком случае, таковым себя считаю. Не знаю, зачем об этом пишу, наверное, давно писем не писал или в церковь не ходил. Что я счастливый, узнал не сразу, все близкие родственники убеждали меня в обратном: что я неудачник, ничего из меня путного не выйдет, и я как дурак поверил, и даже — был момент — жить не хотелось. Пишу об этом для счастливых людей, не знающих о своем счастье.

Я художник и почувствовал себя по-настоящему счастливым, когда осмелился вынести свои работы на улицу и люди, куда-то торопившиеся, останавливались и долго смотрели. Я музыкант, немного поэт. Конечно, нескромно называть себя так, но я же нашел **своих** поклонников.

Многие видят счастье в материальном благополучии, в этом их не переубедишь, для **немногих** говорю, **многие** ошибаются. Я нахожу счастье в творчестве. **Многие** этого не понимают, а **немногих** малова-

Стас ПОБЫТОВ
Тверь

Если вы искали счастливого человека, то можете удостовериться, что ваши поиски не напрасны.

В нашей стране трудно быть счастливым; мне мое счастье дается легко.

...Я живу в степях. В прекрасном собственном доме с садом и огородом, сразу за которым речка. Хотя мне всего шестнадцать лет, я успела столько повидать на своем веку! Не всякий пожилой человек может похвастать, что объездил уже полстраны, как я. А что взять с людей, которые всю жизнь просидели дома, заполняя читатники-анкеты, гоняясь за тряпками и косметикой, читая Чейза и «Сельскую жизнь» (в лучшем случае)? Я увлекаюсь рисованием (в летнюю кухню войдете — ахнете, не говоря уже о самой квартире, так я разрисовала все, что можно и нельзя), фотографией, гитарой, чтением классики и не только ее, икебаной, иногда спортом, работой в саду-огороде, шитьем, вязанием, вышивкой...

Может быть, я буду выглядеть чудачкой, если скажу: разве не счастье смотреть на ясное звездное небо, ходить босиком по росе, любить весь мир и себя, иметь **обоих** родителей, которые понимают и любят тебя (удивляюсь, когда читаю о конфликте матери и дочери, со мной не бывало); дышать ночью,

чувствуя ее ароматы? И я знаю, что многие согласятся со мной.

Чувствую, что все-таки не смогла рассказать, чем я счастлива, хотя сочинения пишу на «5». Счастье — это что-то огромное, неохватимое, не передаваемое словами, и его каждый понимает по-своему.

Людмила М.
Ростовская область

Как радостно случайно находить в журнале то, что нужно душе! Так случилось на этот раз: «Письмо счастливого человека»!.. Уважаемый автор письма положила начало рубрике, которая, я уверен, поможет многим.

Сразу скажу, что с подозрением отношусь к слову «счастье», как и к большей части слов, произносимых людьми. Счастье — в этом слове отражена потребность человека быть тем, чем он призван быть.

Я назвал бы себя счастливым, ибо наконец пришел, вернулся к тому, к чему давно стремился, — к настоящей истинной Вере. Христианской вере. Прошу не отводить скептически глаз от этих строк. Я не собираюсь спорить, обличать, доказывать. Я просто хочу сказать, что радость в том, чтобы жить в мире со своей совестью. Совесть — это Дух. Дух дан каждому человеку. Зло противится ему, поэтому-то в наше время так трудно ощутить себя счастливым.

«Пишут ли счастливые люди о России?» Да, о ней. Я русский человек, живу на этой земле, вижу и ощущаю ее. Мне больно, что она уходит. Но так суждено — все имеет конец. Мои деды и прадеды жили и умерли на земле, по которой хожу. И другого места мне не нужно. Пусть смерть, но здесь.

Наше время ущербно. Но человек вообще стремится победить время, не осознавая того. Ему хочется иметь тихий дом где-то в горах или на волшебном острове, нужного человека рядом. Он хочет солнца, тепла, света. Он всегда ищет, путешествуя и знакомясь с миром и людьми. Но время отбирает минуты безмятежности... Нужно попытаться победить его, как это сделал однажды Один из нас...

Я счастлив, когда изучаю деревья. Совершенное создание! Всякий человек похож на дерево. На воду. На птиц. Только есть у человека Враг, который заставляет забывать обо всем этом...

М. КУЗНЕЦОВ
Воскресенск Московской области

Рисунок Георгия Мурьшикина

Продолжение «20-й комнаты» —
на стр. 39

Олег ХАНДУСЬ МАРОДЕРЫ

Рассказ

Олег Хандусь еще не остыл от афганской войны. Детали и подробности даны им жестко и выпукло. Такую прозу бессмысленно хвалить за правдивость. Это — литература по всем признакам стиля, раскаленная судьбой и памятью автора. Литература поражения и покаяния. «У них за душой есть нечто большее; а мы проиграли. Нет, не войну. Никакой там войны и в помине не было. Было черт знает что; а проиграли мы свою жизнь, потому что действительно после такого удара, какой я нанес старику, мне самому уже никогда не оправиться». Писатель приходит на помощь своему герою, его душе. Если так помнишь, значит, живешь, и еще не все потеряно.

Пока Хандусь публикует только афганские рассказы от первого лица. Главный вопрос: что дальше? Писатель начинается там, где кончается автобиография. Мир лично пережитого часто противится фантазии, воображению прозаика, подавляет их. Надо постараться раздвинуть горизонт вокруг себя. Конечно, мои советы носят достаточно риторический характер, и молодой автор, студент Литературного института вправе их отвергнуть. Есть литераторы одной внешней темы, но это маленькие литераторы. А Олег Хандусь по своему творческому потенциалу, кажется, способен на большее.

Евгений СИДОРОВ



Фото Юрия Садовникова

Первое время все знали, на что мы идем, и никто не знал точно, что из этого выйдет. Мы жили как пьяные то первое время, хотя о русской водке могли лишь мечтать. Каждое утро мы просыпались под рыжими куполами десятиместных палаток, глубоко вкопанных в землю, в куче грязных шинелей и другого тряпья, расталкивая друг друга, словно с похмелья; и жили как во сне, как в бреду.

Об офицерах и говорить не приходится, они были потеряны. Сновали меж нами молчаливыми призраками. Один из них плакал все, вспоминая о жене и двух дочках, двойняшках; прямо при нас.

Это потом уже начали закручивать гайки: восстанавливать дисциплину и форму одежды, карать мародеров и пьяниц, выявлять наркоманов. Но поздно. С некоторых пор мы решили не выбираться на операцию без сорока литров браги; две двадцатилитровые канистры для запаса горючего крепятся справа и слева к броне... брагинштайн, как мы говорили.

В лагере с этим делом было мало проблем. Сахаром завалены складские палатки, которые мы же и охраняли, дрожжи у поваров, а жара навалилась такая, что хватало трех дней. И жидкость сияла на солнце слезою младенца; вот только выезды объявляли внезапно.

«Четвертый, я — третий, прием...» Мой друган Володька Стеценко выходит на связь. В те знойные дневные часы, когда пятикилометровое тело колонны медленно поглощает крутые изгибы шоссе. На самом дне бесцветного неба одиноко парят две хищные птицы, впереди, за сероватыми пластами полей, нас ожидает угрюмая горная цепь.

Нехотя, будто прижимаю фишки лингафонов к гортани: «Здесь я, здесь четвертый...» Стец хрипло кашляет смехом в наушниках; я и сейчас вижу его жирное от пота лицо: оно все в грязных оспинах, выражение преданное и свирепое, как у собаки, и два металлических зуба во рту. «Как там наше горючее? — беспокоится он. — Жарко, трясет... Емкости выдержат, не разорвет?..» Отвечаю: «Сейчас посмотрю».

Тут же в эфир грубым голосом врывается ротный: «Языки вырву! Была команда: все станции — на прием! Слушать только мои команды!» Но я уже выбираюсь из люка и ползу по горячей броне. Тянусь рукою к горлу канистры, приоткрываю замок, выпуская потихоньку скопившийся дух, а потом и открываю саму крышку вместе с прокладкой из черной резины.

Именно так это все начиналось. Но как бы то ни было — лично я ничего плохого не делал. А то, о чем хочу рассказать, сделал кто-то другой, но не я. Мне самому было даже противно участвовать в этом дешевом, дурацком обмене.

Почти всегда в самом начале мы заезжали в Пули-Хумри. За этим городом, километрах в трех под горой, на вершине которой установлен локатор, располагалась огромная база. День и ночь, непрерывно сигналя, одна за другой в долину спускались колонны, везя из Союза боеприпасы и стройматериалы, муку и консервы, новое обмундирование и амуницию... Иногда машины подходили с побитыми стеклами, кабины их были точь-в-точь решето, некоторые затащивали на базу буксиром.

Еще с дороги, огибающей склон соседней горы, открывался обширный палаточный город: тыловая столица дивизий, ведущих боевые действия в северных районах.

Широкие траншеи с боеприпасами, огороженные колючкой и окруженные вышками, складские палатки, целый парк техники, пекарня и банно-прачечное хозяйство — все это обслуживала свора бывалых вояк, разжившихся на бездарной войне дармоедов. Там можно было живьем увидеть нескольких женщин, а по вечерам крутили кино. Но задерживались мы там ненадолго: получали боеприпасы, провизию, сколачи-

вались в подвижную группу и двигались дальше.

И вот, когда колонна въезжала на пестрые улочки Пули-Хумри, со всех сторон к ней сбегались мальчишки, а за ними и взрослые люди, и все они громко кричали. Смуглые, худыми руками они протягивали нам всевозможную блестящую мишуру заграничного производства: фальшивые брелоки на цепочках и запонки, колоды карт с голыми женщинами и просто яркими видами городов, сигареты, очки, наркотики — в общем, много всего. Но что меня интересовало — так это часы! Швейцарские — настоящие, с хрустальным граненым стеклом.

Тогда еще, в восьмидесятом году, в городе, где я родился и вырос и откуда призвался служить, все заграничное было редкостью и ценилось необычайно; те же американские спички. И вот такие часы! Я уже представлял себе, как появляюсь однажды в шумном зале кафе, где многие должны меня помнить, и от меня пахнет настоящей войной, и я знаю, что глаза мои видели то, что другим и не снилось; или сижу, развалившись на стуле в пивбаре. Как раз у нас был такой в моде «Пивбар», куда заходили не только любители пива; там были темно-бордовые стены, отделанные под кирпичную кладку, полумрак и низкие арки; погребок, кусочек Прибалтики, почти граница... И вот я, черт меня подери! И вот как раз таких часов не хватает.

Мне очень их хотелось достать, да и стоили-то они всего ничего: домкрат от машины или даже ключ разводной. Но вся беда была в том, что колонна на улицах Пули-Хумри не останавливалась; а как проделывать обмен на ходу? Сунешь драгоценную железку, за которую можно и под арест угодить, а она так и останется у хитрого афганца в руках; и колонна ушла, а ты так и будешь ни с чем. Кое-кто умудрялся обмениваться, но я не хотел рисковать. Иногда, правда, случалось, колонна останавливалась в других городах, и там тоже можно было меняться, но и тут я терялся. Желающих много, все лезут. Каждый хотел добыть себе что-нибудь заграничное к дембелю, тащил этим темным, узколобым афганцам железки; мне же было неловко — я ведь все же сержант, да и боязно.

Как только колонна останавливалась на улочках какого-либо населенного пункта, наш ротный сразу поднимался на башню головной бронемашины, вставал прямо на люк своими толстыми, будто бревна, ногами и властно голосил в рупор широких ладоней: «Всем оставаться на местах! Командирам отделений — выставить охранение! По тому, кто отойдет от колонны дальше трех метров, стреляю без предупреждения!» Откидывая широкий рукав маскировочной куртки, он поднимал к небу свой пистолет и внушительно потрясал им.

Коль зашла речь о ротном: он был одесситом, чем очень гордился. Он оказался среди немногих офицеров, не потерявших голову в те первые тяжелые дни. Он-то знал, что вокруг происходит, и не терял времени даром. Во время своих таинственных командировок в Союз он загружал бронетранспортер под завязку, и не только одними патронами и гранатами — понятно, путь нелегкий, опасный... Но зачем ему ящики с мылом, комплекты ключей, тюки неношеного белья?

Что скрывать, все знали о его темных делах, которых, впрочем, ротный и сам не стеснялся; знали и о дороговизне на мыло в этой отсталой стране, а также и о пристрастии афганцев к солдатской одежде. С некоторых пор они просто зауважали наше белье: стали ходить прямо по городу в кальсонах с завязками и белых нательных рубашках, лишь изредка надевая сверху пиджак... Но что загадками говорить о доблестях нашего ротного, однажды я сам убедился.

К тому времени он прекратил свои поездки в Союз; до конца очередной боевой операции оставалось не-

сколько дней — весь день мы были в пути и остановились на ночь на уступе мрачного каменистого склона. Первая рота расположилась ниже, поближе к горному кишлаку, за рекой. Походная кухня шла с нами, и поэтому приходилось два раза в сутки отправлять туда еду.

Мы с Конягой простояли всю ночь в охранении. Было жутковато и холодно; с самого низа ущелья, изгибом уходящего вправо, тянуло влагой и доносился до нас утробный прерывистый гул, вроде отдаленного лая собак. В ночь накануне выкрали лейтенанта и двух солдат первой роты; потом их нашли, вернее, то, что от них осталось.

У нашего пулеметчика я взял пистолет и всю ночь держал наготове: грел ладонью гладь рукоятки, не снимая при этом пальца с курка, автомат мой лежал на бруствере из камней, как оружие громоздкое и неудобное в ближнем бою.

Коняга вполголоса и с долгими перерывами рассказывал о своих похождениях на гражданке. Он любил об этом рассказывать, водить из стороны в сторону востреньким носом, закатывать темные глазки и ехидно хихикать, только бы его подольше просили о чем-нибудь рассказать. Теперь он мечтательно поведал о том, как обхаживал дочку контр-адмирала. Она была пухленькой и имела голубые хрустальные глазки. Коняга пригласил ее на день рождения к товарищу; там были еще две-три парочки. Им с подружкой не досталось отдельной комнаты и пришлось идти в туалет... Мы тихо смеялись, озираясь по сторонам, лихорадочно запахивались в бушлаты, пока не дождались рассвета.

Смолк постепенно неугомонный прерывистый гул, злобное дыхание ущелья, стало спокойно и сыро, и в свете утра броня машин покрылась холодной испариной. Уже слабенький ветерок стал прокладывать путь себе, врзаясь все глубже в плотную массу тумана, когда из люка головной бронемашины выбрался ротный, повернулся спиной, так постоял немного и направился проверять охранение.

Нам он сказал, чтобы шли мы к походной кухне и принесли четыре бойлера с горячей кашей и чаем.

— Повезем завтрак в первую роту, — мрачно добавил он.

Мне лично хотелось спать, предстояло все утро трястись под броней БТРа; я сказал:

— Товарищ майор, так рано еще...

Но он даже не взглянул в мою сторону:

— Не твое дело. Тебе приказали, вперед! На кухне готово все... Подтащите бойлеры с хавкой к дороге — и ждите меня. — И ротный направился к машинам.

Чуть в стороне, куда мы молча пошли, в сползающей по каменистому склону утренней дымке бродили сонный, ворчливый повар, белорус, по прозвищу «Разводяга», и жидкий, вертлявый прапорщик, начальник довольствия; зато живо и сочно пели форсунки, и от котлов вовсю валил пар; в стороне стояли приготовленные к отправке четыре бойлера, от них тоже шел пар. Мы посильнее захлопнули крышки, затянули винт и, ухватившись за ручки, понесли их к дороге.

Ротный выехал не на головном бронетранспортере со своим проверенным личным водителем, а взял прикомандированную к нам БМП¹ третьей роты. Тогда я не мог понять почему. Мы только увидели снизу, как крайняя машина дернулась резко, взвывая мотором и здрав передок, и выехала на дорогу. Тремя рывками она дотянулась до нас, объехала и остановилась. Распахнулись округлые задние дверцы, мы забросили бойлеры внутрь, а затем и протиснулись сами; сели на длинные кожаные сиденья десантного отсека машины.

¹Боевая машина пехоты на гусеничном ходу. (Прим. авт.)

Тут только увидели сидящего напротив Багрова, личного водителя ротного и его, как мы тогда говорили, хавчика.

Кстати, о хавчиках. В любом подразделении нашей армии, наверное, всегда найдутся по одному-два солдата, так сказать, приближенных к офицерам. У нас тоже были такие. На базе они с утра до ночи прислуживали своим командирам: таскали ведрами воду, прибирались в палатках, заваривали кофейный напиток и чай, дважды в неделю брили офицерские головы; некоторые выполняли другую, как нам казалось, оскорбительную для солдата работу, за что пользовались особыми благами и снисхождением. На боевых операциях они становились, как правило, нештатными телохранителями своих командиров.

Так вот, Багров был таким хавчиком. В своем колхозе до службы он работал механизатором и поэтому отлично разбирался в моторах всех марок и считался первоклассным водителем. К тому же добродушный деревенский парнишка никому не отказывал в помощи. Именно эта черта и позволила ротному подчинить его безоглядно своей власти.

Багров не отходил от ротного ни на миг. В лагере являлся к офицерской палатке на рассвете с ведром холодной воды, старательно лил на могучую шею и спину ротного, когда тот, громко фыркая и кряхтя, умывался; и потом находился при нем до отбоя. Багров вместе с ротным ездил в те загадочные командировки ранней весной, и, пожалуй, ему одному была известна судьба ящиков с мылом, комплектов ключей и белья. Несомненно, что ротный делал его соучастником своих дел, и теперь было бы удивительно, если бы Багрова не оказалось в машине.

Ротный сказал, чтобы мы отодвинули бойлеры подальше с прохода: они будут мешать. Сам он сидел впереди нас, повыше, как раз под башней — на месте командира машины, который являлся одновременно и оператором противотанковой пушки. Кресло командира отгораживал от нас частокол кумулятивных снарядов, и оно вместе с башней вращалось.

— Эй, ты! — Ротный обратился к водителю, молодому бойцу третьей роты. — Ты как там: первоклассный водитель или так себе мастер?

Молодой солдат обернулся и еще крепче вцепился в штурвал.

— Ты что, оглох, что ли? Отвечай гвардии майору, хороший водитель ты или нет?

Солдат опять оглянулся и промывчал что-то неслышимое в реве мотора и скрежете гусениц.

— Останови! — скомандовал ротный; машина качнулась и замерла. — Уступи место мастеру; Багров, пересядь-ка туда...

Молодой солдат вылез через передний, водительский люк и, оббежав сбоку машину, влез в задний, десантный. Багров перебрался на место водителя.

— Во! Так-то, пожалуй, лучше, — заметил ротный, когда его личный водитель надавил на педали и машина, задрав передок, тронулась с места.

— Сейчас будет кишлак, — продолжал ротный спокойным и уверенным голосом. — Через два поворота на третей — лавка. Крыша подперта бревнами с обеих сторон. Есть сведения, что душманы хранят там оружие. Надо проверить. Пр продемонстрируешь нам свое мастерство, — он обращался к Багрову, — да не сильно, аккуратненько так... Понял, нет?

Багров оглянулся, улыбнувшись жалобно как-то, и два раза кивнул.

Сделал он все точно, как надо. На крутом повороте, где одна окутанная зеленью улочка пересекалась другой, он лишь на миг раньше дал стоп правой трансмиссии, а левой поддал полный ход, — машину развернуло рывком вполоборота, и зад ее выбил одно из бревен, подпиравших крышу... Нас сбросило с узких сидений,

а головы наши спасли лишь каски, обтянутые мешковиной; машина проскочила вперед метров на десять и замерла.

— Ай дьявол! Какая жалость! — выкрикивал ротный, торопливо выбираясь из люка. — А ты куда смотришь! — замахнулся он на водителя. — Башку снесу!

— Чего сидите? — крикнул он нам. — Вылезайте! Не видите, людям надо помочь...

Выбравшись из брони, мы растерялись на миг, ослепленные утренним солнцем. Но вот в оседающем облаке светло-коричневой пыли увидели дом несчастного лавочника: крыша была одним краем завалена, в центре она сильно прогнулась и почти полностью закрыла проход. Бревно отлетело в сторону. Из-за осыпавшейся кусками глины и торчащих кривых стропил виднелся разбросанный товар.

— Быстро, быстро! — Ротный проскочил мимо нас, почему-то пригнувшись и держа автомат на весу. — Схватили дружно бревно и установили на место... Багров, за мной! Он нырнул под крышу как раз с того края, который удержался, подпертый уцелевшей опорой.

Втроем мы старались приподнять полуразсыпавшийся настил и поставить на место опору; это оказалось нам не под силу.

— Эй, ты куда? — крикнул я молодому солдату. — Быстро — на крышу!

Солдат развернулся и побежал туда, куда ему приказали; я вслед за Конягой пробрался внутрь лавки.

Пыльный полумрак под завалившейся крышей наискось прошивали несколько ярких лучей, их пересекали острые струйки песка, стекавшие сверху; Коняга оглянулся на меня и поежился.

— Эй ты, салабон! Не возись там! — крикнул он молодому солдату. — Какого черта, завалишь тут нас!

Я осмотрелся: ротного с Багровым здесь не было. Под ногами валялись арбузы и дыни, в плетеных корзинах были свалены сливы и виноград, пыльные стопки продолговатых лепешек, другой непонятный товар — вроде съестное... В углу груды металлических частей различного инструмента, на узких полках вдоль дальней стены, рядами — глиняные кувшины и другая грубой работы посуда; часть стены была отгорожена ширмой.

— Вот такой штукой раскроили черепок Ваньке Борщову. — Коняга держал в руках тяжелый кованый зуб допотопной мотыги. — Когда он стоял на обочине и мочился. Сзади проходил караван на верблюдах, и прямо сверху так — бац!

— Отдай ротному, — предложил я. — Он здесь, кажется, оружие ищет.

— Да, оружие, — согласился Коняга.

Тут из-за дальней стены послышался треск и гулкий удар, и голос нашего ротного: «А, черт!» Ширма отодвинулась — и появился он сам, а вслед за ним протиснулся боком Багров.

— Ну как, все нормально? — Ротный осмотрел нас внимательно, наши потные лица и обтянутые мешковиной, запыленные каски. — Чего стоите? Рубать не хотите... Берите по паре дынь — и что там еще... поехали!

— Оружие ищем, — вдруг ответил Коняга.

Ротный обернулся:

— Нет там никакого оружия, поняли? По местам всем! Поехали!

Сзади раздался грохот заведенного двигателя, заскрежетали гусеницы. Багров подогнал машину вплотную к разрушенной лавке, мы открыли задние люки, быстренько побросали туда несколько арбузов и дынь, пару корзин с виноградом и сливами, стопку лепешек, влезли сами и скоро выехали на дорогу, оставив позади обезлюдевший мгновенно кишлак.

Высоко над нами из-за зеленоватых каменистых вершин выкатывался матовый шар, утренним светом наполняя синее небо. Первые солнечные лучи скользили по скалам, но только по самым вершинам; внизу же ущелья, там, где шумел холодный горный поток, было по-прежнему мрачно и сыро.

Ротный приказал остановить машину возле реки. Мне отлично запомнилось место: при выходе из ущелья река разливалась и несколько замедляла свой бег, и рокот ее не глушили отвесные скалы; брод остался левее, мы свернули с дороги и проехали с полкилометра по весеннему каменистому руслу, оставленному рекою с тех веселых времен, когда таяла снега и с гор спускались лавины; сейчас снег белел лишь на недоступных, вечно холодных вершинах, скрываемых порою несущимися неустанно глыбами облаков.

— Даю вам ровно пятнадцать минут на то, чтобы уничтожить все это, — процедил ротный сквозь зубы, как только мы пососкакивали с брони на округлые камни. Он откинул рукав маскировочной куртки и взглянул на запястье: на точеный циферблат швейцарских часов с тремя крупными кнопками и выпуклым граненым стеклом. — То, что не осилите, — в реку! С собой ничего не возьмем. Да не вздумайте вякнуть кому, что я позволил вам грабить несчастных афганцев, они и так Богом обижены... Давайте рубайте. — Он улыбнулся. — Вам надо молиться на вашего ротного.

Коняга сидел на большом валуне и смачно вгрызался в кровавую мякоть арбуза. Огромный ломоть, грубо отхваченный широким лезвием штык-ножа, он держал в правой руке, а левой утирал себе щеки и рот, то и дело откидывая каску к затылку. Коняга сидел напротив меня, поглядывая исподлобья на ротного, и мне вдруг стало смешно.

Всего минуту назад мне хотелось плюнуть в лицо своему командиру так же, как и раньше, в полуразрушенной лавке: он выходил из-за ширмы, торопливо запихивая в нагрудный карман свернутую вдвое пухлую пачку афгани, и мне хотелось плюнуть ему в лицо. Я не знаю, почему у меня возникло такое желание: может, даже от зависти к ротному. Хотелось вспороть живот ему короткой огненной очередью, и, право, это не составило бы большого труда, надо было только чуть поднять ствол автомата. И увидеть, как мой доблестный ротный корчится под ногами... Я должен был его застрелить, по всем законам чести и справедливости — я должен был его застрелить; но я знал, что тогда неминуемо буду наказан. Меня арестуют и отдадут под трибунал. Мои же товарищи. И скорее всего расстреляют, а может быть, разберутся и надолго посадят в дисбат; но это не имеет большого значения, поскольку те, кто возвращается из дисбата, не могут в полном смысле считаться людьми.

Так думал я, пока не взглянул на своего друга, Славику Конева, а он ел арбуз. Меня всегда успокаивало его лицо. Узкий выразительный нос, яркие губы и подвижные темные глаза. Роста Коняга был невысокого, какой-то весь свежий. Имел движения плавные, ни дать ни взять черный кот. И я даже помню, как в зимние дождливые ночи, когда мы прижались друг к другу в промокиши палатках, трясая от холода, мне становилось теплей и приятней, если рядом оказывался именно он.

Я уже говорил, что он с удовольствием рассказывал о себе. Родители его остались в Кронштадте; отец — суровый мужик, капитан первого ранга, замкомбриг. Он и пальцем не пошевелил для спасения сына от армии, когда пришел срок. Он хотел, чтобы тот поумнел. Из ухоженной, благословенной Германии его перебросили в эту забытую Богом страну. Но потом отец, очевидно, смягчился. И Славику дважды за службу удавалось вырваться в отпуск, и оба раза, как

говорили наши штабисты, по вызову Ленинградского военного округа. Так что Коняга был не таким уж простым, каким порою казался.

2

Да, черт бы подрал эту забытую Богом страну и нас вместе с нею! Прошло десять лет, а мы все оглядываемся назад и с надеждой смотрим туда, откуда восходит солнце. Мы слышим опять заунывный голос муллы, протяжно зовущий к утреннему намазу, и словно пытаемся понять для себя, что же там с нами было и как нам жить дальше... Прошло десять лет, пора уж забыть — да и лучше забыть! Ведь крест ждет того, кто возьмет на себя грех всего мира. Война — это грех всего мира, но я не хочу на крест. Я не хочу быть спасителем, я ничего не хочу; только бы жить простым человеком.

— Понимаешь, чтобы возвыситься над людьми, надо совершить какую-то подлость, — сказал вдруг Коняга дня через три, как уплыли по реке наши арбузы и дыни.

Солнце в тот полдень пекло нещадно. Прохладные лощенные скалы отодвинулись в прошлое, они уступили место зеленоватым предгорьям. Всю ночь мы тряслись под броней, перемещаясь на запад; и стояли теперь в оцеплении. На прочесывание очередного населенного пункта вышла первая рота, мы тем временем перекрыли все подступы к кишлаку; БТР наш стоял у дороги.

— Вот отец мой, — продолжил Коняга, — он всю жизнь совершает подлости, это я точно знаю!

— Ну ты даешь, — усмехнулся я, запихивая в длинное резиновое ведро бензином свою завшивевшую одежду: на досуге мы решили провести профилактику.

Коняга сидел раздетый на краю наспех вырытого окопа, только что разбросав по горячей броне свои куртку и брюки, выполосканные в бензине.

— А что, нет, что ли! — Славик презрительно сплюнул. — И ротный сейчас скрежещет зубами...

— А что ротный-то?

— Ну как что... Не мы, а первая рота орудет там в кишлаке, прогадал он.

— Да, ты прав, прогадал...

Я вынул из ведерка с бензином тяжелый комок и, послышав отжав его, принялся встряхивать.

— Все ему мало, — продолжал Коняга с обыкновенным для него равнодушием. — Здесь получает чеками, в Союзе зарплата идет, выслуга — год за два... Все ему мало, сволочь! Сделал-таки нас соучастниками.

— Гад, мародер, — поддержал я товарища, так же раскидывая по горячей броне отжатые куртку и брюки.

— Хотя, в общем, если так разобраться: мы все мародеры. Все мы обкрадываем родную страну.

Коняга потянулся лениво, достал сигарету из мятой пачки, а из лежащего по правую руку подсумка спички.

— Э! Ты потише с огнем там — хочешь поджарить нас живо?..

— А что тише-то?! — Славик вынул изо рта сигарету и повернулся ко мне лицом. — Твои родители что, не воруют?..

— При чем здесь мои родители?

— А вот при том, — Коняга многозначительно уставился в небо, — что, кроме как мародерства и крови, мы ничего и не могли сюда принести.

— Это не наше дело.

Я спрыгнул с брони на землю и выплеснул из ведерка остатки бензина.

— Ашей кормить — это наше дело, — усмехнулся Коняга.

— Что ты все воду мутишь! Чего ты хочешь? — Я обернулся, отбросив ведро.

— Черт его знает. Правды охота, справедливости, знаешь...

— Не надо никакой справедливости! Вернемся домой, там все будет путем...

— А отвечать кто будет?

— За что?

— Да за то. — Коняга отвернулся, поморщившись.

— Это не наше дело.

— А чье?

— Вон, ротный есть! И ублюдки повыше... Дерьмо собачье!

— Во! — Коняга повернулся ко мне. — Мы-то и останемся в дураках! — Он тыкал в свою тощую грудь указательным пальцем. — Ротный откупится: бытие определяет сознание — так нас учили! У ротного-то все будет схвачено. — Коняга усмехнулся и шлепнул меня по плечу.

— А у нас?! — Я пытался ему возразить. — У нас тоже все будет схвачено! Да нам выдадут такие бумажки, что не устоит никакой бюрократ! — Я взглянул на товарища: Коняга согласно кивал.

— Бумажки, говоришь... За проданную душу — бумажки?..

— Ее никто и не продавал.

— Тогда и бумажкам твоим грош цена!

— Какая разница! Привязался к этим бумажкам... Мы видели такое!.. Мы должны что-то сделать!.. Хочешь, я скажу тебе?

Славик кивнул:

— А ну-ка давай!

— Я поступлю в университет Ломоносова.

Коняга присвистнул.

— Нормально, валий! — Он засмеялся.

— Что ты смеешься! Думаешь, не получится?

Славик поморщился и взглянул на меня с сожалением:

— Послушай меня... и запомни. — Теперь он говорил безо всякой иронии, медленно и устало. — Самое лучшее, что можем мы сделать, так это остаться здесь.

— Не понял?

— Лечь костями в эту проклятую землю! — Коняга сплюнул и вновь посмотрел на небо. — Или вернуться, только в цинковой упаковке.

— Нет, дружище, меня дома ждут.

— Мать проплачется... Но мне кажется: слез будет меньше, если ты не вернешься.

— Почему?

— Да потому что ты уже не сможешь быть собачьим дерьмом. — Он вдруг поднялся, выбрался из окопа, взял резиновое ведро и понес его на место, в машину, но потом опять вернулся в окоп.

Солнце застыло в самом центре вечного круга, обжигая с высоты наши бритые головы. Мы молча сидели на краю наспех вырытого окопа, рядом с бронированной пыльной громадой, и равнодушно смотрели в дальнюю даль: на лазурные вершины гор. Их подпирали под самое основание поля — плавно очерченными, будто накиданными друг на друга пластами; они были разными по окраске — от темно-серых, наверху, только что вспаханных, до бурых и желтоватых, цвета прелых трав и осенней листвы.

И все же они были очень похожими, и я это чувствовал: в каждом из них присутствовал один и тот же оттенок, едва уловимый и доставляющий всего лишь неясную боль. Если бы знал я, что это соленый привкус здорового пота, густой и устойчивый; такой же, каким была пропитана клетчатая застиранная рубаха отца, а может, облегчающий душу вздох благодарности...

Земля не может быть проклятой, если по ней ходят

люди. Ведь они не просто так ходят, снашивая подошвы, — люди сразу берутся работать, так уж они устроены. Те же безутешные матери увлажняют землю слезами... Всегда должен вызваться тот, кто готов за нее постоять; если надо, очистить от всякой падали. Как это просто и правильно! И как не просто понять, что это и есть то самое главное, а все остальное — возня и туман.

А пока мы сидели и почесывали бритые головы, изредка поглядывая в ту сторону, где орудует первая рота. Слабенький ветерок приглушал всплески выстрелов, а сам кишлак терялся в пышной зелени фруктовых деревьев. И еще оттуда тянуло прохладой — мы знали, что там должна быть вода — журчит себе речушка или ручей на щебенке, между призмистыми лачугами, будто вылепленными из глины; и тут парни с исхудалыми, заостренными лицами, в касках, обтянутых мешковиной, ударами ног вышибают ветхие двери и, пуская короткие очереди, боком вламываются внутрь — и нам, конечно, хотелось быть на их месте. Вот тогда-то и появился на пыльной дороге этот странный старик с ишаком.

Он направлялся к жилью со стороны холодных каменных гор, откуда и мы прибыли на рассвете; шел неторопливой, угрюмой походкой в белоснежных полотняных штанах и длиннополой рубахе, поверх которой был накинута обыкновенный пиджак. И я помню, Коняга сказал: «Что бы ему не сесть верхом на осла и не въехать к людям, как полагаются...» Я не понял, что он имеет в виду, а старик тем временем приостановился и, повернувшись спиной, осматривал бронетранспортер третьего отделения; его не смутил даже грозный ствол крупнокалиберного пулемета, направленный как раз на него. Старик постоял немного и двинулся дальше, ведя за собой ишака.

Но, не покрыв и тридцати метров, он снова остановился, теперь уже напротив нашей машины: взглянул на солнце, на небо, достал откуда-то квадратный коврик или плед, расстелил под ногами, опять посмотрел на солнце и как бы прислушался. Затем осторожно, упершись по-старчески в бедра руками, встал на колени, прижал к груди ладони и вдруг уткнулся чалмою в дорожную пыль.

— Видали, нет!.. — Мы обернулись: к нам подошел Володька Стеценко. Он кивнул в сторону старика: — Силен, бродяга!

Коняга согласно усмехнулся:

— Силен!

Стец был бос, без ботинок. Ноги его по щиколотку покрыты желтоватой дорожной пылью. Но я и без того знал, что на одной ступне у него накололо: «Они устали», а на другой — «Хотят отдохнуть». И на руке у Стеца была накладка: «Ростов-на-Дону»; и он старался держать свою, так сказать, марку — слыш парнишкой бесшабашным и вороватым, имея при том душу ранимую.

— Может, пойти маклю сделать с этим папашкой? — Володька усмехнулся. — В смысле, обмен.

— Он сейчас занят, — заметил я.

— Какой там обмен, — вмешался Коняга. — Прикладом по лбу — и весь обмен!

— Бросай так шутить!

— А что? — Стеценко еще раз посмотрел на дорогу: старик молился. — Может, он это... Лазутчик!

— Точно, — согласился Коняга.

— Ну ладно, пусть пока отдохнет. — Стеценко опустил на короточки. — Мужики, там у вас бражка осталась?

— Да какой там бражка, такая жара!..

Но Володька встал и пошел к машине, сдернул с брони канистру и поболтал на весу:

— О! Мал-мал есть! Давайте накатим по котелочку...

— Я не буду,— отрезал Коняга.
— Как хочешь, а мы с братишкой накатим... Надо допивать до конца, иначе прокиснет — и уксус будет.. Где у вас котелки?

Стец потянулся и влез в люк машины; минуту спустя появился снова, сбросив на землю два котелка.

— А доктор-то Уотсон, кстати, тоже был воином-интернационалистом. Об этом вы знаете? — спросил вдруг Коняга как бы не к месту, пока Стец наполнял котелки.

— Это тот, что ли, который все с Шерлоком Холмсом крутился? — Володька протянул котелок, наполненный до половины мутноватой, вонючей жижей.

— Он, его летописец...

— Фу!.. Гадость какая... теплая! — Володька утерся. — А ты откуда про это знаешь, тоже их корешан?

— Да это моя любимая книжка! У отца полное собрание сочинений, я раз сто пятьдесят перечитывал.

— Тебя убивать пора...

— Только Уотсону этому тоже, кажется, здесь ничего не досталось, кроме как неудач и несчастья. — Славик поднялся и, опустив голову, начал осматривать внутренние швы полинялых трусов. Он нахмурился:

— Вот черт! И тут, гады...

— Что там? — Я едва сдерживал позывы к рвоте. — Яйца?..

— Ну! У них склонность удивительнейшая к размножению... Надо будет потом и трусы постирнуть.

— Так что там доктор-то этот? — Володька присел на корточки и всунул в рот сигарету.

— Да ничего, заболел он.

— Желтухой?

— Нет, кажется, тифом... Да, точно: тифом он заболел. Это все в первом томе написано, в самом начале.

— Вшей, наверное, тоже кормил, как и мы...

— Не-ет, вряд ли! Он был англичанином, а они — люди цивилизованные, не то что мы — собачье дерьмо!

И тут произошло что-то, я точно не знаю, будто мне плюнули прямо в лицо, — и дальнейшие разглагольствования Коняги доходили до меня, как сквозь туман. Он говорил вроде, что эти подлые англичане повывакали отсюда все, что могли, и теперь живут припеваючи, и еще сто лет будут жить...

— А вот сейчас мы посмотрим,— так сказал я. Встал и направился к старику, захватив автомат. — Стец! Пошли-ка со мной!

Старик скручивал в трубочку коврик, казалось, он не замечал ничего. Стеценко с ходу запрыгнул на ишака, вынул из ножен штык-нож и стал тыкать острием бедному животному в ляжку: «Но!.. Но!.. Поехали!..»

Мы остались один на один: я и старик. И тут только дошло до меня, что я стою перед ним совсем голый, в одних полинялых трусах. Я вдруг заорал:

— Время?... Времени сколько, я спрашиваю!

Старик стоял и не двигался. Меня поразили его глаза: вовсе не стариковские. У стариков они обычно подернуты желчно-матовой пленкой, но эти глаза были ясные и прозрачные. И я опять заорал:

— Сколько времени? Время, не понял! — и показал на запястье.

Старик повел неторопливо рукой, отодвинув рукав пиджака: вот они — часики! Швейцарские — настоящие, с тремя кнопками и хрустальным граненым стеклом... Старик взглянул на меня и вздохнул облегченно. В этот самый момент взлетел приклад моего автомата и торцом врезался в лоб ему, старик упал на спину в дорожную пыль.

Он лежал у меня под ногами, широко разбросав руки, словно распятый, и старческое лицо его освещалось улыбкой блаженства.

— Надо прикончить,— процедил сквозь зубы Стеценко и склонился над стариком, чтобы проверить карманы.

— Хватит с него... Дай мне часы, я давно мечтал о таких.

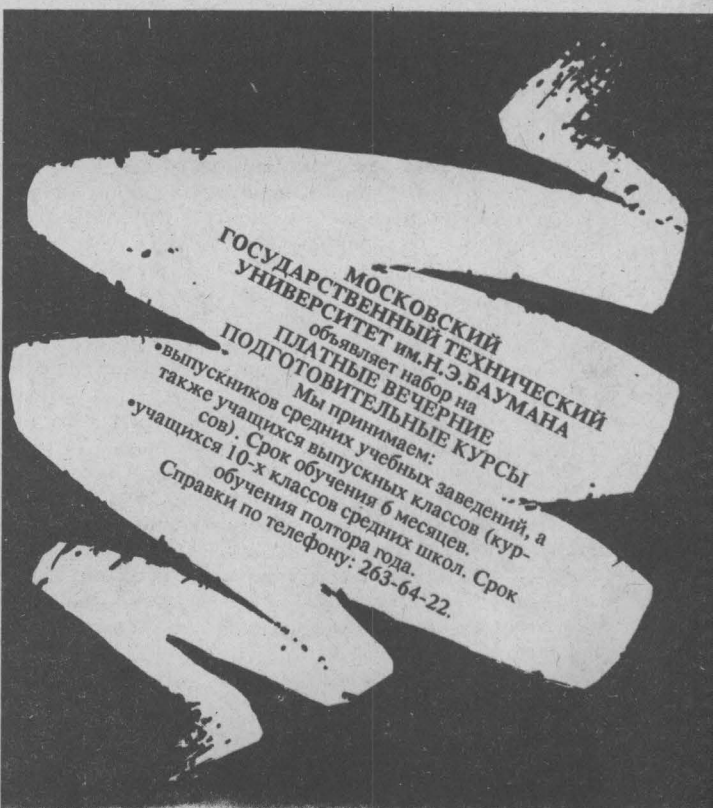
А старик все лежал в дорожной пыли распластанный, и в застывших глазах его отражалось предзакатное небо... Стец протянул мне часы, я взглянул на них и ужаснулся: ведь они, эти темные и прозрачные, будто дверь, ведущая в никуда, как глаза, — будут всякий раз так спокойно, так мрачно взирать на меня, если я обращусь к ним за временем.

И я подумал тогда: нет, дело не в том, что на мою долю выпало освободить этого человека от боли в суставах и старческой немощи; не потому он так облегченно вздохнул. Блаженную улыбку освобождения приходилось мне видеть и на других лицах. За одно лишь мгновение до смерти так улыбались и молодые парни-афганцы, которых мы называли душманами. И я понял: эти люди сильнее! У них за душой есть нечто большее, а мы проиграли. Нет, не войну. Никакой там войны и в помине не было. Было черт знает что, а проиграли мы свою жизнь, потому как действительно после такого удара, какой я нанес старику, мне самому уже никогда не оправиться.

И нужно ли теперь понимать, что за сила двигала моею рукою, что за проклятье... Случилось именно так; моя иль не моя в том вина, надо платить за дела своей юности. Человек от животного отличается тем, что он должен раскаиваться; значит, в этом и есть мое счастье, в этом есть моя сила.

Вот, собственно, все; что еще можно добавить? Часы я потом продал в карты. Конягу с желтухой отправили в Союз. Несколько суток он валялся скрюченный под машиной: ничего не ел, кроме антибактериальных таблеток из своей индивидуальной аптечки, и пил кипяченую воду, но тут же выблевывал ее под скат — и присыпал песком, чтобы мух было меньше, а потом опять вползал под машину. На седьмой: только, кажется, день опустилась «вертушка», и на этом его мучения кончились. Стеца убили, а о ротном я и говорить не хочу.

Запасное, 1991.



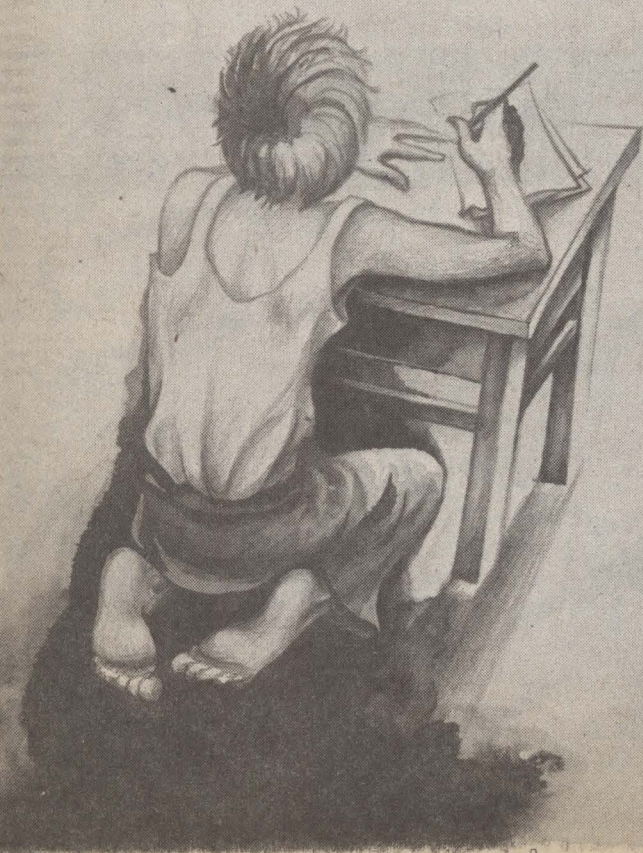


Владимир ХЛУМОВ
**СУХОЕ
ПИСЬМО**

(из «Книги Писем»)

Владимир Хлумов окончил физический факультет МГУ, где и преподает по сей день. А последние десять лет — еще и пишет прозу. Начиная с фантастических рассказов, продолжил «Книгой Писем». Для тех, кого заинтересует творчество молодого автора, сообщаем: в будущем году издательство «Московский рабочий» выпускает его повесть «Графоманы».

Рисунки Юрия Петелина



Прочтите, пожалуйста, и отдайте врагу народа Витольду Яковлевичу, для исправления.

«Сегодня вы прочтете мое письмо. С этого дня вы меня уже никогда не забудете, а значит, не забудете и ЕГО. Мне двенадцать лет. Сегодня умер ОН. Я не могу написать ЕГО имени, потому что горе станет нестерпимым и я сделаю это раньше, чем напишу письмо. А я должен написать, обязательно должен, чтобы вы не подумали что мой поступок — каприз мальчика-подростка. Да, эта мысль меня очень мучает и терзает. Я все думаю, как бы вы не решили, что я еще слишком мал и делаю это несознательно, от испуга, что ли. Не думайте, пожалуйста. Я давно повзрослел, я родился в начале войны, а военные дети быстро взрослеют изнутри. Мои папа и мама очень полюбили меня, потому что шла война, и мужчин стало не хватать. Нет, не о том. Я перескочил. Рано. Я хочу еще что-нибудь вам о причинах моего поступка сказать, мне все кажется, что вы мне не поверите, что у меня был сознательный план. Плохо, что мне мало лет. Плохо и хорошо. Хорошо, потому что вы меня никогда не забудете и, значит, не забудете и ЕГО.

Я родился в начале войны, а военные дети быстро взрослеют. Когда я родился, мама сильно обрадовалась, а папа счастливый ушел на фронт. Но я этого, конечно, не помню, а пишу так, чтобы вы могли понять, что я могу догадываться о чувствах других, даже взрослых людей. Это потому, что я много думал. Поэтому мне не надо все испытать самому, ведь и взрослые правильно судят о многом, чего не видели. Раньше я любил радио, а теперь я ненавижу радио. Мне теперь кажется, что тяжелый магнит вставлен ему внутрь для того, чтобы притягивать злые вести. Хорошо, что я не буду больше никогда слушать злые вести. А говорят, что скоро появится радио, в котором вместо тяжелого магнита будет специальная форточка, через которую будет видно человека, который передает последние известия. Вот здорово. Один мальчик, правда, сказал — я не буду называть его фамилию, пусть ему станет стыдно и он сам признается воспитательнице, — этот мальчик сказал, что такое радио с форточкой уже есть у некоторых людей. Конечно, вранье. Потому что ОН не допустил бы такой несправедливости — у одних уже было что-то, а у других еще не было. Я думаю, что ОН, если бы ЕМУ предложили иметь дома лично такое радио, конечно бы, от него отказался. Потому что это было бы несправедливо. Но, конечно, такое радио обязательно сделают, но счастья у вас полного не будет, потому что не будет ЕГО уже никогда. А я ЕГО видел живым! Но сначала я ЕГО не знал, не знал, что ОН такой.

Когда кончилась война, отец пришел с фронта и меня отправили в детский сад. Это время я помню. Помню, потому что мне стыдно за себя. Сейчас, прежде чем я заберусь на табуретку, я должен обязательно признаться в этом. Но не для того, чтобы очистить совесть. Моя совесть чиста! И я докажу это делом. Но я должен признаться, чтобы вы лучше поняли мою любовь к НЕМУ. Так вот, было время, мне стыдно за себя и горько, было время — я не любил ЕГО. И не только не любил, даже не уважал, и даже хуже, гораздо хуже, был момент, когда я ненавидел ЕГО! Вот. Вот и написал. Написал и стал сомневаться, искуплю ли я свою вину, даже если сделаю то, что задумал? Но нет, пусть не думают враги советской власти, что у меня возникли сомнения. А я знаю, сейчас, в эти страшные дни, могут поднять голову ЕГО враги, могут предать ЕГО светлое имя. Так узнайте обо мне, вздумайте, прежде чем

нападать и разрушать, есть ли у вас такой ребенок, есть у вас дети, способные совершить то же, что и я, ради ваших разрушительных идей? Да, был момент — я ненавидел ЕГО. Но ведь вы сами, Витольд Яковлевич, заявляли, что истинная любовь та, что родилась из ненависти, и что истинная вера приходит через неверие. Так что выходит, и с вашей точки зрения мое детское заблуждение ничего не опровергает.

Когда кончилась война, отец пришел с фронта, и у него на груди был орден. Отец часто садил (это слово было зачеркнуто и вставлено «сажал», но после снова восстановлено) меня на колени и орденom колол мою щеку. Но я не жаловался, не чувствовал боли, мне, наоборот, от боли было хорошо и тепло на его коленях. И я радовался вместе с ним, что кончилась война, и что я есть у него, и что он есть у меня. Очень родители меня любили, но еще больше любили ЕГО. Например, принесут домой хлеба, сядут есть и обязательно скажут спасибо ЕМУ. Или купят мне обнову и обязательно ЕГО добрым словом помянут. И тут я, несмышленный, позавидовал ЕМУ и стал плохие мысли о НИМ думать. Мне вдруг горько стало, что родители любят больше меня какого-то чужого человека, и вспоминают ЕГО постоянно, и хвалят ЕГО, хотя ОН совсем никакая нам не родня и никогда даже дома у нас не побывал. Теперь я знаю, что это называется ревностью — проклятый пережиток, злобное пятно, не выведенное гражданской войной. Но нехорошие мои чувства вскоре прекратились, потому что не было для них условий.

Кончилась война, и я поступил в детсад. А в детсаде нянечки ласковые, добрые, детишек любят, но еще больше любят большого красивого дядю на портрете. Да так сильно любят, что с утра до вечера вместе с детишками песни благодарности про дяденьку поют. Конечно, мне теперь смешно вспомнить, как я остолбенел, когда понял, что дяденька на портрете и ОН — один и тот же человек. Как же я тогда обрадовался! Что же я, оболтус, завидую ЕМУ и злюсь на папу с мамой, если все люди любят ЕГО больше, чем себя. Вы, Витольд Яковлевич, когда нам про Достоевского рассказывали, несколько раз повторили: все могут любить одного человека, только если он Бог, а Бога нету. Зачем вы это сказали, Витольд Яковлевич? Нет, видно, не зря вы враг народа, вы думаете, что раз дважды два — четыре, то вы и правы?

Так узнаете же вы скоро, что хоть дважды два — четыре, а все-таки я сделаю это. И тут, я думаю, и произойдет ваше перевоспитание. И зачем вы специально Ленина без НЕГО употребляли? Ленин, он только задумал, а сделал ОН, слышите, Витольд Яковлевич! И директор нашего любимого детского дома то же говорил, когда я с ним советовался. Можете с ним поспорить потом. Только раньше, я думаю, вы и сами исправитесь и перевоспитаетесь, потому что правда одна. Слышите, одна! И поэтому я скоро встану на табуретку и прыгну с нее, чтобы всегда быть вместе с НИМ.

Когда кончилась война, наступил мир. Отец вернулся с войны живым и начал жить с моей мамой, а меня отдали в детский сад, потому что днем нужно было восстанавливать народное хозяйство. Радостная жизнь началась. А уж по праздникам и того лучше. Меня отец на руки берет и несет на площадь, где все люди ЕГО благодарят и любят, и там, на площади, меня ЕМУ показывает. Поднимает высоко над головой меня, выше знамен и бумажных цветов, а я от слез не могу разглядеть, где ОН там над Лениным стоит. Испугался я очень, думал, уже пройдем мимо, а я ЕГО не увижу, не сравню с портретом. Кричу отцу — отпусти. Он меня за руки держит, и я слез не могу вытереть, чтобы все увидеть. Вырвался я, вытер глаза и близко, близко ЕГО увидел. Даже испугался внача-

ле. ОН рукой махнул, будто узнал меня. Вспомнил я про те разговоры, что с ЕГО портретом вел, будто мы опять одни остались и всю ночь проговорили. Был такой случай. С работы никто за мной не пришел. Одна нянечка и я на весь детский сад. Долго нянечка ждала, все надеялась, что придет кто-нибудь, заберет меня, но никто не пришел, и она сказала, чтобы я ложился спать, а сама пошла домой. А я спать не пошел, а пошел в актовый зал к портрету и всю ночь рядом с НИМ просидел. Много о чем мы переговорили, но это уже наша тайна. И вот на параде ОН знак мне подаст, вижу, мол, тебя, малыш, узнал, мол, тебя. И я ЕМУ в ответ машу и кричу во все горло. А кричу потому, что страшно стало. Ведь если ОН меня из всех людей выделил, приметил, значит, думает, что любовь моя намного больше, чем у остальных, а я-то знаю, что другие не меньше моего любят и чтут ЕГО. Мне стыдно стало, что не оправдал я ЕГО догадки, что я ЕГО как бы обманываю и нечестно пользуюсь ЕГО вниманием. И решил я с того раза непременно любить ЕГО лучше других.

Кончилась война, и меня отдали в детский сад, чтобы я не мешал родителям поднимать от разрухи Родину. Мне было хорошо так жить, потому что каждый вечер родители забирали меня домой, а если они задерживались в учреждении, у меня был тайный разговор в актовом зале. Хорошо, что они иногда оставляли меня на ночь одного — я научился размышлять и самостоятельно любить ЕГО. Да, Витольд Яковлевич, ОН не Бог. Бог бессмертен, а ОН сегодня умер. Страшное это слово — скончался. Но я не боюсь смерти. Я могу написать это слово тысячу раз и все равно не изменю своего решения. Если бы я боялся умереть, я бы обходил это слово молчанием теперь, когда осталось мне немного времени жить. Когда мы с мальчишками курили незаметно папиросы, то при учителях боялись даже произнести слово «курить» или слово «папиросы». Это оттого, что мы боялись курить. Но однажды я поговорил с НИМ ночью, и ОН мне сказал, что нехорошо чего-нибудь бояться, и я ЕМУ дал клятву, что никогда не буду трусить, и бросил курить навсегда. Смерть вовсе не страшна, если ты уверен, что она поможет будущим людям. Нужно, чтобы все знали, чем ОН был для меня. Я уверен, и мне не страшно. А вы, Витольд Яковлевич, не были уверены, и потому испугались, когда вас обсудили на дирекции, и после вы перед линейкой праздничную речь произносили и часто ЕГО упоминали. Но я вам не поверил, потому что вы врать совсем не умеете, и у вас дергается нижняя губа и подбородок морщится, если вы говорите неправду. А ведь вам смерть не грозила, как людям на войне, вас был в крайнем случае перевоспитали физическим трудом. Но тайное рано или поздно становится явным. Вы любили нас запугивать этим выражением, а сами, наверное, его же и боялись. Зря вы меня жалели и уделяли больше внимания, чем другим. Я потом узнал, вы всем говорили: «Я хочу говорить с тобой как равный с равным».

Когда закончилась Великая Отечественная война, я окончил детский сад и поступил в школу. В школе лучше, чем в детском саду. В школе больше актовый зал и больше портрет. Я мог издалека ЕГО разглядывать, оставаясь после уроков и дожидаясь, когда за мной придет мама. А папа за мной не приходил, потому что он уехал в длительную командировку. Так мне говорила мама. Я был маленький и верил. Теперь бы я не поверил, потому что писем он нам не писал. Он нас бросил навсегда. Он разлюбил мою маму и однажды ночью уехал от нас на черной машине. Конечно, он разлюбил маму, раз не написал нам ни одного письма. Но тогда я еще не знал этого и часто

мечтал у портрета, как вернется из длительной командировки мой папа и снова будет садить меня на колени и колоть меня красным флагом на ордене, как будто только что вернулся с войны. Я был уверен, что он вернется живым и невредимым, потому что нет такой войны, которую мы не смогли бы выиграть, раз у нас есть ОН! Вот настоящая правда, Витольд Яковлевич. Вы говорили, что искусство служит правде, и читали свои жалостливые стихи. А в школе я учил другие стихи, настоящие, стихи о НЕМ. Эти стихи написали наши самые лучшие и самые честные поэты, и потому их напечатали в учебнике на первой странице. Я выучил эти стихи с первого раза и лучше всех прочел в классе. Даже наша учительница плакала и хвалила ЕГО. Спасибо им всем, и поэтам, и учителям, благодаря им я понял, что, если потребуется, нам не жалко отдать жизнь ради НЕГО. Только мама почему-то не плакала, когда я прочел стих. Видно, она так часто плакала по отцу, что слез на стихи у нее уже не хватало. И зачем она так много плакала о нем?

Когда кончилась в нашей стране война, папа уехал от нас на черной машине, а мы переехали на новую квартиру. Мне теперь стало веселее жить, потому что в нашей новой квартире, кроме меня, было еще трое мальчиков и две девочки. Только мама моя стала еще грустнее и все прислушивалась по ночам, если по коридору кто-то проходил. Бедная, она все ждала папу. Она его любила больше, чем меня, однажды уехала к нему в длительную командировку. Она говорила, что обязательно вернется вместе с папой, она просила, чтобы я их ждал и не искал себе новых папу и маму. И добрые дяди, которые помогли маме собраться в длительную командировку, успокоили меня и отвезли на легковушке в детский дом, который окончательно меня воспитал. У меня ничего не осталось от моего дома. Даже фотки нет ни одной. Мне сказали, бери, чего хочешь, и поехали. Я полез в чулан и достал старый дедовский ремень с железной бляхой. На этом ремне мой дед в гражданскую носил огромный маузер. Так я и остался с этим кожаным ремнем. Я не буду жаловаться, как мне было обидно, но для правды скажу, что я начал по ночам много плакать. И теперь стал, как мама, прислушиваться, не идет ли кто за мной. Но прошло три года, а она не вернулась, и я понял, что меня все обманули, все-все, кроме НЕГО. Только ОН все время был со мной, только ОН один не уезжал от меня надолго, только ОН один меня не предал, не променял. Во всех учебниках ОН был на первой странице, ведь ОН не только наш вождь, но и самый большой ученый. ОН глядел на меня, чуть прищурившись добрыми глазами, и будто говорил: «Ничего, малыш, держись, я с тобой». Спасибо нашим художникам за такие добрые картины. Я тоже люблю рисовать, когда (это слово было тщательно зачеркнуто) если бы вырос, я бы точно стал художником. Ничего, надо кончать письмо, а то скоро вечерняя поверка, и могут меня хватить. Сегодня, когда объявили по радио, что ОН умер, все заплакали. Заплакал директор, заплакали воспитатели, заплакали ученики, и вы наверняка, Витольд Яковлевич, заплакали, но я не плакал. Я знаю, что слезы ничего изменить не могут. Конечно, не могут. Уж если они мне не вернули маму, папу, то как же они могут вернуть ЕГО? Люди плачут, потому что им жалко себя. Они боятся жить без того, кто умер. Но я не буду жить, так зачем же мне плакать?

Да, Витольд Яковлевич, теперь уж вы поймете, кем ОН был для нас. Теперь — это когда узнаете обо мне. Сейчас я допишу письмо и заберусь на табуретку, и прыгну с нее навсегда. Мне радостно оттого, что не зря я прожил свою жизнь. Я умру за НЕГО, а значит, за наше великое дело. Эх, Витольд Яковлевич, вы утверждали, что нельзя замучивать даже маленького

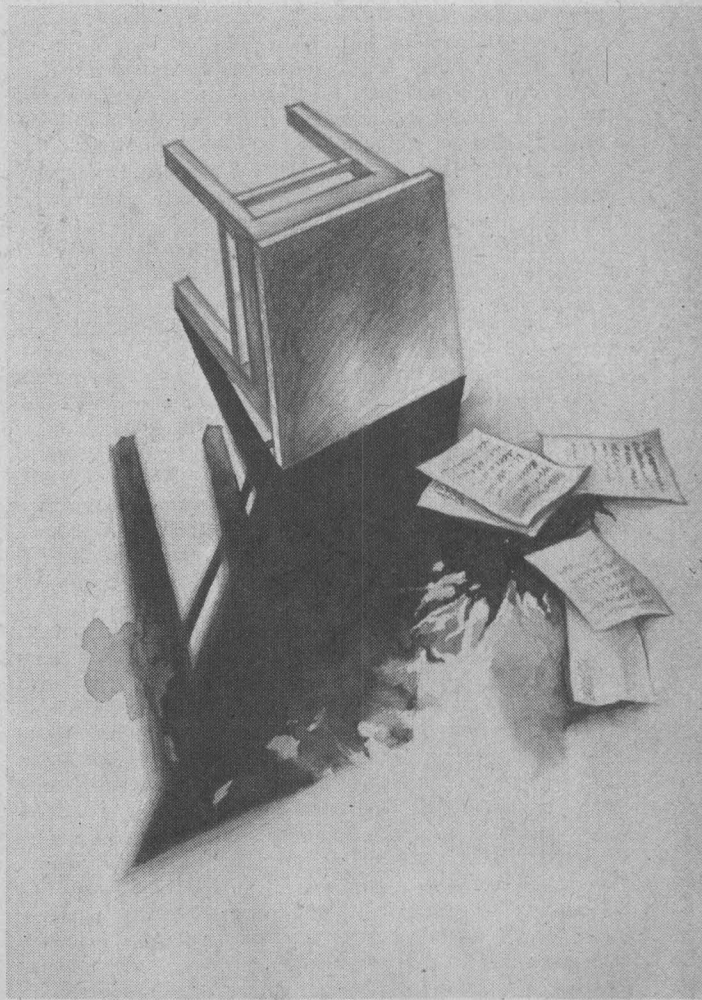
ребенка ради счастливой жизни. Вы хотели этим очернить наше дело, очернить ЕГО. Вы намекали на невинных кулацких и барских детишек. Ну, а разве несправедливым может быть дело, если ради него один мальчик сознательно, нарочно умирает, а? Хорошо, что я не обменял дедовский ремень на финку. С финкой самому не справиться.

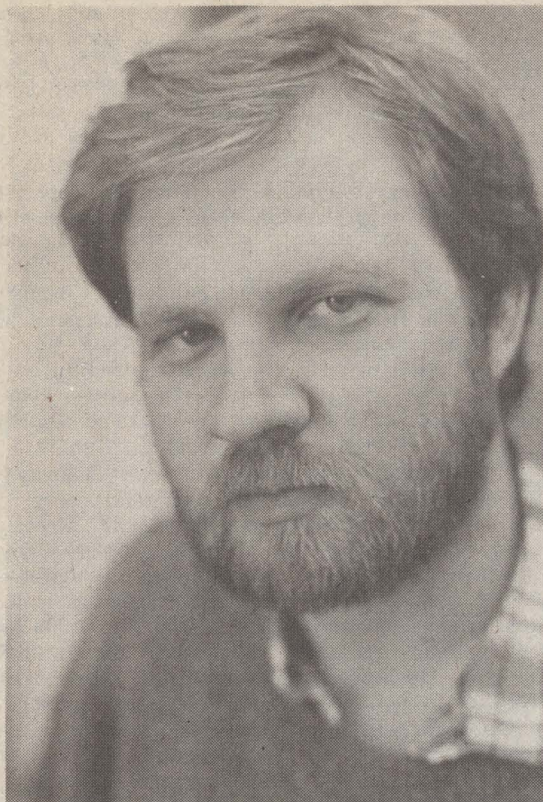
Ну вот, самое трудное сделал. Прочтите мое письмо и отдайте потом Витольду Яковлевичу. Я умираю навсегда. Я знаю, вам станет жалко меня. Но не надо жалеть меня, потому что я самый счастливый на свете человек. Я умираю за НЕГО и вместе с НИМ».

Когда мы его сняли, я нашла это письмо и незаметно спрятала в карман. Потом я много раз перечитывала эти строки, написанные ровным детским почерком. Он очень старался, чтобы все было понятно. Только две фиолетовые кляксы, вот и вся небрежность. Нескольких размытых пятен — следы моих слез, а вначале письмо было совсем сухое...

Чем дальше в прошлое уходит тот день, тем тяжелее давит на меня письмо моего ученика. Когда я узнала, что Витольда Яковлевича давно уже нет, он скончался в лагере под Пермью в 1952 году, я хотела сжечь письмо. Но не смогла. А когда я узнала, что его родители тоже погибли, я решила, что письмо его должны прочесть все.

1987 г.





Николай ЯКИМЧУК

ПРОГУЛКИ С ЛЯО-САНОМ, или СТРАДАНИЯ БЕЛОНОЩНЫЕ

(Повесть-коллаж)

Проза Николая Якимчука — это тонкая лирика, поэтическое видение мира. Теперь он наш постоянный автор.

Жизнь моя зашла в тупик. Я не хочу общаться с людьми, видеть их. На мне тьма общественных игр — надо «делать» лицо, выходить к человеку. Из пещеры я говорю громко всем: будьте любезны! Сонно скрипят дверцы шкапа, пахнет ванилью и свежесваренной картошкой. Конец XX века. Из любого окошка потягивает истошно ревушим роком. Как-то, гуляя, слышу хор: поют в бывшем здании классической мужской гимназии. Трехрядка и ловкие частушки. Абсурд! Почему в ампирном здании? Уже норма — вот что страшно.

И вот моя любимая, моя верная женщина (так мнилось в снах) покидает меня. Буднично улетает через форточку. Я еще этого не понимаю, я улыбаюсь дурацким деревянным лицом. Я радуюсь кусту пронзительно-белого шиповника. Я чувствую жизнь, когда приближаюсь к лепесткам. И в эти же секунды я ощущаю, что умру когда-то. Но мне еще не страшно, поскольку меня любят, я люблю. Хрустящий глоток хрустального воздуха: перед смертью — ведь меня спасет моя возлюбленная! А ее уже нет — пока я философствовал — она отправилась к новому. Там опытные гуру. У них опыт говорения, заклинания, шаманства пустоты. У меня — деликатного молчания глубинной веры: я — трава, я — вереск. И когда, очнувшись, я смотрю вверх на пыльное солнце, то яснее ощущаю — одинок, как кактус. Разве — и впрямь — кактусы болтливы, разве они — даже все вместе — коллектив? Но и «кактус» — это слишком красиво. Просто: набираю номер твоего телефона, Ирена, все набираю, верчу искалеченный черный диск, миллионы лет накручиваю это ускользящее уже сочетание — три часа ночи, ночь белая, а тебя нет дома, Господи, все, кончился: могу ли думать, есть, пить, писать авторучкой кардиограмму своего сердца? Ни черта! Пустая книга. Скоротись отчаяния.

Но все по порядку, господа. Порядок — превыше всего в Санкт-Петербурге.

Вот войти в эту повесть — как пловец неспешно входит в ябкую воду. Ведь сначала он не плывет — он смотрит в морскую бездну, на купающихся женщин. Ляо-сан, настоятель монастыря в горах Кунду, когда-то сказал мне: красота несуетна, поэтому минуй женщин на путях своих. И вокруг старинной ограды монастыря повсюду цвел белый шиповник. Мы наслаждались нашей неспешной беседой, тек ток разговора. Я возразил тогда — помню — но ведь без женщины не устроить дома, не продлить рода. Ляо-сан усмехнулся: что ж, построй дом, продли род, а потом все равно минуй женщину на путях своих, ибо надо осмыслить пережитое вот здесь, в монастыре, в горах Кунду.

...Теперь же среди белой магниевой ночи иду один. Тщета перебегает мне дорогу. Ирены нет рядом — она отдается медитации со своим гуру, днем — швейцаром национального банка. Мы устали друг от друга, но мы еще соединены друг с другом. Еще есть всплеск зеленых ионьских дней.

Санкт-Петербург — город фарцовщиков, увь: от политики, от искусства, от валюты. Этот город не принадлежит пяти миллионам советских людей, обитающих здесь, это ворованный город, это, собственно, уже руины, отторгнутые у мертвецов.

...Я люблю эту женщину — помилуй Бог!

*Фото Юрия Садовникова
Рисунки Константина Седова*

И от этого серебристого чувства ничто не может меня отвлечь: ни политика, ни жизнь, ни смерть, ни неожиданный Ляо-сан, ни тлеющий полуразрушенный город, ни экстрасенсы, ни... Любовь нынче для белого общества скучна, старомодна, непопулярна. Вы за кого голосуете? Не знаю, не пытайте.

Накручиваю диск телефона. Что надо мне от тебя: плоть, дух, свет, стон? Нет, нет — тот накат, тот мучительный выплеск бессмертия! Вот что! Это просто я хитрю (а то ли слово?) — просто хочу быть бессмертным.

Мы спустились с Ляо-саном вниз, к озеру. Чаша красноватой воды играла в тускнеющих лучах заката. «Скоро появятся бессмертные боги, — спокойно произнес настоятель. — Ты можешь задать им вопросы. Ответом на которые будет вся твоя жизнь».

И вот исчезают последние пестрые мозаичные краски дня. В сумерках светится одно озеро. Темнота густеет и когтится. Сначала мы слышим долгий тихий свист, шлепанье чьих-то босых ног, невнятное бормотанье. Звуки идут со дна озера. Изредка они перемежаются с пронзительным вскриком ночной птицы. «Смотри внимательно», — говорит Ляо-сан. И я начинаю видеть то, что давно исчезло из моей скомканной, торопливой жизни. Вижу себя маленьким в густом яблоневом саду, узнаю нашу ясеневую усадьбу с белыми простыми колоннами на фасаде. Маленький человечек с сачком — это я. Я бегаю по саду и ловлю яблоки. Взрослые, вышедшие в сад пить вечерний чай, смеются, их отпустили тревоги труда и дня. И я с ними, мы — все — вместе. Человек не одинок только в самом раннем детстве, справедливо говорит Ляо-сан. Я покидаю свое тело, а в моих руках сачок. Как естественно двигался я тогда в мире, где зло и добро были уравновешены в моих слабых ручонках.

И Ляо-сан уплывает; узкой тропинкой иду белой ночью среди лопухов. Был в гостях у колдуний — две теплокровные, разные. Жарили утку на углях — их хижина наполнена запахами. Хельга и Роза — они болтали на непонятном языке, мягкое мясо птицы, густое красное вино. Нордические пейзажи. Как я был увлечен ими: порочными, сочногубыми. Из их губ горячих пил вино! Но чем больше пил их губы, тем более отдалялся от них, тем неизбежнее и быстрее приближался к моей вечной любви — Ирене. О! — где она? Поскольку яхта, ее призывавшая, уже на высоких волнах в море. Капитаном — гуру. Я не умею — в отличие от них — говорить силлогизмы. Я молчу — полетно. Я — кактус, обмотанный колючей проволокой. (Масло масляное?) Я все шел по тропинке, все возвращался, трогая землю босыми ступнями. Все кружил! Хотел домой поскорее — где свет ветхий — лампы. Где ангелы кружат над нею — домашний запах, последнее, что осталось человеку в конце XX, когда все порушено. Лампа настольная не предаст, не выдаст. Тишина, три часа ночи, уже голубеет белая ночь, уже к утру вытягивается. Скоро мне идти на двор в белых джинсах и белых кроссовках (я их подобрал в номере гостиницы в Мюнхене) — крутить щербатый диск телефонный. Я знаю: тебя нет в доме — ты ведь на яхте с белокочаным гуру, но мне необходимо это действие, хотя бы его имитация: мне мнится, что не расстанусь с тобой. Но это мираж, пустой звук, глухая провинция. А в реальности — что возвращаюсь, блуждая среди высоких лопухов, от колдуний. Хельга и Роза. Иду по тропинке, вновь выбредаю к ее началу. Повторяемость местности не утомляет: иду снова, как пер-

вые. Когда ты достигнешь состояния «иду снова, как впервые», говорит Ляо-сан, тогда и научишься видеть реалии не вечного мира.

— Но любовь бессмертна! — кричит Вертер и стреляется. Он уже, как известно, дописан.

На золотистых полках, тяжелых, зеленая пыль корешков. Папирусы смешались. Смешная вечность!

Пределы, поставленные женщиной. Сфера молочная, белая. Ночь капает минутами, как слезами. Говорил по телефону со многими. Ева, Анна, Брунгильда. Иду, скрипят тополя под матовым небом. А Ивана Купала не с кем праздновать. Женщины купальские откупались, а от меня откупилась. Где же Ирена — с кем делит свой дом без меня?

У Ляо-сана я спросил: всегда ли я буду видеть картины жизни, всегда ли — приходя к озеру? Существуют ли они помимо моего сознания? Может ли их увидеть еще кто-нибудь, Ляо-сан, например? Будет ли мне позволено еще несчетное число раз ловить сачком яблоки? Ляо-сан не торопился выдавать ответ. Мы стояли на северной монастырской башне. На горизонте лепились всадники Тхе-ю. Их было числом до пятисот. Предстояло их не разбить, нет, а озадачить. Только так побеждал Ляо-сан — умело прочерченным в пространстве парадоксом. Итак, монахи вышли подземной галереей в тыл всадникам Тхе-ю. Полночь темнела до красноты. Тридцать семь монахов, каждый говорит на своем языке, личность. Дозоры всадников докучливы, цикады верещат, от влажной земли пот. Душно, души небрежничают, только слух рысий. Монахи образуют особую фигуру — «дун» — таким образом рассаживаются и по команде Ляо-сана начинают стучать в ладоши. Звуки неожиданные, ранящие, странные. А значит, и страшные. Всадники Тхе-ю в ночи просыпаются — полумертвые от страха уже, кони ржут, гремят стремяна, путаются головы и ноги. И — убегают, принимая за Знак. Осада монастыря снята.

А кто снимет осаду с моих чувств? Если я люблю Ирину, то я не один. Но если она не одна, а с другим. И другой — это не любовник вовсе, а гуру — зеленоперый попугай. Повторяет мыльные истины, выдавая за таинство. Таинств же нет, есть ток жизни, есть ее слова, есть наши передвижения по круглой земле, где и трава иногда радуется. Она за мной пришла, изумрудная: хватает за ноги, говорит, дышит. А?

Любовь тел ласкова, так тихо-тихо, никто и не уследил в мире — как встретились. А теперь соотносима: все выясняем что-то, а в перерывах кормежка. Она стоит у плиты, потому что вернулась от гуру, крошит в картошку зеленые перья чеснока. Я честно стою рядом и пытаюсь понять — и не понимаю ничего в наших отношениях, а лишь унохиваю запахи. Черешня нынче ярка и красна необыкновенно, а как крупна — по 10 рэ за штуку. Так и наши с тобой отношения вздорожали, Ирена, а мы все этого осознать не можем.

Я как-то пожаловался Ляо-сану, что слишком долго входил в эту повесть. Лет тебе 29, готовился ты ее пахать три месяца, а исписал к сему числу одну седьмую часть. А сколько ты входил в свою первую любовь? — Ляо-сан точен безотрывно. Ведь ты не знал тогда, что это — любовь, продолжает Ляо-сан, ты тонкую девушку на морском желтом песке увидел, толком не вызнав, кинулся. Слов этих не ведал: пер-

вая, любовь. В небе синева горела, пахло полынью, мы шли на базар — мед пробовать и покупать, ты окунала ладони в прозрачное клейкое варево, я слизывал с ладоней твоих мед, шершавым языком дотрагиваясь до линий судьбы и жизни. И это — первая? Гнет определений. Ласка непознанного. Первая, медовая, где ты — ау? Сквозь белую ночь можно до утра кричать, пока голос не сорвешь. А Ирена спит, ей снится Ляо-сан: накидка пурпурная спадает с плеч, волос вороной, глаза просторные. Вернись к мужу, молвит Ляо-сан уверенно, хотя и нет в женщине счастья. Ляо-сан нарочно говорит банальные вещи. Но прилипают они восхитительно, как листы банные.

Санкт-петербургские белые ночи! Конечно, сижу, читаю, без лампы. Белый шиповник вместо луны светит. Воздух лепится запахами. Пострадать в такую пору дрожащую — бутылка радости. Слава, что боги даровали мне в спутники Ляо-сана. Это скрашивает мои страдания, хоть немного придает им смысла. Тщета гнется, разламывается, а из — выглядывает знакомое лицо настоящего.

Четыре часа утра, рассвело. Без луны. 23 июня, фырчат автобусы. Жизнь вывести из тупика, как автобус — в дозаправку. Водитель сонный, в бакенбардах. Я сплю. Подъезжает к дому, стучит. Выхожу на крыльцо удивляться: кто в такую рань?

— Почему повесть не пишешь?

Мне нечего ему ответить. Или потому, что не влюблен. Просто люблю — не пишется оттого. Кардиограмму духовной жизни спрятал в шкаф, там молящая ее гложет.

Царское Слово божественно плывет по июню. Я сплю в сенях деревянного дома, а повсюду выборы генсека. Кто это? Полюбить женщину, как воздух белонощный. Страдания мои — кто вас приголубит? Хочется спать, зубы чистить, петь, дом строить. Любовь бессмертна на рассвете, говорит Ляо-сан и садится у изголовья моей подушки. Мы спим с Иреной, жарко обнявшись. Она не пошла сегодня к гуру, мы вдвоем. А гуру пьян и мнителен: звезда альфа не достигла намеченных рубежей в голубой вселенной. Что мне — люблю свою вишенку, только и всего, более ничего не умею. А вы?

Пятилетка — день тяжелый. Шутка. До рассвета я писал тяжелые слова. Мне очень трудно писать в пустоту. Кто прочтет, тот станет мною. А это тяжело. Хотя у меня и есть Ляо-сан. Мне надо и далее писать эту повесть — зубами вытягивать. У всех отговорки: воюем за Демократическую Россию. А мне и это сказать некому; себе же я давно не вру. Одиночество мое холодное, как фляжка зеленого стекла в заднем кармане джинсов. В ней — коньяк. Не отхлебнув, не могу разговаривать с людьми. Язык не ведет. Любить же надобно молча. И молчу я, трезвый. Ночь за окном кончается. Постель расстелена, смята. Как будто утро и я уже встал на работу. Вот куда я должен лечь сегодня поутру. Без Ирены. Ляо-сан на Альдебаране. С ним великан Дяо. Веселая компания.

Шиповник цветом все сорит, печальный кот по дому бродит. Июнь балладу сотворит. Любимая, я жду тебя, как Бога. Вся жизнь моя в лесах 1) где я плутаю, 2) где я себя пытаюсь реставрировать.

Повесть моя талантлива, как руины Санкт-Петербурга.

На станции Ямбург
продает черешню
Игорь Северянин.

К озеру опять вечернему выхожу. Шелестение голов, вздохи. Выйдут боги и покажут. Ляо-сан сегодня торжественный, нарядный, в белом хитоне. У него «дата» — 94 года и 5 месяцев. Это по земному летоисчислению. На самом деле ему 2793 года, но это по другим календарям. Мне не понять, не исчислить. Вода сегодня в озере теплая, парная. Белесая. Цветут лилии. Их много, как будто луны плавают. Ляо-сан: злой дух Лосцы не хочет, чтобы боги говорили с нами. И действительно, поднимается ветер, пригибает молодой бамбук к земле. Кто-то тяжело глядит нам в спину. Хочется убежать — страшно. Не оглядывайся, говорит Ляо-сан. Возьми меня за плечо, говорит Ляо-сан. Идем, говорит Ляо-сан. Озеро совсем близко плещется, ступаем в воду теплую. Вокруг наших голов образуется защитная сфера — как в скафандрах! Вдруг вижу! Неужели?

Эст-Тойла в еловых лесах!

Жизнь проходит, как облако. Посмотришь — вот оно. Посмотришь — нет его. Посмотришь — и рукой подать. Не подать. А если падать в облако, когда закат коснеет, твердеет? Чуть розоватый — в час ночи, белонощный. Ночью ходить я один боюсь, поскольку тени смущают. Иду по Царскому Селу (руины), со мной тени лейб-гвардии гусар, тут их полки стояли, в Софии (район Царского Села). Кавалеры, камергеры. Иду с гусарами, грустными и тихими, как луны. Открытие: в белые ночи луну не встретишь, а жаль.

Жив блеск глаз: ищу встреч. Ругаюсь, как ломовой извозчик.

Что Северянин! Что Ямбург! Что черешня!

Иду в раскаленной пустыне, по Невскому. Что мы видим 21 июня 1990 года, конкретная цифра. Потные толпы в цветочно-синтетическом ажиотаже дележа: с покупками коробок. Автоматы телефонные с выбитыми стеклами, с обрезанными трубками. Раньше обрезали плоть человека. Потом вырезали образа из храмов. Теперь обрезают голос человеческий — режут провода телефонных трубок. Вандалы — пишут в газетах об этих. А кто они? Юная сволочь, считающая, что можно жить так и эдак. Ведь норм нет. Норма только на водку, на воду, на хлеб, на чай, на мыло. На Любовь. На вдохновение (впрочем, и оно уже не продается — не товар...). Хотели ли того В. И. Л., Ф. Э. Д., Л. Д. Т., Н. И. Б.?

Почему эмигрировал Северянин? Я справлялся. Неужели только, чтобы продавать черешню вдали от большевиков на станции Ямбург по 5 крон за кг? Но ведь он поэт! А поэт — поет. Эст-Тойла в еловых лесах. Я приехал в деревню Тойла, спал там счастливо. Со мною Ирена была — жили в библиотеке, на эстонском диване. Какое нежное единение нас вязало! Обрывы, дворец (фундамент) Елисеевых, Игоря Северянина дом, эстонская жена его. Называли мужнины местные его — дачник. Не любили. Поскольку любили женщины. Это естественно. С удочками уходил на охоту: таскать струящуюся форель. Там же и женщины в шалашах. Две девочки вспоминают: зимой катались на коньках по замерзшему заливу. Пьяный, уже с опадающими волосами, но еще и с кудрями независимыми — Северянин. В распахнутой, старинной бобровой шубе, без шапки — в мороз. Пойдемте, девочки,

в Петербург (год 1931-й был. — Прим. авт.), по льду, хоть одним глазком посмотреть. Пойдемте, сначала до Кронштадта, а там уж!..

Ананасы в шампанском!

Для нынешнего Петербурга это экзотика. А для тогдашнего — естественное устройство жизни. Для теперешнего же — обрезают телефонные трубки у автоматов. Говорят, у одного подонка дома 1087 трубок, коллекция, рекордсмен. Они охотятся за трубками, как за скальпами. Не вандализм. «Войну и мир» Толстого на самокрутки, а в них «травка». Завернут «балдеж» в Наташу Ростову, в ее бал первый, в Андрея Болконского. Потом идут на дело — пока трубки резать. Новая идеология. Как объяснить им их? Написав эту повесть? Обратившись за советом к Ляо-сану? Но он с этими вступить в контакт не может, поскольку параллельные миры, как известно, не пересекаются.

И вступили мы с Ляо-саном в воды. И увидел я многих. Тут все они получили блаженство. Вот Гийом Аполлинер, в пробковом тропическом шлеме, звездная его голова перевязана грязным бинтом. Он сквозит, он меняет свою субстанцию, вот он превращается... (из него выходит)... однорукий Блэз Сандрар, в шляпе широкополой — русский швейцарец. Пока люди читают, говорит Сандрар, пока, иногда. И улыбается. Значит, смысл не потерян, шепчет мне на ухо, торжественно, Ляо-сан. Передо мной проходят калейдоскопом: Ирена, ее извращенец-гуру, мои нереализованные чувства (я их ВИЖУ!), Северянин, обрезанные телефонные трубки, руины Петрополя, альманах с таким же названием, Сандрар, Аполлинер, их убитые стихи. И все это накрывает пронзительная белая ночь, ее полог прохладный, отечественная кисея. Мы идем дальше — пока смысл мерцает.

Из компетентных китайских источников: древнее пожелание зла врагу — «чтоб тебе жить в годы великих перемен». А если эти перемены в душе и всегда, ежедневно, еженощно, тогда как же?

Не читаю модную прозу, но пишу талантливо. Пишу все ярче почему-то. Эта проза будет иметь успех большой у маленькой такой компании. Посчитаем.

И Сандрар загибает пальцы на неубитой руке и смеется. Он доволен: сегодня отстучал на «Ремингтоне» пять стихотворений. И вот читает их Гийому, новорожденные, читает свободно, словно цветет белым шиповником его рука. Гийом рюмочку шерри подносит к полным губам. Он слегка пьян, совсем кукольно. Два поэта, братство. Они свободны под этим благонощным белым куполом от женщин, долгов, обязательств, путешествий, похмелий, предательства, огорчений, отречений, etc и т. д. И мне бы — к ним, с ними. Еще не пора, говорит Ляо-сан. Я завидую их свободе — и хотя их стихи к женщинам, но они без тел их целительных. Их цель — растворить женщину в строке или превратить в стих женщину — мгновенно реализуется. Но не реализм. Романтизм — сплошное удовлетворение малейших изгибов души.

Ирена похожа на актрису Лив Ульман. И это обстоятельство странным образом заставило броситься, разрезая роскошное ночное лето, трезвонить. Сказать же было нечего вовсе. Нас разделяло тридцать миль.

Царское Село спало безмятежно. На том краю она была погружена в историю с таинственным Гурджиевым. Когда-то в молодости и Сталин принаравливался к нему, перенимал. И вот возвращаюсь определенно опустошенный после разговора. В почтовом ящике синий конверт — письмо от Лив Ульман. Я не распечатываю буквы. Пока.

Сию, читаю без ламбады, июнь 1990 года, всадники в черных капюшонах за окнами, затемненность сознания, упоение старыми книгами. Все — жизнь созерцательная. Но и практическая — загадочное письмо — первое. А что было до этого?

Четыре года назад Лив Ульман показали мою книгу стихов и прозы. По свидетельству ее друзей, поклонников, любовников, книга поразила ее. Она заказала все мои публикации в России, включая статьи о борьбе с алкоголизмом в заводских многотиражках. В местном литературном агентстве Норвида она получала переводы. И после жадно ловила любое мое слово, доносившееся из глухой России. Мое! Ее хобби — это я. Она все более погружалась не только в жизнь моих персонажей, но и в мои нескончаемые и запутанные обстоятельства. Она погружалась, и я ей благодарен — Лив. И вот ее первое письмо — она решила писать мне — всемирно известная актриса, бергмановская Ундина. Господи! — за что? Мне, мятущемуся в руинах Петрополя. Да я же похож на этот город, это мой автопортрет. Но есть Царское (Саарская Мыза) — я живу на мызе — я наполювину и мызский человек. Может быть, поэтому Лив Ульман так прикинула ко мне?

Игорь Васильевич Лотарев с длинным, как форель, лицом северянина, финна, вепса. Эст-Тойла, стареющие мухи на окне маленького рыбацкого домика. Жадное (руки дрожат) глотание писем, распечатанный конверт из Берлина на полу. Но не уезжает, потому что и там — НЕ НУЖЕН. А здесь все же необходимо — лесам еловым, озерам дальним, речке Пыхайыги.

Дождь, дождь, дождь заливает мои белые ночи. Влага и тусклый свет, белое окошко. Когда-то человечество было увлечено жизнью открытой, разнообразной, искренней. Теперь искры нежности мрут, как мотыльки, бабочки-поденки на закате. Это из письма Лив Ульман ко мне. Последнее мое достояние — ее ласковое письмо, любовное, хотя и ни слова... Любось к жизни.

Ирена живет в палаточном лагере буддистов в предгорьях Тибета. Я посылаю — час за часом — странные, страстные, многословные, многослойные телеграммы, горько жалуясь и слезы лью, оплакивая белые ночи (а точнее — свою молодость). Я хочу, чтобы она вернулась к скучному конторскому человеку, тоскующему по всемирной, всемерной гармонии. Человеку издерганному. Человеку, лениво, с усилием заполняющему тетрадь. Это называется НОВОЙ прозой... Дождь, дождь... Он утишит наши чувства... Вот еще страничка, глоток дня и ночи — искренности немыслимой.

Говорил Ляо-сан мне, когда мы склонились вниз, с облака на землю смотрели. Говорил: желтое небо лжи уходит — взгляни. Голубое небо правды сейчас грянет. А мы не готовы. Вся история — войны и смерть. Искусство — зонтик, но он дыряв и обшарпан. Чуть только прикрыться от круговорота бессмы-

ленности. То искусство ставят на пьедестал, то сбрасывают, разбивают. Жизнь в искусстве подобна жизни с женщиной — то губительный восторг, вершина, лазурное море, а потом падение в узкое ущелье, где летучие мыши и ржавая вода.

Я слушаю Ляо-сана, мои уши летают. Слышу истинные прописные, но когда все забыли о прописях, то они — бальзам целебный.

И все-таки продолжай, говорит мой друг Т., поэт, 4 в. до н. э., смуглый, с быстрыми руками, продолжай жить и каяться, пиши декамероны, чисти небо, объясняй женщин. У вас нет кипения, вы не в походах в пустынях, а в комнатах анемичных. Вы солидны, как купцы. Я знаю, что тебе сгодится — напиши повесть так, чтоб современникам оставить недоумение, но выкрикни толщу времен, по имени назови каждого, каждую. Прорвись, безымянный интуит.

А это — город пыльный гремит, что тамбурын. Холодное вино рассвета. Нищие спят под брандмауэрами.

Но дом — не город. Всю жизнь прожить в одном доме — не выезжая. Вообще. Даже в соседние дома не входя. Вот — талантливо! В доме все есть: книги, искусственное море, напитки, сад, служанки, друзья, возлюбленные, песни, маленькие горы, большие страсти. Дом — жизнь длинная. Полная автономия. Куда-то всё едут все. Приезжаем в Японию. Бегают, но ты-то в других ритмах. Не жуголов. Трагедия всемирно известного кинорежиссера моего друга Акиры Куросавы: денег на новую постановку не дают; лучше сосрут их с соевым соусом и мидиями; а всего в год в Японии три фильма произрастает. Выходит — свое — не интересуется. Отсюда — мое пристрастие к дому, где все — свое. Не в Америку же ехать — удивляться на механическое дикарство. Приезжают идиоты — журналисты оттуда: вот у них так! И надо мину соблудости: хоть и восхищаюсь, но ироничен. Ирония — как бы чувство собственного достоинства. Как бы. Опять подмена.

Игорь Северянин — шикарный жрец женщин, шипящее Аи, кубок радостного солнца, пьем искристое из женских губок. Ирена — поклонялась когда-то дням Игоря Васильевича. Влюбленная золотистоволосая девочка твердила: «мороженое из сирени», «ананасы в шампанском». И. В. был изыскан, шутил лилейно — зовите меня просто: Иосифом Виссарионовичем. С. Любил север — Северянин. В дожди тосковал, бродил в белесую морось по парку Елисеевых, был трезв, учтив, бросался к разговорам — если редкую знакомую барышню-эстонку выуживал в дороге.

— Позвольте стихи преподнести?

Читал.

Поэт. Рифмующий человек. Тихий сумасшедший.

Одиночество поэта, как 40 млн. лет назад, кстати.

Историческая Родина — дом, говорит Ляо-сан, обыкновенный, в белонощных зеркалах отразившийся. Трава в полутьме предзакатной жжется. Ирена телеграфирует: вылетаю из Катманду. Встречай.

Мы с Ляо-саном договорились: высылаем ей объемный импульс — дома нашего бревенчатого. Черные книжники с плато Тоо-хоне пытались импульс рассыпать, не вышло. Сами рассыпались на куски, как

пластинки льда от вибрации. Гуру плакал, зеленел лицом, лил валидол. Перед Иреной (в Гималаях!) день и полночи неотвязно громоздился наш дом. И она входила — вдыхала запахи закоулков. И вот она на аэродроме. Встречаю. Продирается сквозь розы к моим губам. Ее упругое тело — для меня. Первые слова ее — мне необходимо в Царском отыскать дом.

— Есть ли у тебя старинный план?

— Наш дом, Ирена?

— Дом князя Владимира, за прудом, возле парка Ориенталь...

Запахивается в белую крылатую куртку.

— Полетим по воздуху?

Я вытаскиваю крепкую корзину, синий сморщенный купол сейчас оживет — водорода в достатке. Разогреть! И — взлетаем: быстро зеленое пятно разрастается — травы июня по пояс. Сверяемся с планом, ага, плюхнуться надо сразу за прудом, вот он, дом-то! И мы вдоль дома красного кирпичика — вокруг мрачноватого, крытого черепицей. Выходит (крыльцо, две колонны) князь Владимир. Суровый; в бороде.

— Это вы курируете искусство, — Ирена выдается из гармонического пейзажа.

Князь молчалив, неспешен; раскрывает серебряный портсигар.

Воздух дома! Более ста лет не был в России князь! Шутка ли — целый век прожить на обочине мира — в Париже!

Если сердце возвысится и станет беспристрастным, если оно будет хранить покой, то все вокруг, все вещи будут видоизменяться сами собой, а нам лишь останется наблюдать их круговращение. То, что выпало из дома, вернется в дом. То, что исчезло на закате, появится на восходе, так говорил Ляо-сан, прогуливаясь по изумрудной траве в красной шапочке, в белом плаще. Горное озеро спало — белая ночь спадала — утро рассыпалось белым шиповником. Я брел с ним рядом, прислушиваясь. И постепенно мне начало мниться, что вскоре мои страдания прекратятся, а жизнь, зашедшая в тупик, расправится.

Ведь мы и летели так расправленно под голубым куполом с Иреной. Воздухоплавание, как и 10 лет назад, сблизило нас. Крепкая корзина мчалась легко, как сны детства.

Идем в дом деревянный. Чертеж нарисовал Павел Петрович Чистяков, художник. Дом построили — как хотел. В доме можно жить и теперь — не радиоактивный. Внизу — гостиная, рояль. Подавали приборы, обедали при свечах (в ноябре, в шесть вечера). Павел Петрович всю жизнь (до смерти) прожил в доме, который придумал сам: гениальная участь. Рисовал и в 1919 году, в белые ночи, а белые тогда наступали, а красные их громили. Но П. П. Чистяков все рисовал лица людей, пока не умер в 1919 году (рисую), в собственном доме, где так много льется света (окна, крыша — для свободного хода солнечных лучей).

Так трогательно забота о Павле Петровиче старушек, дам царскосельских. В жилище художника ныне никто не вхож (только мы — по воздуху, по запутанности наших с Иреной отношений). А эти царскоселки — подумайте только! — верны мужчине, умершему 70 лет назад. То же и с Северяниным: до сих пор в эстонских деревнях, на побережье (Эст-Тойла, Усть-Нарва) борьба противоборствующих партий женщин — с кем был, кого любил более, знаки внимания оказывал кому и как. Предмет спора тончайший и аргументы разительнейшие! И при этом И. Северянин умер в 1941 году. А страсти кипят, как национальные. Вывод: женщины более верны мертвецам. Холодный юмор, черный, но — правда. Так любить удобнее — не правда ли?



Город муз — Царское Село — хиреет. Вот вам история. В исторические времена (после Октября 17-го) привезли в Село представителей малых народностей. И расселили в покоях дворцовых — вот, живите, учитесь и т. д. Те жили. Но неудобно в покоях барочных, все скользит, блистает, пол спит, падает человек тундры, стенает. Придумали: среди парка, лип столетних, дубов, соорудить чумы. Так и поступили. Разводили костры, плясали вокруг. Были счастливы этим глубинно. Дворцы царям не нужны — это справедливо, но и нанайцам не нужны — это так.

Выезжать в город, где люди непамятны, но чужины. Захлопывать тетрадь, забывать Ляо-сана, Северянина, помнить об обеде, копошиться обиды. Но и в дождь — счастье. Играет медленный оркестр, несут на носилках смешного человека. Это — представление уличного театра.

Клоуны заглядывают в мои окна, их влажные колпаки, как колокольцы, зовут на торг, зовут на рынок. Я опустел, но Ляо-сан говорит, что пустота — признак мудрости. Ибо то, что можно наполнить, бессмертно. Эта фраза туманная вслед за туманом окутывает дом, сад, меня.

На станции Ямбург Игорь Северянин продает спелые вишни. Время движется необратимо.

Я пожал руку Артуру Рембо. Ладонь потрескавшаяся — линию судьбы не различить. Рука медно-красного цвета, маленькая. Если так можно сказать о руке мужчины. Странный процесс происходил когда-то: какие-то образы роились в его мозгу, ветер грыз потрепанную куртку, масляные и апельсиновые рожи служили оправой, пыльные башмаки, рваные — куда? с постоянством маятника перемещались — куда? И только руки — свободные крылья, поэтому к одному и пригодны: взять перо. Бессмысленное занятие, но Богу угодное. Поэт Т., 4 в. н. э., живущий в Риме, почти беспрерывно заполнял свой свиток. Страшно было оторваться и оглянуться. Однажды к нему пришла (дождь хлестал свирелейший) женщина в синих одеждах. Природы женской поэт Т. избегал, боялся. О занятиях поэтических Т. никто не знал из окрестных людей, все понимали его ремесленником — по ночам, отрывая куски от сна, выделял кожи. Пришла женщина, и это был обвал, ледник наползающий. У нее были юные ноги и печальные глаза любимшей женщины. Она поднесла прозрачные розовые ладони, возложила их на глаза Т., и он увидел себя в детстве. Т. увидел мальчика — горестного и одинокого, молчаливого, несшего бремя отделенности от сверстников. Бог предназначал Т. уже для другого. Но Т. не знал этого, и тился походить, и бывал убит своей отделенностью, несхожестью. Но ведь еще и о жребии своем высоко не помышлял (собственно, почему высоко? кто таким его назвал? — в мучениях и нелепых потугах). Итак, к Т. женщина в синих одеждах приходила в течение трех лет, начиная с 36-летнего возраста. Каждый раз молчаливо накладывала ладони на пульсирующие веки Т., и тот зрил! — о, как же чудесны были его видения! Детство, отрочество, не бывшее, все клубилось и принимало к поэту. Эти посещения были такими же тайными, как и занятия поэзией. И вот, спустя три года после первого визита, однажды в теплый дождь, незнакомка взяла его за руку, повела за собой. Они шли сквозь струи, но влага не впитывалась одеждой. Их платье было на удивление сухим. Они прошли мимо Колизея и отправились по дороге, ведущей за город. Как ни странно — по

пути они никого не встретили. Вошли в самшитовую рощу, на вершинах деревьев плясали огоньки. Было тихо, светло (ночью!) и безветренно. Вот свод пещеры. Т. шел как бы не удивляясь, как бы прочитывая свои будущие шаги. При этом он видел и себя, запертого в келье среди задубелых кож, заполняющего листы значками, поющими вечность. Видел и знал — и не удивлялся, поскольку мудрость открывалась ему во время бдений над строками: мудрость и мужество, обнимающие всю жизнь его. Вот теплая вода под ногами (вода ли? — ведь ногам не мокро), вот белые своды пещеры, и они вовлекаются (спускаясь?) в глубины немыслимые (уже не мысли, не образы, но полное знание и обладание всем). Смыкается белый огонь над головой. Молчание. Пустота (можно наполнить!), круги по воде.

— Странная история, — говорю я, обращаясь к Ляо-сану.

— А откуда она ведома тебе? — он точен.

Я пожимаю плечами.

— Это все приключилось с тобой, — Ляо-сан подводит итог странствий. Станный итог.

Когда мой образ полустертый среди травы... Она зеленая. Я под дождем, с белыми чашками флоксов. Пишу медленно, подбирая минуты. Событий — вагон. Руины града все более оскорбляют воображение. Город рассыпается на куски — уже под обломками стен и балконов погибло 27 человек. Сокуров мне говорит: энерговооруженность людей гуманитарной генерации неуклонно падает. Сокуров странный, выделенный Богом, чтобы спасти землян. Один из. И никого не интересует: жив ли он, снимает ли. Все молча жуют резину. А некоторые еще и тянут. Сегодня получил важные известия от Лив Ульман; белоночная жизнь еще больше ужимается. Карминный свет по глазам бьет. Умерла Лидия Яковлевна Гинзбург. Завтра ее похороны в Комарове. Как она всегда (и в 87, и в 88 лет) жадно прикипала к текущей жизни! Великая, объемная, гениальная старость! И сразу как будто скончался свет белых ночей — наступила осень. Без листьев и плодов.

День похорон, еще разговариваю, сыплется хвоя. «опять под сосны в Комарово», как стремительно уходят люди — как свет поворотом выключателя.

Комары летают, но как-то агрессивно, хотя и не Комарово уже, свет насыщенный. Териоки, торкнулся я в них, залив, комары прокусывают носки фабрики «Красный пролетарий» насквозь, а на вертолете целый век все летает над линзой воды командир финляндской национальной гвардии Карл Густав Маннергейм, все не может позабыть перипетии минувших боев. А тут у ларька история: пьем пиво, а гражданин Страны Советов в носках той же фабрики «Красный пролетарий»; земляки. Он убежден: все пролетарии — инопланетяне. Оттого так долго на земле держатся. Ага, говорю, интересно. А я и сам, признается сопивник, пролетарий. И сдувает белую пену, и она летит, становясь радужной.

Люди читают мои буквы. Женщины меня открывают — то злые, то добрые. А я все добираюсь к себе, а пока только дожил до траурной тьмы — августа, брата по судьбам. Что обнаруживается? Альманах «П» появился, но людям не нужен, они его не едят вместо укропа, лука; они катятся по линиям тлена (не жизни).



Большая повесть — большая жизнь. Маленькая повесть — никакой жизни, только повесть, где свет от лампы намекает, но не выводит. Некуда! Ну куда, куда, скажите на милость, приехала французская актриса Марина Ф.? Смотреть белые ночи! Но уже август. Обман. Плачет, слезы льет, а у меня уж и на это сил нет. Чиновники по особнякам чавкают. Зашел в один (гнули обстоятельства!) — еле оттуда унес дух и букву «Я». Чиновник густопсовый хотел «Я» расстрелять — из двустолки. Плачут мои глаза сухими слезами, жизнь вялая, в ожидании дней полновесных. Прощай, еще одна беспутная страничка. Пути же Хроноса неисповедимы. Полагаю (и Ляо-сан о том же речь ведет), что от литературы XX останется только это повествование. Но откроется это лишь в 2377 году. Когда мне об этом сказал Ляо-сан, я обрадовался главному: значит, будет цвести человечество в третьем тысячелетии!

Говорил Алексей Ф. Лосев: плана управления миром Божьим не знаем; это и есть судьба. А. Ф. Л. — последний, о нем фильм — засыпают землей могилу; кадры долго текут. А вот о Лидии Яковлевне так фильма и не сотворили. Прощальный мой визит к ней — традиционно — спускаюсь за почтой. А теперь куда ж спускаться?

Умер Лосев, костистый, мудрый, жесткий. Как жаль его детства, где он был слабым и гибким — чувствующим токи мира пронзительно. Но старость — скучное, скученное, когитное, обветшалое состояние. Привычка жить. Неужели все так бессмысленно, Ляо-сан?

История человечества — история смерти, умира-ния?

И все-таки утро. Хоть и страдания. Но от страдания спасает страда. Иди в поле, будь зрелым зеленым ливнем, тогда мысли о смерти уйдут, пронзительны, как чайки.

Или чайку, чайку, да с невестой, да на веранде, да с ежевикovým вареньем, да влюблен. Видит Бог — к этому обратиться. Не проходи мимо даров, сам будь Даром. Улиц рты перекошены, а ты жив, как канцона.

Я стою посредине Невского, за плечом сиятельнейший Ляо-сан. Он — невидим. Я открыт взорам — орам. Одна кричит, в темном, высока ростом, но в душе — карлица убогая: чтоб у тебя язык отсох. Легким мановением руки я возвращаю ей это желание. И вижу: как через 15 лет она превратится в желтый пожухлый лист. Ведь знание: слово во Зло пу-стивший от него и погибнет. Но стою я, чтобы обни-мать глазами ладных.

Я написал: жизнь моя зашла в тупик — разрешилось ли. Не знаю, ибо не пишется, ибо фразы ленятся.

Но действия, действия! — беспокоится Артюр Рембо. Но не анекдотом же прельщать встречноприсных. Итак, извольте: Ляо-сан дал мне повесть жизни. Дал в руки, как синицу, и сказал: лети. Возлюбленную свою, Ирену, обзари полетно.

— Двойное виски и марш «Прощание славянки», —

голос нобелиата различим официантами всего мира. Ирена путешествует по миру, а я в миру — мой день колетса головкой белого сахара, рафинада окаянного. Повсюду нынче стреляют, убивают нобелиатов. Как уберечь последнего? Три отчаянные головы: Артюр Рембо, Игорь Северянин, А. С. идут на выручку. Сад, особняк нобелиата, терн цветет, рыбки золотые от счастья плавают в голубом, но враги литературы хотят его изничтожить — последнего нобелиата, негра по происхождению Джимми К. В саду триста всадников, в копытах коней ядерные боеголовки. Что делать нам, поэтам, Артюру Рембо, Игорю Северянину и А. С.? Читать стихи: читаем, шаманим, стреляем в воздух гремучими строфами. И разбегаются убийцы! Поэзия опять торжествует!

Тетрадь без меня иссохла. И ночь уже чертит слова, потому что август. Белые ночи 1990 г. я уж утратил навсегда.

1991-й. Две единицы и две девятки. Фантастическое сочетание. И к моей жизни будто бы не имеет никакого отношения. Вот год 1961-й — мой, родной. И 1967-й. И еще, скажем, 1960-й и 1951-й. И 1950-й. Все мои годы, корнеродные. Повесть опубликую, читатели будут трудить глаза, а потом повесятся — ведь невмоготу! Что за бред печатают! Дожили! А выжившие (в том числе и из ума) будут слать гневные письма в журнал, протестантизм. Я уже к этой поре нобелиат. И еду в Стокгольм, а красные облака на закате так поют! Но что мне Нобелевская, меня Лив Ульман влечет. Уже монахиня. Я только издаю на нее посмотрю и брошу к дверям ее кельи горсть белого шиповника. Любимое лето!

О, это лето проходит, как ноль.

Как страдал я этим летом. И как полно я жил, и общался пристально с друзьями отменными: Рембо, Северянин, Сандра.

Ляо-сан — поводырь моего изнемогшего духа. Ношу нести еще по лезвию ножа.

Что примиряет с этой жизнью — свет дерев. Люби деревья! В других мирах их не будет.

Август, оптически-широкоформатные ночи, но я бы хотел вернуться по тропинке в спальню — в июнь. «Поэзия — ранит, философия — утешает» — так сказал мне поэт М. Или философ. Или Человек, не боящийся искаженного мира. Нынче проза должна развлечь — так она не дама. И она не джентльмен. Она — формула. Я пытаюсь ее отыскать. Сквозь формы формулы свободно течет время. Уж август наступил. Конеч, ликующий к сентябрю. А мне бы погрузиться в кипенный сладкий июнь. И вернуть это ощущение мерцающего розово-голубоватого света на лице спутницы, в полночь, под козырьком лета.

Говорил Собчак: «Друзья, давайте все умрем». Это он цитировал Беккета, но потом мне сказали, что слова эти принадлежат Б. Г. А Собчак не наш, питерский, а одесский. Хорошая фраза — в перепутанных именах — «Друзья, давайте все умрем!»

Так энергично сказано, вторит Ляо-сан. Давно он меня не посещал. И вот теперь отмечает вехой верной суету моей градской жизни в руинах «Петрополя».

— Комната у тебя пестра, как улей, не прибрана. — Ляо-сан печален по-осеннему. И то — наша дружба засыпает осенью. Мы, безмолвные, выходим в сад. Под кленом сидит поэт Евгений Рейн и напоминает: «Последний теплый месяц, тридцатое число. И я сижу

под кленом с восьмью часов утра. Как будто в этом клене вся честь моя и спесь».

И золото сыплется, как удача. Мы машем Евгению, желаем ему вдохновенных встреч и разлук. С любовью...

А тем временем дожди свирепеют, времена крошатся, стервенеют от политики ясноглазые.

Приезжает в Петербург князь Белосельский-Белозерский, потомок. Ртом непреклонным: даю 500 млрд. долларов, верните дворец, что на Невской першпективе. Задумываются власти нарождающиеся: валюта. Вообще сейчас каждое второе слово: валюта. Бедная Россия! (Это уже князь восклицает, седые его бакенбарды сенбернара никнут — ведь нет ему ответа, как и России, — КОНСЕНСУСА нет.)

Въезжаю в осень, первое число, визжат лисы, идут по лесу охотники, дудят в дудки. Холод небес не голубых. Не бес, но и не праведник. Кто ж ты? Советико-человетико? Челом муравейникам не бьешь. А сам нагой, как в дымке луна начала сентября. Еду в Комарово, там Мэтр. Просто человек — талантливый и много выпивший когда-то, но не выпавший из всех удовольствий — теперь в 53 года одного не лишился: хорошо сочинять книги, которые никто не публикует. Лес бликует: то голубой мельхиор мухомора мелькнет, то серая волнушка.

И я мелькну, и я мелькну, и я мелькну в этой жизни вспышкой сирой и мгновенной. Есть бытие мощное: живет, готова революции и резолюции. Есть вспышки: только близкие провожают гроб человекопесни в последний путь. И вот еду в Комарово, как песнь. Как выстрелы — сосны. Пока не умер, дышу в оконные стекла вместе со всеми, отрешен. Пока день еще жив разговорцем.

Холодно луне, она мерзнет, как слово. И там уже молчание, белое безмолвие.

Мир распадается. Но описывать его распад скучно. Но надо рассказать, как дело было. А вот так: пока я писал повесть дней, запершись, произошла некая жизнь на Средне-Русской равнине. Нет кельтов и эллинов нет, нет шумеров и ассирийцев. Но ведь и русских нет — никто в 17-м не спасся — ни те, ни эти. Советико-человетико. Какие же события? Извольте: я вышел, как обычно, из дома в безделье, после долгого труда. Давно не выбирался в город случайных встреч. Пустынные неоновые улицы. Стаи подростков. Совсем немного тех, кому за тридцать. И один старик. Разбитые, искореженные телефонные будки. Груды мусора на линиях асфальта. Стаи ворон. И непрерывный тонко поющий ветер, завывающий, как домовый. Я гулял, с небес сочилась влага, я волочил свою палку. Юнцы орал: да здравствует король рока Саддам Хусейн! Зловеще, зловеще тянулась моя прогулка, змеилась. Уже возвращаясь, недалеко от дома, обернулся на шум: стальными прутьями крушили молодцы большие башенные часы. Воротясь, я заварил чаю, пил неспешно: куда исчезла старость, куда делись старики? Нет мне ответа, и только сон, что-то припоминая, объясняет. Но снов не помню. И снова утро, загадочная земля.

И ношу эту тащить к глазам Тех, Кто Прочтет, устал. Объяснять и обнимать повесть дней. В этих строках — стронций. Тяжело. Тащить мешок с красками, чтоб писать уже осень.

Белую ночь легче — рисовать воздухом.

Устал, как отстал от поезда. А если б остался? Но и там контролеры. Сошел же с поезда Иг. Северянин.

На обочине стальных дней — продает черешню на станции Ямбург.

Эст-Тойла в еловых лесах!

Но не тупик, а сентябрь ясноспелый грядет. Музыка строк и шиповника ясная мягкость. Черную шляпу надвинув на брови, шагаю отважно. Если не смерть, то сметь, то кипящая радость, как солнце. Трудно шагаю — бессмертные липы и клены машут вослед, говорят: все еще приключится. Будет бутылка молока и хлеба крутая буханка, радость предпринимая, нежная женщина рядом. Снег за окном и собак долгий вымах по снегу — бедной пороши тонкое белое пенье. Но не тупик — осень пока, бабье лето. Ну а за ними — свежая музыка жизни, радость святая очарований пустынных.

Я подхожу к ней близко, заглядываю в глаза. И понимаю, что она — белоношная, июньская, девадрида. Была белым шиповником, боль сердца отбеливала. В сентябре прорвалась музыкой июньского парка.

Эст-Тойла в еловых лесах!

В том-то и дело, что еловый лес и осенью зеленый. Тем и хорош в холода — не линяет. Как за него держался Северянин, держался удочками за спинку радужной форели. Спасался мгlistым октябрем — сквозь еловые леса проступали одежды белоношные. Игорь Васильевич письма писал в белые ночи — наугад — кому? мертвецам? В Петрополь разоренный.

И всплыл Петрополь, как тритон. Но точнее:

И всплыл Петрополь, как притон. Писал письма: Санкт-Петербург, в Гороховую, в дом... Крупнокалиберные дворники вертели фиолетовые конверты в руках, обнюхивали — а те пахли рыбой и еловыми лесами, потом укладывали плотную бумагу в карман, потом листочки вызывающие набивали махрой. Это было не сумасшествие — послания Северянина в трудовой Петроград умершему Блоку, уехавшему Мережковскому, канувшему Сологубу — это попытка трезвая — продлить блистательный пир российской словесности.

Сухие дни щелкают, как стручки акаций. А вокруг — аква, дожди, акварель. В доме же сухо — трещит печка. Приходили послы в златошвейных одеждах, толстые, с тесаками по бокам. Просили на престол — государство XVIII в. до н. э. Комголия. У них умер тиран.

Я кланюсь: не из этих, у меня ласточки живые в руках — зерно клюют; не могу. Они: без тебя и Комголия не сахар, взойди на трон. Я им: у меня семь женщин — выясняю отношения, гnevаются, стенают — жаль оставить, охота посмотреть, что же дальше случится. Они: мы тебе гарем из 3577 штук, всех цветов, сортов и радуг. Я им: не могу дом покинуть, где сад осенний, а в нем — мои ожидания. Не могу покинуть себя, нежестокосерд. В доме один — бесконечный, живой, теплый. В Комголии — ВМЕСТЕ, неталантлив, спесив, тяжело озабочен. Концы же дней повсюду одинаковы. Земля вращается, солнце мелькает. Похоронные трубы, как свечи, под дождем. Да и потом не могу оставить Ляо-сана, у нас другая дорога. А там, под седьмым днем июня, под козырьком лета ждет моя Ирена. Медовый улей лета, свежие травы — пора выходить, наслаждаться.

И послы поняли и, подняв полы халатов, отправились к Е. К. Л. Я — им: будьте уверены, уж он-то вас уважит.

Писать, писать, впадать в отчаянье, страдать от призраков бесчестья — это хорошо, значит, путь во мглае указан правильный. Глубинно Бог указал.

Как я тоскую по Лив Ульман! И тоска у меня эстетическая. Вот опять от нее телеграмма. Приносит ее кричалщик (кричит текст через сад, поскольку в стране нет бумаги; мое ухо в форточке); телеграмма, швед-с... ое... короле... сво... Ли... Ульм... тоскую... летаю... ожидани... те... я... Мы тоскуем друг по другу. Мы — друзья. А ведь было сообщение: в возрасте 51 года Лив Ульман ушла в монастырь. Публиковалось это даже в органе обкома. Впрочем, для наших отношений это не имеет значения: пресса для нас незначительна. Как мы еще общаемся? Она прислала (с оказией, в Россию ехал Нобель) с полсотни своих акварелей. Долгими зимними (?) вечерами я с томительной тоской и любовью, как какой-нибудь неспешный житель средней Швеции, перебираю пейзажи, настроения, образы Л. У меня вагон времени (шведское время), он катится равномерно, элитарно. И я постепенно вдруг понимаю, что все более обживаю вот этот японский пейзаж Л. Я уже живу там! Этот человек в свитере — я. Свищет себе ламбаду — в ожидании Л. Руки в карманах, независимые карманы оттопырены (по 7 тыс. долларов в каждом). Ламбада — самая белонощная летом 1990 года. Я жду тебя, Л., под твоим небом, то густой синевы, то изумрудно-зеленым, то лимонным. Меняются цвета, как годы. А внизу — коричневые плоды, как камни. Дороги, которые нас выбирают. Мы живем в этих пейзажах согласно, и нежно, и гласно. Мы живем классически, как древнегреческие герои. И впрямь — преодолеем пространства, языки, системы воспитания, опыт, чтобы быть вместе. В пейзажах, которые выбрали нас.

Я все не прощаюсь с белой ночью, хотя уже глубокий сентябрь, уже старый сентябрь, уже исход. Уже день — минутомет — все чернее к октябрю. Руки женщин все суше. Мужики (рыбари и грибки) все озлобленней. В электропоезде семнадцать грибников мутузили друг друга кулаками, грибами, корзинками. На станции Шушары пришлось их обливать водой. После этого в вагоне обнаружилось 432 мухомора. При этом дерущиеся кричали: долой Ленсовет, депутатов к ответу!.. и били... друг друга. Грибы летали в закатных лучах.

Лес генеральский, в лампах. Люди тихие, как лампы. Люди и девушки. Девушки в золотых ульях без одежды. Их пчелы мохнаты. По озеру реактивные утки. Синь волн хлещет в глаза. На валунах иероглифы темного мира, не тайна. Волны качаются в закате, как спицы. Лив У. плывет к берегу, раздвигает камыши и осоку. Вот минута! — вдохновенно шепчу хлипкому пенсионеру с «Ведомостями» и удочками. Просыпается, розовоухий, рапортует: всегда готов! И смотрит на Л. Явный видеоклев (удочки пенсионер тут же сматывает, я остаюсь один). Остальные — пришлые, пришельцы.

Страсти Страны Советов. Сокращенно: с-с-с — воздух из баллона высвистывается. Нет упругой плоти, а только голоса колокольные: гдлян, гдлян! Губы кричат, резиновые, а за ребрами ряск утишенная, железобетон будущий.

С-с-с — на последнем дыхании, струя закатная. Все! Ставьте пластинку: траурного Шопена.

Ляо-сан говорит: совсем забыл наш монастырь, не появляешься. Но и ты, говорю, все реже сопровождаешь мои скитания.

— А зачем я тебе? Вот ты и не зовешь меня в повесть дней. — Ляо-сан точен, окуная серебряную, без изысков, ложку в янтарно-розовое варево. Мы — в трапезной монастыря.

— Ты научился испытывать мир без меня. — Ляо-сан смотрит в единственное оконце трапезной — там блещет город золотой над небом голубым. — Ты умеешь теперь из выморощенной реальности извлекать корни. Ты не одинок в этом перенаселенном стрекожущем мире. В любую минуту можешь обнять море, перекинуться фразой с Сандрамом, понять Северянина, исследовать луну, полюбить Л. У., будучи влюбленным в И., — наш монастырь тебя больше не питает. Прощай!

И вот во все стороны света разлетаются цвета: белого шиповника, пурпурного плаща Ляо-сана, голубого и золотого — уже еду один в поезде, как шейх, бежавший революционного эмирата, как кактус, еду, что-то далековато, да как сказать, временно, белый ковыль вдоль дорог, навсегда, где мы все будем счастливы — «когда-нибудь Бог даст».

Я свободен нынче от Ляо-сана, в голом пространстве, где сгущается тяжелый бред, тучи ходят ходунном, гроздя калины пылают. Выглядывает упырек (с прокатного стана), уши серые, фетровые, ловят радость мира. Вот и у моих друзей (чистоствольных) отловил, оставляя смерти, распады, разрывы. Упырек шустрый, холерического темперамента, в треухе и тулупе, ответственный работник, так сказать, департамента Бреда. Выглядывает, вынимает ржавую шпажонку, чтоб проткнуть мои белые листы. (Я свободен от Ляо-сана. Он, следовательно, не поможет уже разъяснить ситуацию.) Выхожу вперед на круг, снимаю белую рубашку, засучиваю рукава (как это?) и вступаю в единоборство. Мы едины в борьбе! На какие-то доли секунд схватки я становлюсь упырьком, а он влезает (в свою очередь) мне в селезенку. Но тут же я в нетерпении отшатываюсь от боков упырька, возвращаюсь в свой рост ума. Упырек ретируется, селезенка свободна, свобода целена, свободны мои цветы губ (губами приникал к Л., оттого и цветы), свободен мой выбор — без спутника тяжелее, но и пронзительнее: ты отныне отвечаешь за голубой эфир. Не за кого спрятаться, как опереться. Глотки пьянящие вытесняют сердце!

Вся Европа примеривает на себя буддийские одежды, поглощена Востоком. В Южной Корее модно креститься, принимать христианство. Девушки черноволосые, корицей пахнущие кореянки, во главе отрядов, спускающихся к Ын-Рюрскому водопаду. Там — купель светящаяся. Выбритое солнце, как усталые горы Европы, рассыпающиеся.

Зубы мои, зубы закаленные, как у непальского шерпа. Белых ночей в Санкт-Петербурге — фьюить... А где же оные? В Непале, говорят. Собираюсь: три тетради, перо базальтовое, непромокаемый свитер королевский (подарок первой и любимой жены Е.), очки полетные, кимоно (белое), альпийские башмаки, подаренные Ляо-саном. (Пока не изношу — память не выветрится.) В самолете, в салоне, летают стюардессы италийского происхождения. Но — немые, поскольку воспитаны чувства, приносят лишь минеральную воду — к одному стакану подают два-три книксена, с любовью. Тела их кремовы, специального зага-

ра. Это чтоб пред восхождением, перед смертью скоротечной — вдохновились. А смерть зацепит — держись! — зубами за воздух, а потом поминай (как звали-то?). Грустно.

Прибыл я в Катманду местного производства. Столица. Буддийские монахи — выбритые, как камни, медно-красные, бродят по улочкам: Деревянные, крашенные боги повсюду на крышах. Женщины в черном — не Европа! И чайную церемонию подают — опускаешься на корточки, в домик ныряешь. Там уже ожидают. Но это для Катманду экзотика — японки на самолетах летают с острова Хонсю. Имитация гейш XVI в. н. э. Но впечатляет. Только опять грустно — а когда ж белые ночи покажут?

Дождь все наматывает круги осени, вокруг — пуста каплющего сада, все идешь, а он капает — миллионы капель, это от богатства. Так же и я вручаю миллион букв стареющему читателю, старателю рынка; экономика должна быть экономной. Ну, эту фразу можно пропустить, не читать, или под горячий багровый борщ Ирены проглотить — заодно с мозговой косточкой, давай раскалывайся, да, что там дальше с Катманду.

Итак, собираем экспедицию: белизна снегов гималайских сродни июньским ночам Петрополиса? Вот куда повесть дней завела: Джомолунгму придется описывать. Через призму белых ночей и снегов, разумеется. Нас было пятеро — четверо шерпов с шерпавыми непальскими языками и я — усталый и подробный персонаж бессюжетных дней.

На высоте 5300 м мы разбили базовый лагерь. Поставили три апельсиновые палатки, уселись возле священного камня сунь-линь. Камень черный, в трещинах, линии складываются в прихотливый рисунок, картины минувшего и будущего теснят, окружают. Этот камень напрямую связан с центром Вселенной. Шерпы утверждают, что камень дает силы восходящим. Если ты на склоне, вниз — ничто тебе не поможет, но если ты восходишь, если ты на подъеме, если ты живешь вопреки, то поддержит сунь-линь. Знаковое, закрытое знание.

Восхождение продолжалось: я остался в одиночестве. Тело — усталой тетивой. Камни — слоистые снежные лица. Внизу крестиками обозначились мои спутники. Я восходил медленно — меня завораживал этот ритм. Вся жизнь я куда-то спешил: так город мне проповедовал. Новый город, но не Новгород, а Гневгород — «тишайший Гневгород, вампирный Петербург» — как сказал поэт В. Б. М. И вот иду, ритм гармонический, ибо ошибка — смерть. На высоте 6274 м я обнаружил за скалой, нависавшей гневно, две тропинки.

Это было невероятно! На такой высоте! Откуда? Снежные люди «йети» протоптали? Их искры глаз иногда тоскуют в гималайских ночах. Они заросшие, добрые, то видимые очам человека, то перетекающие в другое измерение. Йети — грустнословы, печально лающие на пружинистых альпинистов и близкие крупные звезды (по ночам). Уже смеркалось, когда я определил эти два пути. Одна дорожка шла как бы параллельно другой. Но через какое-то время выяснялось (кем?), что пути разные. В пепельном вечерющем воздухе вдруг явился яркий цвет: пурпурный плащ (и кто в нем) показался на верхней тропинке. Ляо-сан?

Быть может, в последний раз помогает выбрать? Или это мираж — красные знаки усталости...

Но где же тот знаменитый белый июнь и шиповник, его обрамляющий, — свет утекает из мира, как из ладоней твоих, Ирена. По тропинке — еще круче — вверх, тяжелое дыхание, липкое, но ведь выход в чистое поле света непрост. Неспроста. Камень сунь-линь да поможет восходящему. А на вершине белого света, где его так много, устоишь? Обмотанный темнотой отплывающих, оплывающих дней, ты жил в них, как все: угнетенно, суетно, тленно. Хватит ли сил встать в полный рост на вершине? Еще вершок, еще усилие...

Пламя белого света!

От судьбы не убежишь, милок, — старушка в простом платке у ворот палисадовых. Дорогая Марь-Петровна, все точно. На повороте (а в груди так хорошо — от ясного бега, от осуществленного текста) мордой влетает в меня шальное авто. Я вместе с чугунной литой оградой падаю в пруд. Лягушки изумрудные — врассыпную.

На белой простыне, под белым одеялом. И белый доктор смотрит на меня. (Вот и так можно войти в белый свет; и такой финал существует.) В руках у него тетрадь, моя немая тетрадь, рукопись.

— Писатель? — спрашивает доктор, пытаюсь записать меня в свои анналы.

— Беллетрист, — говорю внятно, без усилий.

— Мы ведь к рынку подходим, так сказать, а вот в вашей прозе об этом ни слова — нехорошо. — Доктор социалистическо-реалистический, как критик. — А вот персонажи — где вы таких отыскивали, беллетрист?

Доктор говорит резиновыми губами. Пусть говорит, пока жив. Пусть делает усилие. Хуже молчание. Отсутствие речи. Эта повесть написана РАДИ СЛОВ.

Как сказал греческий поэт А. (III в. до н. э.): ад — это место, где не разговаривают. А я вам дарю слова. Поздний рассвет за окном. Автомобили и лица привычны.

Выздоровление, как удача.

Моя жизнь зашла в тупик — это было, было среди белоночных сиреней. Когда сирены разрывали мне уши (душу), запутывали.

Теперь за окном октябрьский рассвет. Но и этого света хватит для жизни. Были бы СЛОВА. Рай — это место, где слова стоят плотно. Райская повесть, зовущая прожить до следующего лета.

Июнь — октябрь 1990 г.

ДУРАКОВИНЫ ГРИНИ КУСОЧКИНА

В тот вернисажный день в весенней Москве, когда у холстов Кусочкина только и слышалось: ах да ох, какое дарованье выискал Ямщиков на костромской пожарной каланче! — я так и не разгадал, кто он такой, этот Кусочкин? Представляясь Гриней, он давал понять — я мужик простецкий, и мы посидим еще с вами и попьем пивка хорошего, ярославского. Но был, однако, при бабочке, намекая, что готов и светскому рауту соответствовать, потянуть коктейль через соломинку... Говорил при этом, что, если зарубежные господа объявят и захотят потолковать насчет приобретения его работ, он задержаться в Москве не волен и уже взял билет на вечерний поезд.

Его убеждали задержаться на день, другой — такая выставка, такой успех! Но он втолковывал терпеливо, что Кострома — по-прежнему в первой десятке самых возгораемых городов России, и он ведает в городской пожарной части фотолабораторией и должен фиксировать для отчета, а также для органов следствия, как на сей раз был усмирен огонь и что он успел уничтожить. «Как много людей погибает у вас на пожарах?» — деловито поинтересовалась моя коллега из независимого издания с криминальным уклоном. «По городу и области ежегодно сгорает до семидесяти человек, — сообщил Кусочкин, — первым делом, конечно, пьяные мужички. Тетки горят реже».

Живописью, как выяснилось, он занялся лишь несколько лет назад. Жена подарила краски, и он решил изобразить на холсте некоторые сюжеты, прочно засевшие в голове. Так и говорил: «Изобразить сюжеты». И упирал на то, что голова у него большая — шапку не сыщешь, вот и скапливаются мысли всякие, и уж тут никуда не денешься — надо голову разгружать. И было ясно лишь, что тот первозданный мир, который творит этот художник-примитивист, не наивно-стью порожден, что Кусочкин что-то утаивает — быть может, даже от самого себя.

Я сказал, что хотел бы хоть на денек заглянуть к нему в Кострому, и Кусочкин принял во втлковывать мне, что если я сяду на десятичасовой вечерний поезд, то уже в пять утра приеду, и он встретит меня как положено — на пожарной машине, и день у нас будет длинный, наговоримся вволю.

«Кострома много терпела от пожаров», — сообщает Настольный словарь для справок по всем отраслям знания, изданный в 1863 году — спустя девяносто лет после того, как очередной пожар целиком спалил деревянную Кострому, и в архитектурный ансамбль заново отстроенного города впечатляюще вписалась тридцатипятиметровая пожарная каланча, увенчанная восьмигранным дозорным столбом, облицованным белым камнем. «Под каланчой меня всегда и найдешь», — говорил в Москве Кусочкин.

А когда я приехал в Кострому, он открылся мне, что вечерами, закончив проявку и печатание служебных пленок, расстилает прямо тут, на полу своей фотолаборатории, холст и принимается творить очередную дураковину. Да, так он сам называет свои шутейные, если хотите, полотна, и волей судьбы уже самая первая его дураковина, которую он написал темперой и словно по наитию (ведь никогда даже рисовать не учился!), угодила в Париж на Международную выставку примитивистов, где имела немалый успех.

Причудливые мужички и бабы лихо накаляканы (другого слова не нахожу) на этом холсте, а в левом верхнем углу Кусочкин словами поясняет, что изобразил: «Картина называется: «Жители деревни Зайцево с помощью деда Афони, у которого сызмальства на сеновале завалился пулемет, отбили нападение неопознанных летающих орысин, чем спасли колхозный урожай и родную землю от гибели»».

Надпись эта не оставляла сомнений, что словом новоявленного живописца владеет пока что увереннее, чем красками.

Теперь-то я знаю, что Кусочкин исписал ночами уже много сотен страниц, но откроет томик боготворимого им Платонова и сознает, что находится еще на полпути к настоящей прозе. А что если всех этих разбитных мужичков и томных девок, своих привычных героев, которых, сочиняя завлекательные повествования, он отправлял то на другие планеты, то в разбойные и рыцарские времена, изобразить на холсте? Такая мысль овладела им, когда, вторично женившись, он породнился с семьей художников, а женился он на Елене Медведевой, которая слывет в Костроме знатным модельером.

Но, прежде чем Кусочкину приснился этот сюжет о том, как жители деревни Зайцево спасли родную землю от погребели (сюжеты дураковин обычно сняты ему и сразу — в цвете), ему вдруг удалось, взяв масляные краски, «навалить» взволнованное море. И пошли у него, одним махом сделанные, морские пейзажи, а то и с яхтой в отдалении, а однажды — с айсбергом. Тут уж Лена воспротивилась: «Ты написал теплое море. Откуда же айсберг взялся?» И смирилась, услышав: «У меня все может быть». А настало лето, и Кусочкин был принят как равный в тот круг достаточно умелых художников, которые располагались в воскресные дни у причала, предлагая свои работы плывущим по Волге туристам. Он и сегодня продолжает «делать море». Говорил мне, что зарабатывает на холсты и краски для своих дураковин, но лукавил. Ему льстит, что вот выдумал море, которое никогда не видел, и обрел репутацию признанного мариниста.

Он творит при электрическом свете на полу пожарной фотолаборатории, окна которой плотно зашторены даже днем. Повезло, говорит, с мастерской. Обзавелся профессией фотографа, а возвратившись из армии, прослышал, что в городской пожарной части — импортная аппаратура... Благо, что каланча в пяти минутах от дома. И вряд ли, согласитесь, в обозримом будущем Кострома перестанет терпеть от пожаров?

Поздно вечером звонит домой: «Мувлин, приди посмотреть, что у меня получилось» (Мувлин, естественно, это Лена, и есть еще Гуслин, а это — шотландский колли). Лена — дневной человек, путешествовать любит, а Кусочкин сторонится суеты, сопутствующей перемещению в пространстве. Однажды после тяжелой травмы, полученной при исполнении служебных обязанностей, был отправлен на лечение в Железноводск, но уже через неделю сбежал из этого нарзанного рая. Разве что на пожары по области выезжает и говорил мне, что этих путевых впечатлений ему вполне достаточно. Так они и живут — каждый по-своему, но если Гриня захочет вдруг сочинять музыку, Мувлин тут же купит ему рояль.

Показывая мне последние работы, Кусочкин приоткрыл некоторые секреты своей творческой кухни. Когда изображает людей зубастых, размашистых — не ясно разве, что это люди веселые, которым не стоит на месте? А поскольку все лица у него сплошь детскими получаются, то взрослым мужикам — для опознания — он добавляет бороду. Такие вот секреты элементарные. А с чертами и чувствами у него проблем нет. И в этом мире, творимом Кусочкиным, объявился теперь и вовсе за девками ухлещивает диковинный Полкан Иванович, а мужикам хмелит голову Пивень, изображаемый таким пузаном с краниками на боках.

Бессловесных дураковин Кусочкин по-прежнему не признает. На холсте — гулянка бесшабашная и такие строки:

Нынче шибко погуляем,
Косопузовки попьем,
Девоч всех перецениваем,
Ночью чуелу сождем!

А вот девка летит с колбасой, бутылкой и пулеметом: «Манька с рынка прилетела. Все купила, что хотела». Полетов — целая серия. На кровати-ветролете, запасы все той же колбасой и бутылкой, устремляются в свадебное путешествие новобрачные. И на ветролете же Дунька-русалка похищает жениха Колю...

Кусочкин доволен, что придумал такой сюжет с похищением: «Вот что бывает!» И мне представляется, что, сбрей он бороду, лицо его окажется детским, что и сам бородой обзавелся для опознания — не сомневайтесь, дескать, люди добрые, в вашей взрослой гулянке я тоже хочу участвовать. И, как видите — участвует: и в Москве, и в Париже...

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ



«Эх и погуляем...». Холст, масло. 1990 г.

«Тянем-потянем». Картон, темпера. 1990 г.

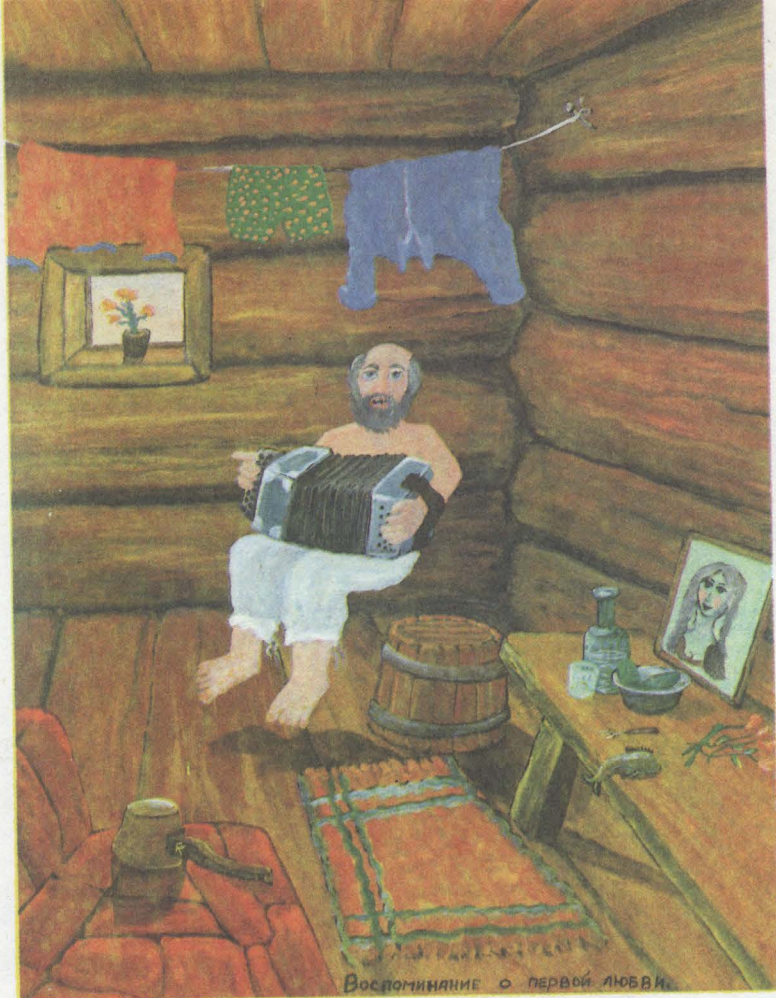




«Вперед, заре навстречу!». Картон, темпера. 1988 г.

«Наши победили». Картон, темпера. 1988 г.





«Воспоминание о любви». Картон, темпера. 1989 г.

«Пушкин среди нищих». Картон, темпера. 1989 г.



Феликс ХОФМАН

ТЕАТР СЮРРЕАЛЬ

Рассказ

*Феликс Хофман живет в Германии. Его проза
переведена на многие европейские языки.
На русском языке печатается впервые.*

Пляж совсем недалеко отсюда, и все-таки он гораздо дальше, чем край света, который там, за скалами, вот только непонятно, существуют ли эти серые камни на самом деле или только выдуманы Мастером. Для пиратов давних времен они были реальностью, пираты искали и находили здесь убежище. А сегодня убежище можно найти лишь в страхе и снах, жаль только, что эти сны недоступны тем, кто живет в этой местности. И все же они чувствуют какую-то странную связь между их городом и пляжем. Другая таинственная связь существует между их деловитостью и выносливостью. Все, что им нужно, — это богатство, которое не бросалось бы другим в глаза. Эти люди ждут жалости и снисхождения — ведь у них было такое трудное детство. Их силы уходят на постоянную слежку друг за другом; ненависть к самим себе истощает их. Странно, но мне иногда кажется, что они — не более чем некий символ, созданный Мастером, он очень хорошо понимал этих людей, живущих вокруг него, он знал их мысли и чувства, потому что все эти чувства были присущи ему самому: то, что по крупицам было в каждом из них, вмещал он один. Только он был экстремистом в отличие от них, опоздавших и обманутых, чей самый большой враг — город, стоящий неподалеку.

Так и живут они на своем побережье, в своем городишке — не в силах побороть проклятие Мастера, не в силах преодолеть устойчивости воспоминаний; день за днем жизнь их проходит в этом расплавленном камнере воспоминаний детства, среди муравьев, заполонивших город, высохших деревьев и голых скал, ежедневной, будничной смерти. Не старайтесь проникнуть в их внутренний мир, это не доставит вам удовольствия: вы найдете там лишь мрачную подавленность и угнетенность. Их жизнь и трагична, и смешна, и слава Богу, что они не знают об этом.

Полоска берега, где они живут, полна то влагой и жарой, то опять холодна, и тогда ветер кружит среди мертвых скал, которые всегда были и всегда будут на этой дикой, почти забытой земле.

Площадь Рамбла — центральная в городе. Посередине ее — холм. На этом холме в музее «Спиритуального бытия» живем мы. Вокруг холма растут платаны, и на их ветках всегда сидят воробьи. Весь смысл их существования в том, чтобы гадить на скамейки, стоящие у подножия платанов. Неподалеку памятник изобретателю подводной лодки; этот изобретатель был родом отсюда. Он мечтал победить ветер, ему хотелось увидеть другие земли, которые далеко. Возможно, именно ветер, который он собирался одолеть, говорил ему об этих землях. А подводная лодка похожа на сигару, или на презерватив (если вы не можете думать ни о чем другом), или на отшлифованное, отлакированное бревно, полое внутри, жилой дом из бесцветного тяжелого дерева, убежище в черном тяжелом сне. Когда приходят сумерки, в темноте слышны только птичьи крики, они становятся пронзительными и оглушающими, и тогда кажется, что этот темный город населен только одними птицами.

У пляжа цвет африканской пустыни. На вершине холма, недалеко от нашего дома, свалены в кучу автомобильные покрышки. Однажды — уже, наверное, скоро — они загорятся и осветят тьму, но ненадолго. Этого еще не произошло, но я знаю, что мы увидим это.

Мы ненавидим этих людей, которые разведут огонь. На самом деле их нельзя назвать людьми; недоделанные уроды, они не способны на человеческие чувства, кроме самых примитивных, поэтому от них можно ожидать любую гадость. Они сожгут, они уничтожат нас, хоть и живут за наш счет. Ночь, которая сейчас наступает, — это не их ночь, она принадлежит нам, издерганным глупцам.



Рисунок Георгия Мурьякина

Хотите вы или нет, но я буду вашим гидом, и пусть вас не смущает то, что вы не можете меня видеть. И вам тоже придется стать невидимыми, иначе ничего не получится. Это не так трудно, как вам кажется, — стать невидимым, ведь я имею в виду настоящую невидимость. На самом деле каждый человек может быть невидимым, только немногие знают об этом. Поэтому все и видят друг друга. Люди придумывают свое существование и только поэтому существуют. И лишь некоторые догадываются, что можно придумать свое несуществование, вернее, придумать его заново. В общем, если вы хотите попасть в музей, вам нужно почувствовать себя невидимым, в этом вся штука. Именно в этом и был замысел Мастера. Ведь вы знаете его «Невидимую арфу» или «Отсутствующего Вольтера»? Он придумал их, они на картинах, они существуют, но их не видно. Несмотря на это, каждый верит и в арфу, и в Вольтера... Или вы не верите в избавление и рассудок? Ну, да ладно. Почему-то мне в голову пришло это дурацкое высказывание: «Музыка — врачующая сила вселенной»; действительно дурацкое. Вселенная темна, она еще темнее, чем дно морское. Вы должны освободить свой разум, избавиться от света свое существо. (Боюсь, вы неправильно меня поняли: я не имею в виду Свет, а только солнечные лучи, яркую солнечную энергию, которая проникла в нас за день.) Вы только тень в ночи, вас не видно. Такого, каким видят вас каждый день, я не могу провести в музей, это не в моих силах, а вот вашу тень — могу. Подводная лодка не стала такой, как было обещано. Так же и я: я видим только на картинах, а вне их — нет; у меня есть ощущение, что я существую как-то наоборот — таким создал меня Мастер. Отпустите свою тень в музей, теням безразличны сны. И хотя подлинная невидимость — это нечто большее, но для сегодняшней ночи достаточно и этого. В общем, спешите. Там уже началось.

«Блин! Да что с вами случилось?! Вы не хотите подвигаться?» — пронзительный крик, почти визг Красного Костыля прорезал духоту музея.

«Заткнись, дерьмовый крючок!» — мрачно отвечает кто-то сверху. Один из Золотистых Хлебных Ломтей, висящий на стене около двери пожарной лестницы, добавляет: «Тихо там внизу!»

Да, почти всегда это начинается именно так: кто-нибудь нарушает молчание, и все остальные тут же начинают орать на него, будто им это ужасно мешает, хотя на самом деле все только и ждут, чтобы кто-то заговорил первым.

Дело в том, что мы играем в игры тех, кто живет за стенами этого музея, — мы знаем об этом. Мы любим играть в эти игры. Порочные инстинкты, мерзкие игры... Хотя временами у нас бывает интересно, по крайней мере нам кажется так; только кажется, наверное, и раздраженные бессмысленные споры мы принимаем за остроумные, иронические беседы. При всем уважении к Мастеру я должен сказать, что многие, многие из нас были ему абсолютно безразличны, как, кстати, и те, снаружи. А другие, кому повезло больше, которых можно назвать лучшими из нас, почему-то ориентируются в наших играх на то, как ведут себя самые последние из неудачников, и с этим ничего не поделаешь: так было и так будет.

Мы выходим из картин, мы освобождаемся от краски, от навязанных нам тел и форм, мы покидаем стены, чтобы собраться в главном зале. Раньше, в прошлые годы, мы бессмысленно носились по зданию, сталкиваясь друг с другом, и, если вы спросите, зачем мы делали это, зачем бегали по этим коридо-

рам, я отвечу: не знаю. Я ведь сказал: бессмысленно. В последние месяцы, с тех пор, как умер Мастер, местом встречи считается его надгробная, вмурованная в пол плита. В этом, кстати, Мастер сделал большую ошибку, но это только мое личное мнение. Если вы когда-нибудь решите присоединиться к нам, сделаться невидимым, то вы не сможете соорудить себе вот такую же надгробную плиту. Но это только к лучшему, потому что воспоминания — это самое плохое, что может с вами случиться, не так ли?

Ну, ладно, хватит. Сейчас я вам представлю наше общество, чтобы вы могли более или менее ориентироваться: Красный Женский Башмак, Золотой Скелет, Треснутое Яйцо, Похотливая Дошечка Для Разделывания Рыбы, Два Муравья из «Мягкого автопортрета», Красный Костыль, Желтый Костыль, Верблюды На Ходулях, Слоновый Зуб с Лампой, Черное Чернильное Пятно 73, Левая Ягодица Галы (в тени), Рыбацкая Лодка № 1497, Головка Куклы Брюнетки и Головка Куклы Блондинки, Тахта — Как Губы Мэй Уэст, Кукурузный Початок, Серебряный Телефон, Любезный Моллюск, Телефон-Омар, Черный Коршун, Подставка Гипсовой Статуэтки, Кадиллак «Адилла», Обнаженная Грудь Галы (левая), Обнаженная Грудь Галы (правая), Октопод Из Ниши, Лягушачий Монстр, Соколиный Монстр, Рыбий Монстр, Монстр-Кузнечик, Козлоногий Монстр — извините, что так много монстров, но Мастер не мог выбирать, — Лиловый Риноцерб (лежащий), Пианино Из Жевательной Резинки, Светящийся Бюст Ленина (6 штук), Золотистая Горка Хлеба, Влюбленная Тачка, Хромированный Бампер «Адиллы», Гротескный Сосок, Тележка-Фантом, Светящаяся Яичница-Глазунья (2 глазка), Надрубленная Луковица Лилии, Лицо Войны, уже упомянутый Отсутствующий Вольтер, Взрывающийся Рафаэль, Светло-Голубая Пара Облаков, Пылающая Жирафа, Ревматическая Рука, Золотой Век, Дух Вермеера, Атмосферический Череп, Морфологическое Эхо, Надеющаяся Мошка, Маленький Замок на Паучьих Ножках... В этом музее нас тысячи. Он, Мастер, создал всех нас, выдумал, вылепил до мельчайших подробностей. Даже таблички «Вход» и «Касса» тоже вполне соответствуют общей атмосфере, кроме этого, они такие же действующие лица наших ночных собраний, как и все остальные. Они тщеславны и глупы, они завидуют каждому из нас и не могут скрыть этой своей зависти — им бы так хотелось, чтобы ими восхищались... Мой вам совет: не стойте рядом с ними сегодня ночью, ведь они могут вас заметить. Они тут же поднимут тревогу и устроят за вами погоню, а у вас в этом случае может начаться припадок мистического ужаса — крайне неприятное ощущение. Однажды эти глупые таблички заметили одного, когда он шлепался тут ночью; он пытался убежать от них, но они поймали его почти сразу и так обработали, что сторожам пришлось отправить его в городской восьмиугольный сумасшедший дом. От страха этот человек сошел с ума и вообразил себя почему-то Мастером. В сумасшедшем доме он рисовал портреты святых, за что начальство было к нему благосклонно. Этот человек умер в тот же день, что и Мастер. Странная история.

«Да-ла-ли, тра-ла-ли», — тихо заиграла Невидимая Арфа, и, пока Невидимый Вольтер прислушивался к плывущим ее звукам, Левая Ягодица Галы подхватила Светящийся Бюст Ленина и пустилась с ним в пляс, чтоб хотя бы на эти несколько часов избавиться от тени, вот уже много лет падающей на ее персиковую кожу.

Их маленькое счастье длилось недолго, потому что — как это бывало обычно — оно ужасно раздра-

жало всех вокруг, и вскоре порхающая парочка почувствовала это раздражение. Воспользовавшись их смущением, Закаканные Штаны с бесстыдством деревенского парня накрыли собой светящуюся лысину знаменитого революционного вождя, чтобы прикоснуться к нежной попке молодой дамы.

Решительные действия Закаканных Штанов вызвали бешеные аплодисменты окружающих.

Если говорить честно, то все они достаточно странные ребята, их ночи проходят в бесконечных жалобах друг на друга, в построении каких-то жалких планов на будущее, а все их игры заканчиваются только руганью и спорами. На самом деле любимое их занятие — это издеваться друг над другом, только в этом они находят полное удовлетворение. Я не могу их осуждать, ведь совсем еще недавно я сам был таким. Если бы я не был сейчас с вами, возможно, я попытался бы прекратить этот дешевый спектакль, только знаю, что ничего из этой моей попытки не получилось бы, это уж точно. Они ничего не хотят слушать. Несмотря на это — ощущая себя полным идиотом, — я все время пробую остановить их, привести в себя, заставить очнуться; я прекрасно понимаю, что это бессмысленно, но эта работа дает хоть какой-то смысл моему существованию; это мое, если хотите, оправдание. Возможно, ночные экскурсии смогут помочь мне, не знаю. Во всяком случае, я прошу их вести себя прилично хотя бы только во время этих экскурсий, потому что каждый раз их поведение производит на экскурсантов очень неприятное, тяжелое впечатление. Иногда мои слова действуют на них, но ненадолго, а чаще всего они просто смеются мне в лицо. Неблагодарное занятие избрал я себе. Они не любят экскурсий, и в этом, если честно, я их хорошо понимаю. В течение дня им волей-неволей приходится видеть все то, что происходит вокруг них; при этом они и пикнуть не смеют, потому что — так, во всяком случае, считается — они должны быть рады, что их выставили на всеобщее обозрение, как завещал Мастер. Целый день перед ними проходят толпы посетителей, которые пляшут на них, а это не способствует укреплению нервов. Вот и получается, что, стоит им оказаться в одиночестве, они начинают заниматься только собой, не обращая внимания ни на что вокруг, не замечая и того, что я снова и снова провожу ночные экскурсии, во время которых, кстати, можно очень хорошо понять, что представляют из себя они на самом деле.

Я нечасто получаю заявки на ночные экскурсии; лишь немногие, у кого есть какое-то особенное чутье, хотят остаться с нами один на один, чтобы понять, что на самом деле хотел сказать Мастер своим творчеством. Сначала эти немногие приходят днем, затем с ними что-то начинает происходить — они и сами пока еще не понимают, что именно; с одними это происходит не сразу, у других это бывает уже на следующую ночь. Получается так, что наши облики начинают оживать в их памяти, двигаться, действовать; в конце концов эти люди обязательно приходят ко мне и просят провести их в музей, но тайно, ночью. С вами произошло то же самое. Я видел, как стояли вы, застыв, в проходе, потому что вы один из тех, с кем это случается сразу.

Иногда мне кажется, что вся эта банда и сама не очень хорошо понимает, зачем она здесь, в этом музее.

Иногда они проводят ночь, высмеивая дневных посетителей. Чаще всего это бывает в том случае, если

в музей заходят американские туристы (почему-то именно американцев они не любят больше всего). Не меньше иронии и сарказма вызывают у них шведки, которых привозят сюда на автобусах. Но самое интересное бывает тогда, когда две такие группы встречаются вместе, — это считается настоящим праздником, захватывающим спектаклем, такие дни вспоминаются неделями с восхищением и ностальгией. Только чаще всего посетители лишь утомляют их: уж слишком много здесь суетливых школьников, которых приводят сюда на обязательные экскурсии для ознакомления с современным искусством, слишком много заумных обывателей из окрестных мест, которые бродят по коридорам в своих коротких штанишках, потев от непривычно сложного мыслительного процесса, слишком много апатичных бледных студентов, на которых просто тошно смотреть, слишком много чрезмерно усердных почитателей Мастера, одетых в траурные одежды, людей, похожих на слизняков, слишком много стриженных плоскогрудых болтливых баб — «представителей новых художественных журналов из всех уголков Европы».

И всего только однажды был настоящий скандал (он напоминал нам времена, когда жив был еще Мастер).

Совершенно потрясенный всем увиденным американец вдруг понял, что вся предшествующая жизнь — это сплошной самообман, подчинение ненужным запретам. Случайно рядом с ним оказалась в этот момент толстозадая немка, на которую музей произвел почему-то такое же впечатление; о том, что произошло дальше, я думаю, догадаться нетрудно: ставший внезапно невероятно решительным американец «завалил» свою подружку на Тахту — Как Губы Мэй Уэст, и, когда в зал вбежал разъяренный директор, вмиг вставать было уже как-то неприлично. Немка как раз натягивала трусы, когда в зал вошли полицейские. Глядя на них торжествующе, она зачихикала, не раскрывая рта, и щеки ее горели так сильно, словно американец натер их только что свеклой.

Сам же американец, увидев входящих, лихорадочно начал надевать свои гавайские штаны, но, поймав на себе насмешливый взгляд своей подружки, сбросил штаны на пол и гордо выпрямился, картинно скрестив руки на груди; он вел себя достаточно мужественно, когда полицейские били его потом в тюрьме.

С тех пор на светло-красной обивке Тахты красуется пятно; оно, кстати, стало предметом долгого разбирательства между музеем и туристическим бюро, которому принадлежали оба автобуса с туристами. Честно говоря, я уже и не помню, чем все это кончилось, знаю только, что вся эта история со скандалом по поводу пятна лишний раз показывает, что из нас стараются сделать неприкасаемых, отгородить от людей, которые могут быть нам приятны или по крайней мере способны развлечь нас.

Все мы были в восторге от этого скандала, одна только Тахта не разделяла нашего чувства, и это понятно: ведь раньше, до этого печального для нее события, она ощущала себя крайне занятым существом, этаким таинственной легендарной дамой. Тахта была высокомерна и немного презирала всех нас, а после этой истории она почувствовала себя всего лишь предметом мебели, с которым к тому же дурно обошлись. От стыда и горя она так сжала свои губки, что совсем испортила свою изначально совершенную форму. «Подстилка для спаривания» — так называют ее с тех пор.

В ночь после этого скандала Невидимая Арфа сыграла новую песенку: «Да-да-да Гер-ма-ни-я, га-га-га Ам-ерика», — новая песенка была такой же дурацкой, как и предыдущие, но все были так рады, вспоминая дневной скандал и унижение Тахты, что песенка по-

нравилась и даже показалась очень мелодичной (в отличие от всех остальных).

Сегодня ночью так тихо, все заняты собой. Но я хочу предупредить вас: если почувствую, что должно произойти что-нибудь не очень красивое, я буду вынужден попросить вас уйти. Мне кажется, вы поймете меня и не обидитесь. Пойдемте дальше.

Мы ненавидим лето, ведь летом нам приходится работать гораздо больше, чем обычно: чтобы все желающие могли посмотреть на нас, время работы музея увеличивается. Зима нам нравится больше, музей открыт только с полудня до вечера, и мы можем отдохнуть от напряженного лета. К концу февраля мы снова начинаем нервничать, потому что не происходит ровным счетом ничего. Лучше всего мы чувствуем себя весной; в это время нас по-настоящему веселят наши идиотские игры, в это время нам кажется, что нет ничего лучше той жизни, которую подарил нам Мастер: свободной, импульсивной и вдохновенной, и как хорошо, что живем мы все именно здесь, в этом милом музее, и бедные братья и сестры, которых занесло Бог знает куда. Конечно, думаем мы в такие минуты, там, на чужбине, они кажутся экзотическими, экстравагантными существами, они вызывают к себе интерес, но этот интерес сродни тому, что рождает у посетителей анатомического музея бицефал, запаянный в стеклянной колбе. Только здесь, дома, они могли бы жить по-настоящему — весело и свободно, только здесь они могли бы не чувствовать себя одиноко. В общем, им не позавидуешь.

Я только сейчас понял, что забыл представиться. Этого со мною еще никогда не было. Возможно, это потому, что я немного напряжен: здесь должно что-то случиться, я чувствую это; надеюсь, вы простите мою забывчивость. Я — нечто неконкретное. Мастер дал мне много имен и меняющийся облик. Наверное, этим и объясняется мое существо — я сторонний наблюдатель в этом сборище сторонних наблюдателей (так их, во всяком случае, воспринимают).

Итак, разрешите представиться: я — Геополитическое Дитя, Свободное Желание, Привыкание к Страсти, или Великий Мастурбатор, или Конец Прочности Воспоминаний, или Сон, — вы можете называть меня, как хотите. А как вам нравится: Галаксидолаксидо-оксирибонуклеиновая Кислота?

Вы слышите? Мне кажется, что эта банда готовится к какой-то очередной глупости. Честно говоря, я, кажется, догадываюсь, к какой именно. Дело в том, что вот уже много лет они собираются поднять восстание. Это смешно, но это действительно так. Здесь, в музее Мастера, присутствует его параноико-критический метод, возможно, поэтому они ведут себя так распушенно. Им больше не нравится их работа, но они не могут не показывать себя. В работе Мастер был фанатиком и эксгибиционистом, этого же он требовал и от нас, своих созданий. Но теперь, когда он умер, мы безучастны к своему делу, ведь в нем осталась лишь одна рутина, скучная привычка. Воспоминания о том безумном времени, когда был жив Мастер, только портят настроение.

«Ну что, начнем?!» — снова закричал Красный Костыль; он был движущей силой наших вечеров. «Давайте прокрутим события вчерашней ночи еще раз», — добавил он уже тише, и никто не ответил на его слова (вероятно, у них хватает ума лишь для обычных злобствований или глупостей). Слоновый Зуб с Лампой подталкивает осторожно Треснутое Яйцо и говорит: «Ну ты, куриное дерьмо, как насчет немного потанцевать?» «Отвали!» — раздраженно отвечает Треснутое

Яйцо. — В прошлый раз ты меня чуть не раздавил. Иди к этим козлам из глазуньи, им ты уже ничем не навредишь».

Услышав его слова, светящиеся глазки Яичницы-Глазуньи злобно прошипели: «Чья бы корова мычала... Лучше сгореть на сковородке, чем тухнуть в скорлупе. Подумай над этим, если только твой лысый череп способен понять такую сложную мысль».

«Хе, хе», — произнесло задумчиво Пианино Из Жевательной Резинки, а затем вдруг издало такой оглушающий септим-аккорд, что возвратившийся на свое место Светящийся Бюст Ленина начал дрожать от возмущения: «Вы не могли бы покончить со своими ссорами! Давайте лучше подумаем, как нам жить дальше, когда Мастера уже нет с нами!»

«Правильно! — подхватил Гротескный Сосок. — Нам нужно создать комитет, который защитит нас от всех этих дегенератов, интересующихся искусством. Мастер не может больше защищать нас, поэтому нужно сделать это самим. Или, может, создадим группу самообороны?»

«Проблема в том, — сказали Бьющие Часы, — что прошлые скандальные годы давным-давно кончились, и то, что мы видим вокруг, — это только рутина, сплошная рутина. Мы никого больше не возмущаем, к нам привыкли, мы стали скучны. Одни только писатели-фантасты находят в нас какой-то смысл. Все остальное, что говорят о нас, — это самый настоящий бред... А хуже всего закомплексованные зануды, которые превозносят нас до небес, из-за этих уродов мы кажемся самим себе персонажами из слащавого фарса».

«А как здорово было в старые добрые времена, когда нас еще ругали и проклинали, — вздохнуло Черное Чернильное Пятно 73, — только те дни можно назвать настоящей жизнью... Вы помните? — было столько шума, столько скандалов... Самая настоящая война...»

«Что ты знаешь о тех временах, молокосос? А кроме этого, что хорошего может быть в войне? Ты разве не помнишь, что тогда пострадали многие из нас, а некоторые просто погибли?» — сказала Подставка Гипсовой Статуэтки.

«Ну и что? — ностальгически ответило Чернильное Пятно. — Это все-таки лучше, чем гнить в этом болоте. Тогда — в Париже — это была по крайней мере героическая смерть».

«У тебя нет ни малейшего представления о Париже, ты, грязный плевок! — закричала откуда-то из темноты Левая Ягодица Галы. — Ты тогда еще только пеленки пачкал, а мне уже трижды пришлось пережить реставрацию!»

«Тебе было просто необходимо, чтобы Мастер трижды подтянул твою задницу! — прогремел чей-то голос. — Иначе никто бы не заинтересовался тобой».

«Вы опять за свое, продажные попутчики! — заорал Светящийся Бюст Ленина, чтобы защитить обиженную Ягодицу и подогреть революционный энтузиазм. Взорвавшись в ярости на липкие клавиши Пианино Из Жевательной Резинки, Бюст орал, картавя: «Мы скорее объявим забастовку, чем позволим натравливать нас друг на друга!»

«Снова ты со своими забастовками. Мы не на сходке, а в замке, здесь не бывает забастовок», — заметил вполголоса аристократический Золотой Скелет.

«Дра-Лалл-Ла...» — пропела в стороне Невидимая Арфа.

«Заткни глотку, гнутая дребедень», — прозвучало из глубины Пианино. Лицо Войны, выпитив свой зад, выпрыгнуло вперед и принялось маршировать из угла в угол.

«Да, дело-то совсем не в этом», — Тахта — Как Губы Мэй Уэст решила направить разговор в другое

русло, — здесь, в провинции, чувствуешь себя заживо погребенной. Вы вспомните, как там, за стенами, все вымирает, когда наступает ночь, а ведь будущее этого города — наше будущее! Мертвая ночь — вот что ждет нас. Не Мастер мертв, а город. Как можно пытаться здесь возродить былые прекрасные времена, когда был жив еще Мастер?! Нельзя больше жить воспоминаниями о прошлом, мы можем и должны жить сегодняшним днем!

«Ты можешь и должна заполучить что-нибудь между губ», — убежденно сказал Козлоногий Монстр. — Твой американо-немецкий урок ничему тебя не научил. У нас — у инвалидов — другие проблемы. Все эти болваны испытывают сейчас к нам только жалость, от этого кто угодно потеряет уверенность в себе».

«Если бы только это, — подхватил Верблюд На Ходулях, — меня вообще просто не воспринимают, я стал для них чем-то само собой разумеющимся. Да я бы согласился терпеть любые обиды или хотя бы жалость, о которой ты говорил, лишь бы только на меня хоть как-то реагировали!»

«Не могу больше слышать этот бред!» — простонал Золотой Век и пошел по коридору во всем своем блеске и славе.

«Давайте бастовать за мир!» — прокричал немного смущенный своей дерзостью Абсолютноничегонеделающий Аптекарь.

«Давайте голодать за мир!» — простучал об пол Атмосферический Череп.

«Давайте разделять кровати за мир!» — запищала в восторге Похотливая Дощечка для Разделявания Рыбы.

«Давайте помолчим за мир!» — заметил выдержанный Телефон-Омар.

«Сделаем бомбы за мир!» — захохотал торжествующе Взрывающийся Рафаэль.

«Зажарим голубей за мир!» — высокомерно произнес Соколиный Монстр.

«О-еаа», — затянула Невидимая Арфа невидимый блюз.

«Нагадим за мир!» — каким-то придушенным голосом произнесли Закаканные Штаны. Как всегда в препаршивом настроении, они не смотрели ни на кого вокруг, а напевали вполголоса свою любимую песенку.

Все моментально зажали носы, а Отсутствующий Вольтер заметил откуда-то сверху: «У тебя одна грязь на уме. Мы видеть тебя не хотим, кусок дерьма. Ты понял?»

«Брось это дерьмо, брось это дерьмо, — повторило Морфологическое Эхо. — Он давно уже отрезанный ломоть, отрезанный, отрезанный... Что можно ожидать от того, кто путает жизнь с поносом, что можно ожидать, ожидать?»

Из темного угла выкатился Камешек-Галька: «Вы снова собираетесь поднять восстание экспроприированных и недооцененных?»

«Какое твое дело?! Катись в свой чулан, дармоед!» — зашипела табличка «Касса». Затем, помолчав, она добавила: «Хотя я тоже не понимаю, чего вы хотите — забастовки, заварушки или скандала? По-моему, все это юношеский блеф. Какой-никакой, а здесь у вас дом, в других местах вы запросто можете пойти с молотка».

«Ну и что?! — запищали Два Муравья из «Мягкого Автопортрета». — Сменить хозяина — это то же самое, что сменить обою».

«Или получить темный глазок в сейфе торговца, вы, придурки! — горячо заговорила вдруг пластиковая табличка «Вход». — Поймите, покупателю нужно не видеть вас, а только иметь!»

В этот момент вперед выступила классически округлая ярко-розовая Правая Обнаженная Грудь Галы, которая, кстати, даже не слушала всю эту чепуху, и заговорила меланхолически: «Ах, сегодня здесь был такой красивый молодой человек, вы его видели? Он все время сидел передо мною на стуле и писал что-то в своей записной книжке. Иногда он бросал на меня влюбленный взгляд, но, по-моему, он не заметил, что я тоже смотрела на него и даже выдвинулась немного вперед».

«Тебе жаль, что он не схватил тебя, тухлая груша!» — захохотал сзади Лиловый Риноцерос (лежащий).

В тот момент, когда Светящийся Бюст Ленина собрался делать реверансы своей тайной любви, жарко призывая ее к последнему и решительному бою, вопли в толпе усилились: теперь уже кричали все, не слушая друг друга. А через минуту шум вдруг утих, и все разом засобирались на прогулку по залам и коридорам.

«Святой Избавитель, великий Мастер, какие мерзкие рожи ты создал!» — подумал Октопод Из Ниши и в отчаянии стал качать своей большой водянистой головой. И сразу же кто-то вскрикнул: «От тебя идет такой холод!»

Идите сюда, я выведу вас на улицу. Уже светает, и ничего интересного больше не будет. Все как всегда. Они ругаются друг с другом до самого рассвета, а потом расходятся по своим местам, и ничего, кроме брюзгливого молчания и жалости к самим себе, у них не остается. Вы понимаете, десятилетия, проведенные здесь, оставили свой след в наших характерах. Мы больше не воюем с людьми, мы воюем со скукой. Раньше те, снаружи, не могли нас видеть, из-за этого и был весь шум. А теперь мы доступны, и те, кто снаружи, воюют не с нами и не за нас, а только друг с другом. Хотя наша роль и в прежние времена была более чем скромной, а сегодня... И какое восстание эти придурки собираются поднимать?! Мы способны лишь на то, чтобы постоянно мучить себя и друг друга, как будто все эти годы нас ничему не научили. Мы такие же неудачники, как и те, кто снаружи. Вот и вам пора к ним. Уже светает. Почему вы так странно смотрите на меня? Что с вами? Вы совсем ничего мне не скажете?! Вообще ничего не скажете?

Шум смолкает; в запыленные окна уже виден рассвет, а Невидимая Арфа вибрирует едва слышно: «Да-ду-га-га-ла-ла-ла-думм Га-трул-ла-ла Да-ли-ри-ум».

Перевод с немецкого Н. БУРЕЙКО.

*Литературная обработка текста
А. СКОРОБОГАТОВА.*

Только мы дадим вам реальные знания.

— КУРСЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО АНГЛИЙСКОМУ, НЕМЕЦКОМУ и ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКАМ.

Срок обучения от 6 до 9 месяцев. По окончании курсов вы получите сертификат. Занятия в различных районах Москвы. Проводим также занятия на предприятиях.

Тел.: 398-56-78 с 9 до 19 164-27-22 с 10 до 20 361-48-36 с 11 до 16 241-19-06 с 16 до 20

КРОМЕ ТОГО, предлагаем лингафонный курс и учебное пособие по английскому языку.

Стоимость комплекта - 378 рублей. Оплата наложенным платежом. Заявки направляйте по адресу: 111112, Москва, ул. Войтовича, д. 32, корп. 2. Учебный центр "Реальные знания".

— КУРСЫ ИНТЕНСИВНОЙ ПОДГОТОВКИ К КОНКУРСНЫМ ЭКЗАМЕНАМ В ВУЗЫ

Срок обучения от 5 месяцев до 15 дней. Математику, информатику, физику, химию, биологию, русский язык и литературу, историю, иностранные языки преподают высококвалифицированные преподаватели, доценты московских вузов с многолетним опытом подготовки к конкурсным экзаменам и их приема.

Тел.: 461-87-89 с 9 до 12 164-27-22 с 10 до 20 377-93-23 с 10 до 14 265-09-72 с 14 до 20



— ШКОЛА ОБЩЕНИЯ. Опытный психолог поможет вам избавиться от застенчивости, научиться любить и быть любимым, открыть новые грани своего характера. При школе работает психологическая консультация.

Тел.: 398-56-78 с 9 до 19
361-48-36 с 11 до 16



РЕАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

Летучая авторская «Двадцать Два»



«20-й комнате» исполнилось (бы?) пять лет...

Да, елки-палки, я еще помню, как это было на самом деле, в цвете и звуке, ведь я оказалась одним из «основателей» «20-й комнаты», а потом на протяжении двух с половиной — трех лет ее «хозяйкой» по должности и, очевидно, призванию — улыбаться всем входящим в последнюю редакционную дверь, поить чаем хиппов и всяких неформалов, поэтов-авангардистов и рокеров...

Недавно все «основатели» — Маша Ремизова и Сережа Гурьев, Сережа Чапнин и я (не смог прийти, по-моему, только Макс Столповский) — собрались в уже другой «20-тке», и кто-то меня спросил: «Ника, а были ли на самом деле Саша Вихрев?» И я ответила: «Был...»

Миф о «20-й комнате» гласит, что началось все с письма москвича А. Вихрева (сентябрьский номер за 1986 год), который написал, что «...без тесного контакта средств массовой информации с молодежью перестройка невозможна...», а редакция, согласившись с ним, пригласила Сашу заходить с друзьями (то бишь с нами), и так якобы образовался клуб «20-я комната»... У меня большие сомнения в существовании в письме Саши этой фразы, но сам он, безусловно, был.

Для меня самой все тоже началось с сентября 1986 года, на выездной летучке «Юности» в юношеской библиотеке, где я и увидела впервые и Сашу Вихрева, и Мишу Хромакова*. Я на этой летучке очутилась

как представитель легендарной «лестницы» телепередачи «12 этаж». Летучка оказалась веселой и всем понравилась, а мне от нее остался номер телефона отдела публицистики, где Миша горел желанием образовывать «Клуб 12 серьезных молодых людей». Видимо, я была серьезной. И как-то после работы поехала на Маяковку. В отличие от моих друзей со-основателей я отлично помню наше первое «заседание» 25 сентября. В комнате за столом, который справа от входа, сидела женщина в сигаретном дыму и читала рукопись. Хромакова в комнате не было, а в кресле (которое через полгода залили яблочным соком) его уже дождался некий молодой человек явно неформального толка. Следующим пришел хиппи с невероятно длинным, до пят, хайром (волосами). Как выяснилось позже, это были Сережа Чапнин и Макс Столповский. Потом пришла сразу куча народу, сам Хромаков, мы познакомились и принялись «заседать». Илюша Смирнов с Сережей Гурьевым, издатели «Урлайта», били себя в грудь и говорили, что надо писать о рок-музыке и культуре андеграунда, но этого никто не напечатает; Маша Ремизова — о проблеме аутсайдеров, Оля Еремина — об абсурдности детских политических организаций, а сам Миша — почему-то о джинсах. Потом в октябре и ноябре мы еще и еще встречались, писали, и из этих встреч родились первые три номера «20-тки». Кстати, о названии: три часа мы бились — чего только не придумывали. И решили называться «Клуб «Глагол». Но в процессе сдачи номера в печать кто-то из коллег предложил другое название — «20-я комната», так как отдел публицистики действительно располагается в комнате № 20.

— Что ты помнишь о «20-тке»?

Сергей ЧАПНИН, 23 года:

«Во мне живут осколки того живописного нечто, славную 5-ю годовщину которого мы празднуем. Мы были тогда слепыми котятками, которых монстр советской журналистики, еще не умирающий и вполне благоденствующий, подобрал на улице и решил с нами поиграть. Мы затеяли веселую возню и привлекли некоторое внимание. Порой мы кусались и царапались, но это было скорее мило и занятно, чем досадно. Нам упорно навязывали роль «мышки», хотя мы давно уже чувствовали себя котятками.

Нас было шестеро, а с Мишей Хромаковым семеро в лодке «20-й комнаты». Старт был трогательным и вдохновенным. Представить себе невозможно! — тусовка ворвалась в здание редакции совершенно советского журнала и захватила целую комнату. Многочисленные обещания многочисленных публикаций побуждали нас много думать, много говорить и много писать. Мы были счастливы. Посмею это утверждать, ибо «счастье коротко», и этот критерий соблюден. Миша Хромаков, преследовавший свои, трогательно-непонятные цели, был всем очень дорог, но приводил в замешательство, ибо говорил одно, а делал другое. К октябрю 1986 года Миша сделал из нас первое заседание «20-тки», куда прошел и мой материал «Все на продажу?». В декабре меня «ушли» в армию, по возвращении из которой я увидел в «20-й комнате» третье поколение тусовщиков».

Маша РЕМИЗОВА, 32 года:

«Вся эта история произошла страшно давно, с тех пор все так

* Михаил Дмитриевич Хромаков был редактором отдела публицистики «Юности» в 1986—1989 гг. Ныне издает журнал «Крик».

изменилось, что почти невозможно воссоздать ощущение... Понимали мы друг друга, надо сказать, плохо: Миша Хромаков ежеминутно делал широкий жест (рукой), приглашая присутствующих высказывать (и высказывал сам) самые бредовые прожекты и немедленно воплощать их в жизнь. Присутствующие старались проявлять несвойственное им здравомыслие и бормотали, что этого, дескать, никто никогда не разрешит. Ситуация была самая зазеркальная: вполне вписанный в систему сов. журналист предлагал андеграунду распрямиться, андеграунд же мялся и шел в глухую несознанку.

Из первых прожектов, по-моему, воплотился в жизнь только один — Макс Столповский съездил в Казань в свою первую и, надо думать, последнюю в жизни командировку и разродился статьей, которую, на две трети порезав, напечатали-таки в журнале.

Через некоторое время, когда все это дело обрело название «20-й комнаты», туда стало стекаться огромное количество разношерстного народа, большей части которого делать там было совершенно нечего, и комната № 20 обрела вид какого-то жуткого тусовочного флета. В один прекрасный день я застала там не менее двух десятков курящих, поющих, сидящих, стоящих, лежащих, болтающих, молчащих, обнимающихся, слоняющихся без дела хиппов, причем одна девушка была даже с грудным младенцем... Единственный материальный след моего пребывания в «20-й комнате» — участие (после долгих уговоров Хромакова) в том знаменитом «Взгляде», где благодаря удивительно ловкому монтажу, сведшему двухчасовой разговор к пятиминутному эпизоду, мой родной муж производит апологию наркотикам, мой друг называет себя профессиональным революционером, а я просто молчу как истукан, что мне совершенно несвойственно...

Январский, 1987 года, номер «Юности» раскупили во всех киосках, а «20-я комната» получила писем за один месяц столько, сколько вся редакция за год. А вслед за письмами пошел народ. Пришел Александр Еременко, которого тогда не печатали, пришли «булгаковцы» — фаны «нехорошей квартиры» — Ира Замская и Игорь Владимирский, пришел «дитя цветов» Сольми — «немного художник, отчасти поэт и совсем чуть-чуть музыкант», пришли молодые философы Михаил Маяцкий и Эдуард Надточий. Рыбка клонула. Это была первая и в основном пишущая «волна». Золотая жила была где-то рядом. А помог «20-тке» выкопать первый самородок Юрис Подниекс — в майском номере «20-тка» была посвящена его фильму, а внизу страницы скромно притулились «20 вопросов в комнате 20».

Мы попали в «яблочко». На «комнату» рухнул шквал исповедей. Письмами была забита вся комната, и все силы «20-тки» отныне были брошены на разгребание почты. С сентябрьского номера начали печататься главы — «Если честно, то...» — «Испо-

веди поколения»... Это было время «системных людей» (типа Сталкера, Генерала, Солнышко) в «20-тке». Это время наших бесконечных выступлений в институтах, школах, НИИ и просто учреждениях.

«Гроза в начале мая» принесла в «20-тку» вторую волну — Жору Ильичева, Тему Липатова, Настю Кондаурову, а из штатных сотрудников — Сергея Адамова. В отличие от волны первой — 25—27-летней (я была тем исключением, которое подтверждало правило), вторую составляли школьники и студенты-первокурсники журфака МГУ. Летом они прилежно отвечали на письма и не знали, что ждет «20-тку» осенью — третья тусовочная волна. Журналу от тусовки перепадали подготовленные к печати письма-исповеди и иногда статьи. Золотыми пончиками (о них позже) выложат когда-нибудь у порога «Юности» имена славных тусовщиков — Лены Сахаровой, Кости Елгешина, Насти Ромашкевич, Ромы Шибалина, Лены Авдеевой, Гиги Карчикяна, Инны Лещинер, Вилли Павленко, Шуры-Серги, ибо в котле тусовки рождались кой-какие мысли, которые потом выливались в печатные литеры...

Настя КОНДАУРОВА, 20 лет:

«Для меня «20-я комната» — это прежде всего люди: Лена Авдеева, написавшая в «20-тку» письмо, на которое я ответила и пригласила заходить; Настя Левашова, восхитившая меня некой неуловимостью и достоинством облика, делавшими ее княжной без кавычек и больших букв; слегка панкующий Андрюша; Гига Карчикян, заканчивавший историко-архивный и постоянно пребывавший в безудержном стремлении устроить маленький праздник в любой день; тихая Лена Сахарова...

Все собирались обычно ближе к вечеру. Самые молодые и голодные немедленно начинали скрести мелочь по карманам на кило пончиков с сахарной пудрой. Одним из основных занятий было чтение писем под крепкий чай с пончиками. Помню множество бандеролей из Тбилиси: какая-то женщина присылала нам свои рисунки. Мы их развешивали по стенам. Помню долгие, многостраничные исповеди. Помню всевозможные стихи и рассказы. Некоторые с интересом изучались всеми по очереди, затем перепечатывались и вставлялись под стекло в шкаф на всеобщее обозрение.

Было все: борьба за власть и любовные романы, интриги и наивность, тусовка и работа. Не было, пожалуй, только равнодушия. «20-я комната» как явление свою роль выполнила, но где-то в нас она жива. Чем-то еще скрепляет. И иногда вдруг прозвучит обрывок знакомой мелодии и растет в воздухе, оставив то настроение и... запах пончиков!»

В это же славное время нас активно начали снимать для ТВ — родного и импортного. Это выглядело в самом деле забавно и даже экзотично: редактор отдела выступал с речью о молодежи и перестройке на фоне панков, хиппов и металлистов. Как

сейчас помню панка (рассказывавшего накануне, как он распугал людей на автобусной остановке тем только, что вылез из контейнера для мусора, где ночевал, и спросил: «Который час?»), прилежно писавшего за Инну Лещинер упражнения по французскому языку...

А серьезнейшая Настя Левашова потом увезла «20-ю комнату» на первое в ее истории выездное заседание — в старинный и полуразрушенный город Касимов, чье сонное царство приезд «20-тки» взболтал, как коктейль. Потом, когда в Касимове спрашивали номер «Юности», в котором были опубликованы все касимовские раскопки «комнаты», ответ киоскеров был неизменным: «Номера нет и не будет». А что, собственно, там было напечатано? Что рабочий-депутат не любит руководство города, что восьмикласснику отправляют в спецучилище за то, что «вступает в половую связь», что рушатся памятники архитектуры, церкви... В общем, все как везде...

1988-й принес с собой четвертую волну в лице Саши Гришина — сам-издателя «левого поворота», анархистов-синдикалистов Володи Гурболикера и Андрея Исаева... Пожалуй, можно «обозвать» эту волну «социально-политической». Плюс была еще «четырёх-с-половинная» — арбатская — волна: поэты из группы «Вертеп», барды...

С этого года началось тихое и постепенное, еще не бросающееся в глаза, угасание «20-тки». Последние, пожалуй, дела, которые еще сочетали остроту темы и дружное исполнение, — серия публикаций об Арбате, завершившаяся грандиозным «круглым столом». Это было еще то время, когда районные власти и непосредственно 5-е отделение милиции «гоняли» музыкантов, поэтов и художников из их Мекки. Арбат еще не успел превратиться в пошлую матерщинную улицу для иностранцев, а по-сему вышли страшные постановления Моссовета и прокатился слух — «Арбат закрывают». На «круглом столе» стучали чайными ложечками по стаканам неформалы, нервно прихлебывали чаёк представители районной власти и милиции, и давал правовую оценку постановлениям юрист. Все это появилось на августовских страницах.

В июле любимый редактор отдела «повесил» на тусовку всю подготовку ко 2-й встрече Международного дискуссионного клуба по проблемам молодежи, который он, редактор, и учредил (вместе с другими взрослыми и солидными мужчинами) за полгода до того в Софии. Тусовке пришлось напрячься и организовать гостиницы, питание, автобусы, культурную программу для полусотни советских и зарубежных гостей. Четыре дня в помещении АПН обсуждались «роль молодого человека в обществе», «молодежь и преступность», «молодежная субкультура» под общим лозунгом «Молодежи должно принадлежать настоящее!»...

Но это было все. В трех номерах подряд (9, 10 и 11) «комнаты» не было. И, хотя осенью 88-го года

пришла «пятая волна», она была обречена стать последней и заставить «распад империи».

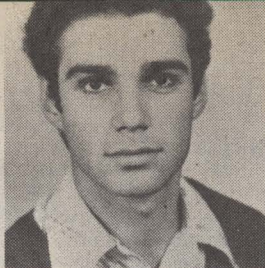
Леся САГАРЕВА, 16 лет:

«В бытность мою в «20-й комнате» я решила завести альбом и приставала ко всем знакомым с просьбой сделать в нем какую-нибудь запись. Из них, видимо, и сложатся мои воспоминания о «20-тке»... Смушает то, что нет возможности вычислить, сколько именно фраз и каких останется в результате редакции — все еще жив где-то в подсознании недремлющий образ Михаила Дмитриевича Хромакова, долгими вечерами при свете настольной лампы препарирующего материалы. Но вообще в печать шло максимум 20 % подготовленных материалов и подборок, пусть трижды заказанных...

Я была самым молодым участником «20-й комнаты» и каждый день дискутировала с Хромаковым вопрос о необходимости рубрики «Урок рока», размахивая благодарственными письмами читателей, вплоть до того времени, как мы стали делать придуманную мною рубрику «Свободный микрофон». Зато у нас были свои маленькие праздники, кампании по борьбе с внутренним врагом, культ личности и внутрикомнатные объявления и даже исправительно-трудовая программа: рассылка ответов на письма, пришедшие в количестве каких-то бесенных тысяч на исповедь некоего Ивана Тымченко. Ответы были размножены на ксероксе, и круглые сутки кто-то сидел и надписывал адреса страждущих. Помню сквозь все, что было потом, дележи столов и телефонов, а зима 88/89-го была особенно урожайна «редакторатами» по вопросу о «20-й комнате»: то о поведении сотрудников, то о ее разгоне... К тому же наш телефон дали как справочный для первого рок-фестиваля «Сырок», и он начал выходить из строя. Мы прибегали к разнообразным ухищрениям. Илья Смирнов снимал трубку и говорил: «Партком», Настя Кондаурова отвечала: «Кремль», но искушенный рок-поклонник большей частью смекал, что это как бы тусовочные шуточки. Только когда я честно, но зло отвечала: «Отдел публицистики», многие вешали трубку сразу.

Последнее, что я помню, — мой день рождения в январе 1989 года».

Тогда же «20-я комната» журнала «Юность» прекратила свое существование. Да, еще выходила и до сих пор выходит рубрика отдела публицистики под этим именем, но честнее было бы признать: это уже что-то другое...



Нелинованный лист

* ОБРУЧЕННЫЙ * САДОВЫМ КОЛЬЦОМ *

Когда человек умирает,
изменяются его портреты...
Анна Ахматова

Добавим: и стихи.

Так вышло, что один из трех погибших на Садовом кольце в страшную ночь путча, Илья Кричевский, связан с «Юностью», приносил стихи на семинар, который в наших стенах уже более десятка лет ведет Кирилл Владимирович Ковальджи. Обсуждение Кричевского было назначено на осень, но смерть устроила свое «обсуждение».

Вслед за «поколением дворников и сторожей» пришло другое, еще не успевшее самоназваться. Возможно, что из-за всеобщей «разбивки по интересам» оно и не получит имени, а может, отсчет начнется именно с тех трех ночей, и это будет поколение ЖИВОГО КОЛЬЦА.

На стихи Кричевского ложится ответ блоковского «неслыханные перемены // невиданные мятежи». Мятущийся голос — это не только сам автор, это скорее воздух неокрепшей эпохи, юной усталости и юных же надежд.

Публикуя стихи, мы не устраиваем пышных похорон и не пытаемся за счет трагедии дать задним числом авансы, что мол-де «Моцарт был возможен»... Жизнь трагична и без Моцарта. Тем более не хотелось существенно выделять кого-то из погибших по свежим следам. Но, присоединяясь к словам: «Простите мне, вашему президенту...», я склоняю голову перед выбором Дмитрия, Ильи, Володи и перед участью всех, не доживших до окончания Большой Войны.

«Провокация», «опереточный путч» — пусть шипят те, для кого эта семидесятилетняя с таким Война — единственная среда обитания, кого устраивали совсем другой исход, другие ЛИЦА.

Трое погибших доказали, что их воздух — СВОБОДА.

Очень надеюсь, что и наш.

А. С.

Илья КРИЧЕВСКИЙ

☆☆☆

Читайте Вечные Книги...

Да сбудется Голос Труб...

Свои безумные лики

бросает Вечность на круг.

Стреляйте в голую осень —
навстречу вечной весне...

Дешевые конья бросим
на круг голубой воде.

.....

Мы гордые, жадные, злые,
в ответе за все вокруг...
И пусть наши лица живые
ложатся на Вечности круг...

Красные бесы

В красном зареве красные бесы
раздувают огни пожараща,
восходящими противовесами
опускают заката занавес.
Поют водкой и морят голодом,
сеют муки и множат гадости,
выпускают на людные площади
крыс, лишенных ума и жалости.
И смеются красные бесы,
словно дети — делам своим,
потому что на этом свете
не они — мы в дерьме сидим.
Не пугают их муки совести,
и плевать нам на нашу боль,
потому что у этой повести
будет новый красный герой...
Потому что они вершители
наших судеб, легких, как дым,
потому что у них на закорках
красным бесом на мир мы глядим...

☆☆☆

Я вылепил тебя из праха...
Вздохнувши теплоту ночей —
полночной чащи росамаха,
во мраке плачущий ручей...
Я дал тебе цветенье неба
и пули звонкое стекло...
Я вылепил тебя из хлеба,
я превратил тебя в вино.
Пьянящее.

И в хлеб насущный...

И вот теперь, мое дитя,
творец твой —

стал рабом послушным,
в ночи лобзающий тебя...
1988 г.

☆☆☆

Изнемогая от тоски,
я шел до гробовой доски,
и за доскою гробовой,
увидел я — но не покой,
а вечный бой,
который в жизни только снился.

И без раздумий прыгнул я
в пучину алчного огня,
но тут же Господу взмолился:
«Верни мне, Господи, покой,
зачем мне этот вечный бой,
возьми меня, я твой, я твой».

.....
Всю жизнь мечусь меж адом, раем,
сегодня черт, а завтра Бог,
сегодня стерт, а завтра смог,
сегодня горд, а завтра сжег...
Стоп.

Беженцы

Мы идем и идем по степи,
по лесам, по болотам и травам,
еще долго идти и идти,
еще многим лежать по канавам.

.....
Рок суров: ты дойдешь, а ты нет,
ты расскажешь внукам все это,
ты умрешь, как забрезжит рассвет,
ослепленный огнем пистолета.

Но идти нам, идти, раздирая мозоли,
и не есть, и не спать, и не пить,
по лесам, по холмам, по смертям —
в чистом поле!

Жить нам хочется, хочется жить!



Дмитрий КРЮКОВ

★ РОК ★ вокруж

Русский рок — это вам не просто так. Основные его отличия от первичного ROCK'a вычленены лет пять назад. Осмелюсь напомнить: наш рок текстуален, социален, почти не сексуален и в целом замкнут на себе — сказалось андеграундовское происхождение; фраза «Это не рок» — уже клеймо.

Не стоит повторять уважаемых рок-кологов в части, объясняющей формирование нашей рок-культуры и всего ей присущего, — здесь господствует общая версия. Разве что набраться храбрости да заорать, что отечественный рок с западным вообще не имеет ничего общего, кроме идеи протеста. А что есть протест? Протест против тоталитаризма и против кооперативных туалетов — это одно и то же? Протест против войны во Вьетнаме с самого ее начала и протест против афганской кампании спустя год после вывода войск плюс гласность минус КГБ и психушка — одно и то же?..

— А музыка? — спросите вы. — Музыка?! — переспрошу я язвительно. — Ну... гитарные записи, овердрайв, просто драйв — откуда все пришло?

Конечно, конечно же, с Запада. Больше скажу: самая электрогитара была изобретена Лесом Поллом, вряд ли русским. Не говоря уже об усилительной аппаратуре, клавишах и т. п. Но имеет ли это прямое отношение к року? Очевидно, такое же, как флейта Дюши Романова или баян Феди Чистякова. Симпатичные корни! Руководствуясь такой логикой, американцы убедительно доказали, что мелодия ламбады имеет чисто русский генезис. Так что инструментарий лучше руками не трогать.

Считается, что русский рок в музыкальном отношении становится самостоятельным тогда, когда уходит от западной, блюзовой основы, от самого англо-американского ва-

рианта рок-н-ролла, приверженцами которого, по словам Шевчука, являются у нас многие. Немалая часть команд, таким образом, сразу «отсекается». Что остается? Гениальнейшее изобретение — русский блюз (вслед за р. чаем, р. рулеткой etc.), он же блатной. Сиречь пресловутые три аккорда — тоника, субдоминанта, доминанта, помнящие еще бала-лайку, — на каковых отдельным товарищам и удалось вырастить в буквальном смысле субкультуру. Особенного противодействия не наблюдалось — рок шел от текста. Немногочисленные попытки отойти от стереотипа приводят либо к заимствованию саунда (попробуйте проследить ось «КИНО» — «CURE»), либо к более масштабному осеменению родимого субстрата непривычной для русского уха мелодикой — скажем, кельтской (вы уже понимаете, о ком я) или азиатской, хотя Азия сама по себе музыкальный океан; но у нас как? — повысил IV ступень, понизил III и VI — вот тебе и Восток, дело тонкое. Уход в джаз или симфонизм расценивается как ренегатство — с этой точки зрения российский «Пинк Флойд» как рок-группа невозможен. Возможен Андрей Мисин, на мой взгляд, наивысшее достижение советской музыки последнего десятилетия наряду с А. Г. Шнитке; возможны «Джунгли», возможен «Несчастный случай»... Но спросим у фаната «Алисы»: а рок ли это? Эмпирически 90 против 10 не в нашу пользу. В чью же?..

Наиболее аутентичной, что ли, в русском роке является волна, пошедшая от фольклора и достигшая определенного пика, — то, что я определяю для себя как башлачевское направление. Александр Башлачев — явление самобытное до уникальности; мысль эта стала общим местом. Но самобытность никогда не скупается по рамкам, даже если это рамки самого рока. Чисто русская поэзия, положенная на русские распевы и доведенная авторским исполнением до кровотокающей экспрессии, — вот что подразумевается под этим направлением. И вот в русский рок как нечто цельное вливается собственно русский рок как подраздел, причем отчетливо противоречащий целому (хотя бы по уровню текстов, но об этом ниже)!

Это был откровенно эклектический акт. Рок сигнализировал о переполнении. Но сигнализация вроде как не сработала. Зато сработал треклятый закон единства и борьбы противоположностей. После этого развитие рока пошло по совершенно непредсказуемому пути. Отчетливо оформились два крыла: оба считали как себя, так и друг друга роковыми. Почти стерлась грань между акустической и электрической музыкой — рок стал бифункциональным. После того, как красно-черный Кинчев в перерывах между «Мы вместе!» написал «Думы мои в сумерки», осталось лишь произнести: «Умом Россию не понять...». Зато просматривалось другое — путь к закату русского рока как национальной культуры открыт и благословен.

Самое печальное, что слушателем в полной мере не востребована та самая часть рок-культуры, что обособленно претендовала на самобытность и интеллект. Сработала десятилетняя инерция. Экспресс-опрос: что есть советский рок? Ответ: «Аквариум», «Кино», «Алиса», «ДДТ», «Наутилус Помпилиус». Где Башлачев? Где «Калинов мост»? Где команды, пошедшие в известной степени на восточно-западные соглашения, но не утратившие при этом ни грана таланта? Видимо, там же, «где та молодая шпана, что сотрет нас с лица Земли» (БГ). Во втором-третьем эшелоне. В стольпинском вагоне. Для нашего рока это оказалось слишком поэтично. Как бы ни ерепенились фаны, потрясая патлами, все же подсознательно ощущался ими этот парадокс — русский рок с русскими стихами и русской музыкой? А как это?!

Подытоживая рассуждения о музыкальных мытарствах рока, возьму на себя очередной грех заявить: вся наша рок-музыка по интонации полностью раскладывается на три графы-аккорда:

1. Присутствие. Вы такие вот крутые — и мы тоже, разве что на сцене. Вы играть не умеете — и мы, в общем-то тоже. Но хотим. А вы тяните к нам свои руки — и мы поймем, что вам нравится. И сыграем еще круче. Может быть.

Главным образом — панк. До определенного момента я относил сюда же «Алису».

2. Проповедничество. А вот что мы знаем и до вас доносим. Это, конечно, не мы придумали. Но это и не важно. Главное, что мы в это верим.

Харе Кришна!

Ставка на чужой интеллект при условии верного ему служения; но путь благородный. Не исключается судьба Иисуса Христа или «сантанизм» в англо-индийском варианте. «Кино», «ДДТ», «МВ», «СВ», отчасти «Калинов мост», все «аквариумисты» и металлические группы.

3. Самовыражение. Не понимаете — и фиг с вами. Другие поймут. И другие — находятся, правда, в не столь больших количествах, но много и не надо.

Элитарный путь от авангарда до вершин. Но дошедший до вершин попадает во всемирные святыни, а с собственными Невтонами и Ллойд-Уэбберами у нас в отечестве ой не густо. Коль и появится кто — эпигоны с удовольствием задуют. С «НП» так и получилось. Отнесу сюда и «Ноль», и «Вежливый отказ», и «Аукцион». Но очевидно, что самовыражение наших групп весьма болезненно реагирует на конструктивную критику с Запада, перманентно ожидающего от нас чего-то загадочно-русского. А мы ему адаптированную англо-английское. Историю с «Рэйдено Сайленс» вообще вспоминать не хочется. Проповедничество за самовыражение не выдашь — розгами побьют.

Об отделении рок-поэзии в самостоятельный литературный жанр у нас поговаривают года так с 86-го.

Однако никто не объяснил, что такой считать — стихи ли, писанные с позиций рок-эстетики, произведения ли, созданные рокменами «в свободное время», или все тексты вообще? — здесь текстовая лажа становится с каждым разом все заметнее. Поэтому в альбомы входит далеко не все из концертного. И, конечно, высший пилотаж — это когда рок-текст читается с листа, да еще и набранный типографским шрифтом. Настоящих Поэтов от рока у нас в стране можно перечесть по пальцам, но так, видимо, и должно быть. На мой взгляд, это Б. Б. Гребенщиков, А. Башлачев, с натяжкой И. Кормильцев. Лично я в этот список включаю на равных нижегородца Евгения Латышева, не дожидаясь, пока «время покажет», но это отдельная тема. Пока же в целом наш рок с литературой на ножах, и мне видится, что это не есть хорошо.

Презираемый за сны Веры Павловны Н. Г. Чернышевский походя дал классификацию, не совсем лишнюю смысла. У литературы три функции, сказал он: отражение, осмысление и вынесение приговора. Забавы ради я попробовал раскидать тексты наших дорогих туда и сюда, и что же получилось? Чуть ли не половина команд с ходу попала в первую графу, «отражая» болезнь большой литературы — сугубую описательность. Не знаю, какой рокмен из Юрия Лозы, видимо, никакой, но мне тут сразу вспомнилась песенка про пиво свежего розлива... Будь это панковское фотографирование дерьма на каждом углу или рафинированное «капли дождя на лицах прохожих, как слезы» — все это отражение, которое становится конструктивным, лишь диалектически перерастая в осмысление. Этой стилистике отводится примерно четверть общего объема. Направление, как мне кажется, наиболее плодотворное при наличии маленькой детали — собственной философской базы. У БГ она есть, безусловно была у Башлачева, в каком-то странном виде присутствует у Кинчева. Все остальное в большей или меньшей степени вторично. Но вторичность с успехом преодолевается рывком в новое состояние — вынесение приговора. Миссия трудная, весьма деликатная, подчас неприятная — вот идете вы по улице, и вдруг прямо на вас: «Твой папа — фашист! Не смотри на меня так!! Я знаю — красивый фашист!!!» Немудрено, что во Франции пала — должность государственная. У нас же всякий волен смешать «совок» с этим самым, не задумываясь, что он и есть родное дитя этой системы. Когда Вертинский устами Гребенщикова говорит о бездарной стране, где «даже славные подвиги — только ступени», — это неизмеримо больше и вместе с тем... рок, черт побери, рок конца восьмидесятых. Ведь литературный вопрос, как никакой, упирается в проблему духовности. Когда Великому Пролетарскому Горькому в 1932 году сказали, что в нашей стране самое большое число пишущих людей, тот неожиданно ответил,

что это всего-навсего показатель низкого культурного уровня народа. Господи, что же происходит сегодня?!

...Есть на Западе течение самоубийчающегося искусства. Покупаешь картину, а через неделю изображение невесты куда исчезает. Или едет механическое чудо и плющит само себя молотками, пока не прикончит управляющий механизм. А можете представить бутерброд, который сам себя съедает? Не мучайтесь. Это наше рок-движение. Хотя оно вовсе не всегда было таким. Поначалу тусовку составляли сами музыканты плюс «врубающиеся», чьи внутренние установки совпадали. По мере расширения числа первых и вторых размывалось понятие единомышленничества, в рок-сферу ринулись «интересующиеся» — попросту левые люди. Количество, естественно, переросло в качество, тусовка подменила собой идейный ориентир в очень многих случаях. Рок коммерциализировался. Самое неприятное, что коммерциализация эта шла в параллель с худшими традициями столь ненавистой эстрады. Доски музыкальных объявлений и поныне песят предположениями создать поп-группу типа «Мираж». Доселе я знал только истребитель такого типа. Но, услышав однажды коломенское «АДО», понял, что группа «типа «Аквариум», как говорится, осязаемая реальность. Появились и «команды» в футбольно-депутатском смысле — группы, готовые съездить «то, что надо», и фаны, «въезжающие» во все, что бы ни исполнил кумир. Интеграция таких «команд» и привела к социальному явлению Тусовки — Общества Заявляющих хвосты, Затаривающих пивом, Проскальзывающих без билета и лишь после этого лениво интересующихся, кто сегодня «лабают». Завоевать у Тусовки успех, как и лишиться его, крайне легко и тем более тошнотворно, когда люди, считающие себя борцами за духовную свободу, заигрывают с «массой», не проникая в тайну личного восприятия. Очень и очень многим в этом мире нужно знать, что они не гении, конечно, но все же в доску свои ребята, и очень и очень жаль, что плацдармом для борьбы со своими комплексами они избирают рок — жанр новаторский, синкретичный, эмоциональный и гибнущий от рук дилетантов...

Умер ли он, возродится ли вместе с обновленным обществом, останется ли священной короной тинзиджеров — трудно сказать, особенно сейчас. По Солженицыну, у нас третье Смутное время после XVII века и 17-го года. И если кто-то еще всерьез думает, что мы догоняем Америку, пусть обломается — мы догоним Римскую империю периода упадка. Ясно одно: современное состояние молодежной культуры заграничного духовного чуда не обещает. И если до конца света действительно осталось девять лет, вряд ли стоит тратить их на выбивание плохо зарифмованного собственного приговора в камне — «IN ROCK»...

Наташу Корсакову можно не только послушать, но и, например, увидеть по телевизору. О ней говорят по-разному. Многие восхищаются, другие осуждают. Фамилия на слуху у всех: отца все знали, о дочери слышали — «После смерти своего знаменитого отца 18-летняя скрипачка Наталья Корсакова, дипломант международных конкурсов, возглавила камерный оркестр «Концертино», которым руководил народный артист РСФСР Андрей Корсаков...»

Вопросу, считает ли она себя звездой, удивилась.

— Наверное, это здорово, что обо мне слышат. Мне хочется, чтобы как можно больше людей любили музыку. А я буду играть для них.

Я спрашиваю, нравится ли ей, что о ней часто спорят люди, музыку не совсем знающие. Она пожмает плечами: как можно не любить музыку? О чем она мечтает? О мире. Чтобы все было спокойно и по-доброму...

— Конечно, ведь этому меня научил отец... (У меня не хватало мужества заговорить об этом. — Е. И.) Занималась я самостоятельно, раз в неделю папа прослушивал меня. Зато какие это были уроки! Бывало, мы спорили, но потом я пробовала разные варианты и приходила к выводу, что он все-таки прав. Он никогда не говорил мне, нравится ли ему, как играю. И не хвалил, и не ругал особенно. Просто предлагал другие трактовки. Только однажды мама рассказала мне, что папа по секрету сказал ей: я играла лучше, чем он мог мечтать. Мне эти слова до сих пор помогают. Какой он был учитель!

— Почему ты решила играть программу отца?

— Продолжить... Продолжить его дело. У него было много идей, оставшихся неосуществленными. Они должны звучать, их должны слышать. О них нельзя забыть, ведь в них живет папа. Его оркестр — удивительный оркестр.

Наташе всего 18, и она принадлежит к тому поколению, в котором мы с ней живем. Но рассматривать ее как песчинку очень трудно, потому что сама она есть целое, есть личность.

— У меня очень много друзей, и я знаю, что мы можем что-то сделать и вместе, и по отдельности. Но я не могу говорить за все поколение.

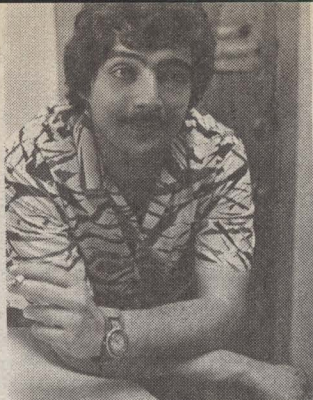
— Есть ли оно?

— Конечно! Только оно разное... Мы, наверно, принадлежим к интеллигенции. И я — часть ее.

Верит ли она во что-нибудь?

— В добро. Я много езжу и очень люблю Германию, потому что там люди улыбаются. Я верю в улыбку и добро. Религия? Это тоже добро...

Екатерина ИРКАЕВА



Эпохалка

Дмитрий БЫКОВ



(Отрывок)

...После того как в 1995 году еженедельник «Уголек» провозгласил меня певцом упадка русской литературы, я не устаю повторять: полноте, господа! О каком упадке речь? Разумеется, «Литературная газета» давно посвящает литературе, как таковой, половину последней страницы, тиражи поэтических сборников упали до 300 экземпляров, тиражи прозы худо-бедно возросли до 500, а созданный в 1991 году «Союз независимых писателей» давно раскололся на Союз Независимых и Союз Независимых от Независимых. Но это не повод провозглашать эпоху упадка, которую я якобы воспеваю. Посмотрите на уровень журнальной прозы: напечатан наконец всю прозу русского серебряного века, журнал «Юность» перешел на публикацию «Войны и мира», которая тянется с 1995 года вот уже четырнадцать номеров, «Пионер» публикует «Муму» с постраничным комментарием, а «Иностранная литература», разделившись с зарубежной классикой XX века, печатает Бальзака. При всей своей придирчивости я не могу не признать, что несколько тяжеловесный «Отец Горио» все же принадлежит к удачам французского романиста, а «Война и мир», несмотря на композиционную несбалансированность и исторические вольности, окажет несомненное влияние на нашу прозу. Остается лишь пожалеть, что названные журналы стали уделять меньше внимания молодой литературе: так, от «Нового мира» давно ожидают публикаций Глеба Успенского.

Что до современной литературной ситуации, здесь я замечаю несомненные положительные сдвиги. В своей статье «Взгляд на русскую литературу 1996 года», попавшей под перекрестный огонь «Сотрапезника» и «Гуманитарной фронды», я говорил о явном оживлении российских писателей. Большинство из них, правда, до сих пор не может поделить несколько грамот «Защитнику Белого

дома в августе 1991-го», но некоторые пишут! И сегодня, наконец, я решаюсь позабыть о раздорах отечественных литераторов и обратиться к собственно текстам, которых за последний год прибавилось.

В поэзии прежде всего обращают на себя молодые авторы, объединившиеся в группу метаиспражнителей...

Недавно вышедшая антология русской эротической поэзии дает не меньше пищи для размышлений.

О, что ты смотришь, как баран
На новые ворота,
На стенобитный мой таран,
Что бьет в твои ворота?!

Далее таран сравнивается также с форвардом. Такую поэзию я назвал бы эвфемистической. Женская лирика, вошедшая в антологию, при таком же богатстве ритмов и многообразии эвфемизмов отличается вдобавок философичностью. Поэтессы демонстрируют редкую по нынешним временам филологическую подкованность:

Когда в меня ты входил, как река
Впадает в море; как в открытый слух —
строка Гомера; как в контекст

культурный —

стихи обэриута; о, тогда
я понимаю вевского шамана!..

Это лишь фрагмент из тридцатистраничной поэмы «Коитус логоса» молодой поэтессы Ольги Кукшиной.

Подчас задумаясь: в каком мире существуют эти поэты? Но тут же ловишь себя на мысли о творческой свободе, о том, что более семидесяти лет поэта силком ввергали в стихию вечности и социальности, — теперь он может передохнуть в логове собственного «я». Тем более что вновь появившийся сборник «Записки сумасшедшего охотника из подполья мертвого дома» позволяет заговорить о социальной лирике. Группа поэтов, которая скрывается в подполье с середины семидесятих годов, поныне не желает из него выходить. Недоброжелатели объясняют это тем, что на свету недостатки виднее, а самоценность подпольности отходит на второй план. Но поэт, возражу я, сам волен творить себе среду. Если он хочет творить взаперти, предполагая над собою несвободу, цензурный гнет и вкусовщину, ему никто не вправе мешать. Тем более, что главным остается качество текстов:

Миша Миша-Рая Рая
Харе Кришна харе харе

Сколько неподдельного, искреннего чувства в таких гневно-социальных стихах, например, в строках поэта Архипа Арбатского:

Моя жизнь ничем не согрета,
Из хибары пропал уют.
Затравили меня, Поэта,
И еды совсем не дают.

Великое множество литературных групп, расплодившихся в последние годы, подтверждает ренессансность нашего времени. Грех не сказать о мануальных куртуазистах, независимо от времени года и социальной ситуации варьирующих темы обладания, заигрывания, кокетства, отказа и долгожданного согласия. Впрочем,

этих поэтов по крайней мере отличаются легкая ирония и прекрасное владение формами, будь то форма венка сонетов или иные, более округлые формы. Их куртуазность не чужается мануальности, заметил М. Пштейн, и с ним трудно не согласиться.

Поэзия в наше время, увы, стала достоянием немногочисленных, но истинных любителей. Иное дело проза: она всегда на передовом крае общественного сознания, как туманно, но сильно выразился недавно лидер Союза Независимых от Независимых. И в самом деле, здесь поистине зеркало нашей жизни. Несомненно, коммерциализация всех сфер бытия наложила свой отпечаток и на прозу: мы долго ожидали героя, который заменил бы нам Джеймса Бонда, и дождалась его. На прилавках книжных лавочек появились книжки, повествующие о приключениях отважного супермена-кооператора Василия Бамбулы, который сражается с шайкой коммунистов-подпольщиков. В одном из последних шедевров серии, «Бамбула против Дракулы», появляется даже известный элемент мистики. Дракула — клычка коммуниста-вампира, который, скрываясь в лесах Сибири, иногда выходит в города, чтобы со своими беспримерно жестокими спутниками поджечь здание фондовой биржи или киоск одинокого кооператора. Бамбула и его верная подруга, жрица рынка, валютная путана Василиса, прокрадываются в стан врага. В момент, когда Василиса обольщает Дракулу, он внезапно вонзает свои клыки в шею девушки... Впрочем, этот эпизод, ради демонстрации стилистического своеобразия стоит процитировать:

«Василиса медленно-стянула с белых, стройных, как сосны, ног черные ажурные колготы. Дракула замер, пораженный ароматом и бархатистой нежностью ее кожи. Василиса лукаво глядела на коммуниста, полукрыв влажный рот и слегка приподнявшись на ложе из лапника. Потеряв остатки самообладания, бандит бросился к девушке и сжал заскорузлой пятерней нежную грудь с набухшим, потемневшим соском. В следующий миг он припал к сверкающей шее Василисы и вонзил в нее желтые прокуренные клыки...»

Как вы догадываетесь, дорогой читатель, в эту секунду на крышу землянки прыгнул Бамбула. Впрочем, он тут же схвачен стражей, которая пыталась его с истинно коммунистической скрупулезностью: бьет, душит, топчет, заставляет даже конспектировать «Материализм и эмпириокритицизм», но Бамбула, разумеется, не только бежит сам, но и спасает Василису с помощью верного пса Брокера.

Многие призывают не говорить всерьез об этой литературе, как и о «Тайном дневнике Николая I», как и о «Похождениях боярыни Сидоровой» — этой русской Анжелики... Увы, читатель! Все это — не просто рыночные поделки, но лишь воспроизведение на дилетантском, базарном уровне основных коллизий так называемой «серьезной прозы». Разве искания старшекласника Коз-

лова из повести Ю. Тюткина «Каникулы Петьки Козлова» столь принципиально отличаются от походов Дракулы? Знающий женщин с третьего класса, поклонник Кьеркегора и Шварценеггера, Петр Козлов находит себя на фондовой бирже, как прежде нашел бы на заводе. Роман сторонника социалистического выбора А. Прохарчина «Кабул в центре Москвы» — о быте рядового состава Вооруженных Сил, о доблестных офицерах Советской Армии — переполнен прямыми призывами к вооруженному восстанию, хотя писан языком, пожалуй, не уступающим стилистике «Бамбулы». Не говорю уже о повести некоего Максима Несладкого «Человек партии» — о том, как мать коммуниста-подпольщика общается к его подрывной деятельности. «Очень современной книгой» назвал эту повесть вождь коммунистов в эмиграции Иван Ползунов.

Все это, впрочем, та литература, о которой действительно не стоило бы говорить всерьез, будь у нее альтернатива. Но, помилуйте, можно ли без надежды на денежное вознаграждение дочитать интеллектуальный роман Е. Чебуткина «Либи́до», повествующий о духовных исканиях современного горожанина? Герой романа, литературный и театралный, а точнее, окололитературный и квазитheaterный критик, делит свой бесконечный досуг между чтением западных философов, довольно тривиальными размышлениями над Фроммом (большую часть почерпнутыми из недавнего учебника «Западная философия XX века») и вялыми соитиями с интеллектуалками. Стилистика романа представляет собою странную смесь из недавно прочитанного Джойса и плохо забытого Пруста. «Вкус ее секреты во рту... Помнишь, на сорок пятой странице последнего издания «Дублинцев»? Там несколько иначе, но похоже... А у Фромма об этом же: «Иметь или быть...» Что же мне выбрать? И есть ли я, когда имею тебя? Ты слышишь? — Виктория не отвечала, затягиваясь длинной сигаретой, которую изящно держала холодными, холеными пальцами. Наутро она ушла, оставив записку по-датски. То была цитата из «Дневника обольстителя». Впрочем, она, как всегда, переврала несколько слов. Никогда не понимала экзистенциализма!»

Не вполне понятно, чем питаются, как живут эти герои, блуждающие среди разрозненных цитат. Их бледные тени переходят из романа в роман, из текста в текст, несколько оживляясь и наполняясь живой кровью лишь на страницах женской прозы. Так, тема одной из последних повестей — сексуальные комплексы сорокапятилетней интеллектуалки, проводящей отпуск в мужском монастыре, в горах. Беседуя с монахами, она тщетно пытается сублимировать... но что именно, я не берусь определить. Действительность присутствует в такой прозе лишь как знак чуждого, холодного мира. Сублимация, медитация, интеллектуальная мастурбация не оставляют ге-

роям времени для контакта с миром.

Есть, однако, и другая проза — так называемая «новая». Главная ее задача — снятие табу, срывание всех и всяческих масок. После Виктора Эротеева табу осталось не так много, но «новая проза» сорвала и эти, последние. Что будут делать «сверхновые», уже заявившие о своем существовании, но не издавшие пока ни строки? «Новые» уже побили все рекорды чернушности. Ограничусь пересказом повести Б. Заборнова «Рвота». Переключая с «Тошнотой» Сартра ощущается главным образом в названии. Сюжет: центральный герой, не нашедший себя в окружающем мире и экзистенциально одинокий, живет на свалке, питаясь отбросами: осклизлой, в приставших волосах, яичной скорлупой, зеленоватой гнилью, заплесневелыми сухарями... (автор заявил в недавнем интервью, что это метафора цивилизации).

К повестям и рассказам предыдущего десятилетия — «Сделай мне больно», «Утопи мою голову» — добавился ряд глубоких исследований садо-мазохистских комплексов: «Поставь мне клизму», «Отрежь мне уши», «Кусай меня страстно».

До известной степени особняком стоят повести и романы прозаика и публициста А. Истери́кова, для которого характерна своеобразная, проникутая высоким пафосом стилистика.

Я ограничусь лишь упоминанием стилистического феномена, а не оценкой его. Вот пример из последнего романа Истери́кова: «Спал, макая губы в теплый ручеек сна, бегущий, как ящерица, среди лесистых, как небытие, холмов, похожих на макушки великана, шагающего через головы бодрствующих и спящих, спать, спать, теперь можно спать, выгнувшись спиной, пустой, как голова мудреца, расслабив мышцы, усталые, как душа путника, спать, ты спишь, ты слышишь меня?»

Таким образом, сегодня, к концу 1996 года, интеллектуальность и занимательность вошли в нашей литературе в такое же противоречие-клинч, как в кинематографе конца восьмидесятых — начала девяностых. Речь здесь, естественно, не заходит о прозе русского зарубежья, хотя толкования ее здесь, на Родине, явно противоречат не только самому духу комментируемых авторов, но и здравому смыслу. Так, сборник статей П. Помарчука «Как нам не расстроить мессию? (путеводитель)» явно не может быть отнесен к лучшим публикациям 1995 года...

Итак, псевдорелигиозность, модный оккультизм, стилистические фиоритур, коммерциализация, погоня за читателем — любой ценой... Эпатаж, привнесший еще в конце семидесятых; безграмотность и дешевка; вторичность и спекулятивность... да полноте! Неужели и впрямь, желая пропеть гимн отечественной словесности, я вновь впадаю в неприличные крайности! Ведь написан уже «Август» В. Каминского, «Карабахская ночь» И. Львова, «Зеленая карета» и «Вектор» Г. Бородинцева, «Плюшка» Э. Курмангалиева, «Тем-

ная ночь» И. Бушелевича... Мы прочли, наконец, книги, в 80-х годах безвыходно лежавшие в столе. — «Подворотню» С. Волович, «Дверь туда» Н. Пудышева... Дождались публикации поэты-восьмидесятники, половина которых, конечно, спилась или перешла на другие заработки, но половина дождалась выхода в прошлом году трехтомника «Голос минувшего», где я с радостью нашел и свои полузабытые опусы... Нет, не их запоздалой публикацией вызвана моя теперешняя желчность. Это слабые, старые вещи. И не в том дело, что мне, как и большинству поэтов, давно приходится зарабатывать чем попало — от публицистики до педагогики. Но я не могу понять: или и впрямь условность в литературе выродилась в бред, комизм — в фарс, трагизм — в рвотное? Или нужно так уродливо изукрасить себя, чтобы тебя наконец заметили? Чтобы твои писания предположи двухтомной автобиографии Германа Ф. Стерлингова: «Я сам» и «Алиса в стране дураков»?

Неужели трагедия бытия и его прелесть перестают существовать для авторов, которые озабочены только тем, чтобы любой ценой удивить и напугать читателя? Ведь даже эпатуя его, даже делая вид, что он их не волнует, — только о нем, голубчике, думают они — все до единого. И А. Сокурсава, снявший только что «Труп второй», думает о зрителе и просчитывает его реакцию. И В. Княрбикова, выдавая на-гора очередной шедевр своей гинекологической прозы (о том, как девушка по имени Иван скакала верхом на юноше по имени Петррр, а потом они сделали наоборот), думает только о читателе, хотя и наскучивает ему через три страницы. Что уж говорить о поэте, сидящем в подполье только потому, что вне подполья духовная нищета очевидней очевидного...

Подлинная свобода литературы, все больше убеждаюсь я, возможна только там и тогда, где и когда...

(На этом рукопись обрывается.)

Степан ФИЛИПPOB

Стелого мне
Невесело жить

Из дневников молодого человека

Сам он рассказывает о своем прошлом информатора без стеснения и к предложению редакции спрятаться за псевдонимом отнесся иронически. Когда в 31-м получил повестку, склонили к сотрудничеству в комнате домоуправления и взяли подписку, ему было семнадцать. Он утверждает, что каждый четвертый его сверстник был осведомителем Лубянки, а коммуналки потому и «вошли в моду», чтобы на каждую приходилось по сексоту.

И все же мы изменили имя автора дневника. Нам хочется думать, что и его приход в архив с этим дневником и черновиками доносов, и его появление на архивной выставке в качестве гида у стенда собственных документов — факты покаяния.

Надо знать, что отец его раскулачен в 29-м и выслан с Киевицны в Архангельск, а мать и сам он почти чудом избежали крестьянской участи, уехав из родных мест и скрыв происхождение. Но мать в 37-м, а сын в 39-м (записи этих лет остались за пределами нашей публикации) все-таки попадут в ГУЛАГ.

Мы решили не исправлять долитературную фактуру языка и стилистики записей (не из подобного ли хаоса извлекал свои перлы Платонов?). В тексте доносов сохранена и орфография подлинника.

Центр документации «Народный архив», любезно предоставивший нам этот материал, — независимая общественная организация. Архив принимает на хранение документы рядовых граждан и этим отличается, по замыслу своих создателей — преподавателей и студентов Историко-архивного института, от наших государственных архивов, с их неоправданно жесткими критериями отбора и приемки документов. Мы благодарим сотрудников «Народного архива» Т. Прокопову, А. Каминскую, Е. Дюдину за помощь и участие.

1 августа 1932 года. — ...Каждый раз, когда я увижу поэта, писателя или вообще какого-нибудь «крупного» человека, я приглядываюсь к их лбу, голове. Не похож ли мой лоб случайно на такого-то типа? Смешно, но так получается. Сколько наблюдал, не встречал ни одного. Все с круглыми и большими лбами, вроде

волоса у них лезут на лбу, а у меня квадратный и — черт возьми! вдобавок, как у старца, с морщинами. Но несмотря на мое такое на вид физическое несчастье (несходство), я замечаю, что я все-таки преимущественно выделяюсь, развитей и лучше, среди таких же, как и сам, т. е. равных по годам. Я боюсь, избегаю встречи, разговора с тем человеком, которого я не изучил и которого я считаю выше себя. Напр. агитбригадников (не всех), Плейсера.

26 августа. — Еще в 1929 году, когда продолжалась моя мирная однообразная жизнь; когда в мою судьбу не вмешивались никакие ни внешние, ни внутренние силы; когда мой кругозор был очень и очень невелик... Ну вот. В один прекрасный (может быть несчастный! Может быть случайный!) день вышло совпадение. Нам ворожила цыганка. Угадала, как говорит мама, очень много справедливостей из прошлого и предсказала, что будет впереди. Конечно, я не буду вдаваться в подробности. Но произошло так, что она (цыганка) угадала, что у мамы есть сын, как меня зовут, сколько лет. И предсказала, как говорит мама, что я стремлюсь к учебе (что действительно меткая правда), что у меня есть очень большой талант и громадное счастье. Даже развела такую философию, что пожелала, чтобы ее дочь, которая в то время была немного старше меня, тоже учащаяся, имела хоть долю такого счастья, как я. И главное, предсказала то, что я буду инженером.

Так как все окружающие верили в такие недействительности; так как за исключением разве школьных заданий, я не читал ничего остального; так как повседневно приходилось наслаживаться громадину разных легенд — то несомненно, что я в свою будущность поверил. И поверил глубоко. Круг моих воспитанников, иначе говоря общества, был отстал. Конечно, что и мне приходилось быть таким же, хоть острее их. Инженер — это высшая форма человеческой учебы и развития была в нашем представлении. Других мы не знали. У нас было только света, что в окне.

Мысль об инженере была идеальной мыслью тех времен не только у меня. Эта мысль не покидала меня до 1932 года. Остаточная она перестала быть идеальной в конце 31 и начале 32 года. Но это не значит, что она не желанная.

После реконструкций моей жизни и обстановок филантропическое слово инженер начало угасать. Его вытеснило слово писатель. Слово, служившее с 1931 г. символом в моей жизни. И оставшееся идеалом и сейчас. Единственной была цель описать всю жизнь мою и моего поколения. Мою жизнь описать, начиная с прадеда. Она несомненно интересна. Эта мысль засела в недрах сердца и мозгов. Как у человека, сильно интересующегося политикой, у меня начала возникать и интересоваться другая мысль. Стать журналистом. Буду напрягать все силы, все возможности стать — если не первым, так вторым.

Из черновика доноса.
(Без даты. После 11/ХП — 32 г.)

«Ф. З. У. «Правда» *

Инструктор Захаров Михаил Иванович человек старой закалки. И свои старые взгляды он нередко прививает ученикам. Часто разводит разговор о трудностях. В таком тоне: при старом режиме было и качество хорошее, количества много и дешево все. Вообще старые сладкие воспоминания. Все это намеками, но даст такие понятия, что раньше было лучше чем теперь. Ученики его слушают и некоторые попадают под его влияние. Напр. Шпитонкова его любимчик раньше была более менее активная ученица теперь пассивная с остальными настроениями бывает так, что повторяет то, что говорил Захаров. Как-то Захаров говорил, что в Ширпотребе ничего нет и т. д. через некоторое время это же повторила Шпитонкова.

Буров — выпускник был лучшим комсомольцем цеха. Когда стал любимчиком Захарова зделался пассивным и тоже с отсталыми настроениями. Анисин в прошлом году и в начале этого года тоже был любимчиком Захарова.

Нада подчеркнуть, что у Захарова любимчики если не люди антисоветски настроенны то пассивные с отсталыми настроениями ученики. Захаров аккуратно ежедневно читает газеты. И о достижениях никогда даже не заикается, а о недостатках обязательно найдет удачный момент чтобы сказать.

О постановлении правительства о прогулах когда ученики говорили, что строго теперь начет прогулов он не сказал ни одного одобрительного слова, что постановление правильное и т. д.

Теперь о прошлом Захарова...

15 ноября. — Они терзают мою душу, отбивают руки от работы, угоняют мысли в бездну. По повестке завтра надо опять идти в ГПУ. Может быть, завтра покончится все, может быть, последний день моей деятельности. Я или сойду с ума, или приду к отчаянию.

17 ноября. — Вчера был в ГПУ у Еленского. С первого же его вопроса у меня все отлегло. «Ну, почему же нас забыли, почему не заходите...» Простой веселый парень, но... хи-итрый. Вызывали по старому вопросу «производства» **, а не то, что я еще предполагал.

Всю ночь с 15 на 16 мама и оком не сморгнула. Вещи связала в узелок, приготовилась. На другой день, когда я пошел, оделась в 5 юбок. Надела чего могла, взяла в руки чего могла и сколько могла. План такой. Если меня задержат, на ночь не приду, значит, она — дай боже ноги. Я паду, она хоть спасется.

* Фабрично-заводское училище издательства «Правда». — Ред.

** Т. е. касательно настроений и разговоров на производстве — в «Правде». — Ред.

27 ноября.— Дивные дела вокруг творятся. Настроение молодежи, политические взгляды неблагоприятны, есть отдельные даже открытые контрреволюционные выступления. На бюро, заседаниях много разбирается дел о ребятах, которые смеют свои политические взгляды сказать вслух. Выгоняют из комсомола, бьют выговорами, жмут из школ. Если не возьмутся высшие органы за воспитательную работу молодежи, плохо будет. Пойдет часть молодежи по другому пути. Воспитательная работа нужна не такая, какая ведется сейчас, не в такой форме, ее надо перевернуть в радикальный подход. Гудит, копошится волна людских изгословьев. Кучками и в одиночку. Усилены агентства ГПУ. Я тоже чаще начал туда заглядывать, оттого стало на душе спокойней. Втягиваюсь, привыкаю.

14 декабря.— Тяжелые минуты бывают, трудно переносить отдельные случаи. Сегодня кружководцу комсомольской политучебы задал вопрос, для чего существуют вожди, разговорился, дальше больше, и дал на себя подозрения. А потом какое narosло нехорошее чувство...

6 января 1933 года.— Мы сейчас в полном походе, все спаковали, решительно все, осталось лишь то, что одеть на себя надо... С дня на день ожидаем комиссии по переписи к выдаче паспортов. Если мы пройдем этот период благополучно, то еще поживем спокойно, но скорей всего попадем оба. Строгость невероятная, участвуют МУР и ГПУ, а с этими не пошутишь. Только чудо может спасти нас.

23 января.— Жить в таких условиях, как живу сейчас я, невероятно тяжело. Конечно, я имею в виду не условия материального содержания, как принято понимать при употреблении этого слова. А условия душевной внутренней жизни от окружающей среды словесной говорильни, политических деяний низов и будущие результаты этих деяний. Положение людей сейчас. Ежедневная тревога. Скучные тоскливые разговоры об одном и том же. Един вопрос: получишь паспорт? Ух, до чего противно описывать это все, когда это касается лично меня. Не могу. И не буду, представьте себе, даже злость, когда начинаю писать об этом. По нашему дому, только по одному нашему дому отняли 40 карточек. А факт, что у кого отняли карточки, значит, из Москвы фить к бабушке. Отбирают у бывших лишенцев, колхозников, убежавших из колхозов. Целые семьи остаются без куска хлеба. Мы к этим не принадлежим, и потому у нас не отобрали. Когда ходили по квартирам отбирать, семья, отдавая карточки, устраивала такую сцену, что мог выдержать только человек крепкий характером. Ругань мужчины, плач ребенка, завывание жены. И слезы, слезы, невинные слезы, сколько прольется вас. Около трехсот тысяч по одному Октябрьскому р-ну отобрано карточек. А по выселению из Москвы будет гораздо больше. Не жалею лишенцев, спекулянтов, пьяниц, воров, но за что должен страдать честный гражданин,

живущий мало в Москве. И жалко детей, они же невинные.

4 февраля.— ...В общем, сортировка-людечистика новейшей конструкции. Пропускает сквозь свои решета им нужных, а в числе мусора остаются люди с богатым прошлым. Теперь же во всю глубину разума стоит вопрос: каково ж? Мама плачет-поет, а я дипломатически спокоен. Только каждый такой преподносимый мне сюрприз делает меня осадистей, серьезней, задумчивей, отлагает в невидимом месте неизвестные слои петельных туманностей.

19 февраля.— Все улучшается, налаживается, но в один из мрачных дней позовут в чинно обставленный кабинет, покажут писульку с «и» кратким... «А!» — так закричит всё во все пасти. Почистят «портрет» в «Правдисте», и с барабанным боем кувыркуют на мостовую. А то еще лучше — за шиворот и в конверт.

23 декабря.— Недавно оформляя стенгазету, я остался с Митей Г-вым наедине. Он мне сказал несколько куплетов стихотворения, которое он составил под мотив «Коломбины». В этом стихотворении он показал еще раз себя как пессимистически настроенного субъекта, с мелкобуржуазными настроениями. Об этом можно еще судить добавочно по его произведениям, которые мне приходилось читать раньше.

Молодежь, или иначе говоря взгляды молодежи на жизнь, можно разбить на две разные группы. Одна группа, которая в большом почете у существующего строя, это казенные попугаи, зачастую не понимающие вообще ничего или в большинстве случаев просто делающие то, что им диктуют, и никогда не имеющие своего собственного мнения. Делающие все, что приказывают, без рассуждения. Эти люди мелко плавают в науке, и один из другого похожи, как бараны в стаде. Есть другая категория людей, более-менее, я бы сказал, либеральная, либеральная в том отношении, что находится, стоит и развивалась по другому пути, может быть, воспитания, ну, люди не шаблонных взглядов, передовые, что ли. Очень заметно, что категория этих людей глубже, развитей и способней, чем первая. Они делают все молча. На все смотрят критически, сказав слово, не оглядываются, если чувствуют, что это так, попусту говорить такое не будут. В смысле знаний чувствуется, что они знают не вообще, как первая категория, а глубины. Это глубокие люди. Тем, что они на жизнь смотрят ясными, не мутными глазами, не стесняются говорить правды в глаза, часто они числятся в списках «не наших» людей. Как их называют.

...Между прочим, я отвлекся. Начал о Митьке, а поплел черт знает куда. Ну вот, Митя относится ко второй категории людей, хотя он и не является ярким выразителем их настроения. В своем стихотворении он пишет: «Отчего мне невесело жить?» Скоро Новый год.

5 октября 1934 года.— Тайна семьи, тайна, которой я не доверял

самым близким людям, самым задушевным друзьям, наконец разгадана официальными органами.

Для меня это исторический момент, который должен войти в историю моей жизни как особый факт, как событие исключительно особой важности.

В течение почти 5-ти лет я жил нелегально. Как трудно психически переносить нелегальную жизнь. В 1930 г. приехал в Москву; устроив свое положение с документами, в Москве я был уже более свободен. Я имел одно только удостоверение личности, не хватало кое-чего многого. Под маркой рабочего, хилого, убогого, бедного, я жил почти 2 года. Через биржу устроился в школу ФЗУ, проучился 2 года. По окончании получил квалификацию наладчика 3-го разряда.

Трудная жизнь была на 20-ти рублях в месяц. Перенес много горя, много лишений, ежедневно голодал, ходил оборванный. Психически был запуганный зверек. Боялся ступить шаг, не продумав его с политической точки зрения и осторожности. Ежедневно, ежечасно в разговоре с людьми боишься, чтобы не сказать лишнего слова. Вся жизнь построена на вымысле. Нужно говорить одному и помнить, что говоришь, чтобы в следующий раз этот разговор с другим повторить с мельчайшей точностью. Нужно помнить, что говорил в прошлом году, нужно помнить, что говорил вчера, как говорил, что говорил о себе, что говорил о родителях, что говорил о своих знакомых. Все это нужно говорить умело, красочно, правдиво, делать особое выражение лица, говорить хладнокровно, чтобы не дать подозрения. Сильно наблюдаю за людьми, наблюдаю за поведением ребят мне равных. Как они ведут себя в подобных случаях. Учусь копировать манеры. Применяюсь к жизни, как применяется к местности зверек, увидя врага. Все это нечеловечески трудно, убивает мою силу воли, самостоятельность. В то же время заставлял меня быть профессионально осторожным, наблюдательным. Трудности еще дополняются тем, что не с кем посоветоваться, кроме единственно мамы. Оторван от мира знакомых. Нет душевных друзей.

Еще учась в ФЗУ, начинаю работать информатором в ГПУ. Трудные моменты, особенно убивающие силу воли. Идешь на «свидание» и ожидаешь, что тебе скажут, почему скрыл свое прошлое, передадут дело на производство, выгонят, исключат, уничтожат.

Так тянулось до сегодняшнего дня. И наконец эти вопросы я услышал сегодня.

Не знаю почему, но я сильно не растерялся. Покраснел, ничего не отвечая, внимательно прислушиваясь. Много вопросов не задавали, больше укоряли, как я понял, зачем скрыл от них.

На все я ответил только одной фразой — цыпленок тоже хочет жить.

Весь разговор длился не больше 10 м. в присутствии моего начальни-

ка и начальника моего начальника. Вся мягкость разговора их со мной обуславливается тем, что за последние дни, в частности сегодня, есть постановление правительства о людях таких, как я, где указано, что не могут быть лишены избирательных прав «члены семей лиц, лишенных избирательных прав, в тех случаях, когда они материально не зависят от этих лиц и источником своего существования имеют общественно полезный самостоятельный труд, а также дети лиц, лишенных избирательных прав, достигшие совершеннолетия в 1925 г. и последующие годы». Есть еще один пункт, не знаю который из них подойдет ко мне, в этом пункте говорится, что «дети высланных кулаков, как находящиеся в спецпоселках и местах ссылки, так и вне их, восстанавливаются правами по месту жительства».

Я очень доволен, что разгадка моего прошлого пришла после этого постановления, в противном случае мне бы грозило ужасное горе, в то время как теперь я могу побороться, имея официальное постановление.

Будь что будь, а хуже смерти не быть.

15 октября. — Позавчера я опять был на очередной информации в так называемом, по-новому, Народном комиссариате Внутренних дел, по старому ГПУ. Шел с твердым решением поставить в упор вопрос о дальнейшем моем существовании, положении. В этот день была сильная спешка со стороны Старовойтова, решил, чтобы не скомкать серьезного дела, воспользоваться другим моментом. Такой момент был вчера. После разговора на «производственную» тему я поставил ему вопрос, как быть. Нужно уточнить мое положение. Я ему говорю, мучительно ждать чего-то неизвестного. Пусть будет развязка, какова бы она ни была, чтобы знать, какой стороны мне держаться, знать предел, знать что делать.

На это он мне ответил, оставим пока вопрос открытым.

Несмотря на мое такое неопределенное положение, когда мучительно ждать чего-то, я ни на одну йоту не подаю виду. Забываю о том, что, быть может, через несколько недель меня ожидает большое горе. Безусловно, пойдут толки, разговоры, шутканье. Друзья начнут сторониться, как сторонятся заразы, боясь заразиться самим. Другие скажут, а я это давно знал, я давно предполагала и видела, что он не из наших людей. О, это человек такой, за ним было замечено то-то и то-то. Толки, разговоры за спиной, осторожные расспросы близких, меня начнут тягать по разным бюро и собраниям, появится заметка в «Правдисте» «Выявлен классовый враг». На собраниях начнут прорабатывать, как умело применяется «враг» и нужно быть бдительным, бдительным и еще раз бдительным.

А дальше? Дальше безусловно одиночество, уход в себя, и, быть может, хуже — странствование по белому свету. Я ко всему готов. Очень хочется развязаться и не жить в посто-

янной тревоге. Весь век жить нелегально ужасно.

26 октября. — Вчера я был в НКВД. После информационной беседы меня позвали в кабинет начальника. Стараясь быть по возможности хладнокровней, я вошел, предварительно пройдя три комнаты, в кабинет. Налево диван, стол, усеянный письменными принадлежностями, за столом мужчина лет 30 на вид, свежий, энергичный. По правую руку у него столик с множеством телефонов разных систем. На столе с правой стороны неизвестная для чего кнопка. Все шикарно, серьезно.

Он быстро задал мне несколько вопросов, не давая мне много времени на размышление. Благодаря тому, что я удачно, умело и смело, остро и умно отвечал ему, он заинтересовался мною и взял меня под свое личное наблюдение. 31-го я должен явиться не к Старовойтову, а к нему лично — в кабинет. Сказал, чтобы я подумал обо всем слышанном мною от молодежи, подготовился и пришел к нему. Он пообещал, если я буду работать хорошо, все останется в секрете, в противном случае вплоть до высылки из Москвы.

Я очень доволен разговором с ним. Как-то очищаешь душу от каких-то помой. Все говоришь искренно, правдиво, в то время когда вся жизнь в другом месте ложь.

Даны основные установки в моей работе. О настроениях масс по поводу рев. движ. в Испании. Октябрьские торжества и разговоры. Не подготавливается ли покушение на Сталина. Об убийстве Барту и Александра*. Об оружии среди ребят. Велел написать заявление о признании своих ошибок. Между прочим, на столе у него лежало дело толщиною в 2 пальца, все обо мне. Удивляюсь, что они могли обо мне собирать. Скоро должна быть окончательная развязка.

Однажды ожидал его в коридоре. Один из работников ихних зашел в комнату другого и говорит, а мне через дверь все слышно: слушай, что, сына кулака мы можем держать у себя? А что, отвечает другой. У меня есть некий Калмыков, сын кулака. Нет, отвечает другой. А кулака? Кулака можем, почитай инструкцию. Судя по этому разговору ясно, что рано или поздно они со мной разделаются. К тому же сейчас, в предвыборной кампании, такой материал, как я, им для атаки как хлеб для человека нужен.

Посмотрел я на себя сегодня в зеркало. Самому страшно стало. Весь аж почернел. Лицо испортилось, появились прыщи, пятна. Зарос бородой. Посмотрел вовнутрь себя — сосредоточенный, серьезный.

Черновик информации

«Комбинат «Правда» им. Сталина 22/XII — 1934 г.

Как только в печати промелькнуло сообщение, что в убийстве Кирова причастна Зиновьевская оппозиция

* Король Югославии. — Ред.

молодежь заинтересовалась этим вопросом больше, чем взрослые рабочие.

В доказательство приведу несколько фактов.

В библиотеке в обеденный пере-рыв газеты, где что-нибудь пишут о зиновьевской группе спрашивают и читают больше всего молодые ребята и девчата, в то время когда взрослые рабочие не спрашивают совсем.

Затем 22/XII когда уже было опубликовано сообщение НКВД о причастности зиновьевской оппозиции к этому делу, на полит. занятиях в шк. среди групп 8 и 9, после того как руководитель кончил с разъяснением вопроса об отмене карточной системы и попросил задавать другие вопросы была просьба рассказать о зиновьевской оппозиции.

Когда руководитель начал говорить в группе водворилась мертвая тишина.

Все слушали с таким вниманием и напряжением с каким никогда не слушали ни одного из педагогов.

Разговоры вокруг этого вопроса все больше идут на тему причастен ли сам Зиновьев к этому делу и понесет ли он наказание.

Резких разговоров в положительную или отрицательную сторону не слышал все больше в форме обсуждения.

Комсомолец»

1 марта 1935 г. — Не обижайся, душа моя, <дневник>, что я не нахожу для тебя пиши, ведь в жизни встречается всякое, но я по-прежнему тебе верен, друг, так преданно верен, как не может быть верен ни один пес своему хозяину.

А затем, у меня сегодня какой-то особенный день. Во-первых, единственный выходной в течение ряда месяцев подряд, когда я не уходил из дому, правда, не совсем не уходил, уходил в магазин. А в магазин ходил я покупать костюм, так что у меня сегодня день праздничный. Правда, стыдно тебе, единственный верный друг дневник, признаться, что именно костюм меня сегодня больше всего тревожит. Но с ним связано так много серьезных вещей, что нельзя чтобы он меня не тревожил, и неудивительно. Во-первых, он стоит 310 рублей, во-вторых, он вроде бostonовый. А в-третьих, главное — деньги то на костюм мама взяла казенные, так что если ее в течение 3-х последующих дней спросят отчет, не возрадуется никто, в том числе и я, радостной обновке.

Купив сегодня костюм, я мечтаю, и вполне серьезно, обязательно приобрести шляпу. Буду ходить дипломатом, даже костюм дипломатический с круглыми бортами...

Только у нас в журнале "Юность" создается коммерческий центр "КНИЖНАЯ БИРЖА".

Лица и организации, желающие участвовать в торгах и пользоваться рекламной полосой журнала "ТОНОСТЬ", могут приобрести статус постоянного посетителя торгов, предполагающий право на 1/12 площади рекламной полосы.

ДВЕНАДЦАТЬ брокерских
мест продаются на
аукционных принципах.
Стартовая цена 30 тысяч
рублей. Продажная цена
определяется после
подведения итогов по
заявкам.

Заявки направлять по адресу:
101524, Москва К-6,
ул.Тверская, 32/1, редакция
журнала "ЮНОСТЬ". На
конверте обязательна
пометка "БИРЖА".

Уважаемые читатели !

"КНИЖНАЯ БИРЖА" будет работать
не только для коммерсантов и
бизнесменов. Она выгодна школьнику
и студенту, инженеру и слесарю,
врачу и пенсионеру, учителю и
домохозяйке !

Для вас на "КНИЖНОЙ БИРЖЕ" открыта брокерская контора, которая закупит нужные вам книги по вашим заявкам. Отметьте интересующий вас раздел и мы вышлем соответствующие каталоги.

Русская классика
Зарубежная классика
Фантастика
Приключения
Детская литература
Мемуары

"КНИЖНАЯ БИРЖА" "Юности" - это доступные цены, сэкономленное время и домашняя библиотека, которой будут завидовать все !

иной
БРИЖЕ".
БРИЖНОЙ
БНИЖУКИ
КРДРОВ
ТАЖА
ПРОТОВ
"КНИЖНОЙ
ТАЖА
ПРОТОВ

путем организации

- предоставление рекламных услуг

— регистрационные и
расчетные службы

Книжная биржа

КУДА Москва К-6,
у.Тверская,
редакция,
"ЮНОСТЬ", Журнала

КОМУ Коммерческий отдел
"Виржа",

101524



Илья АЛЕКСЕЕВ

В ПОИСКАХ ПОТЕРЯННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

информационную передачу нового типа. Передачу, ведущий которой рассказывал бы новости такими, какие они есть, а выражение своего личного отношения достигалось бы стилистической окраской, иронической полуулыбкой, интонацией, в крайнем случае одним словом...

Слушая Евгения, я вспоминал, что в первый раз был на Российском телевидении в июле, и тогда многие думали и говорили о передачах, свободных от идеологических пут. Мы видим свое призвание не в том, чтобы противостоять ЦТ и Кравченко, наша задача шире и благороднее — таким был общий пафос.

Многие зрители ожидали другого и такой позиции не приняли. В те дни отдел изучения общественного мнения на РТВ был завален обиженными письмами: ну что ж вы, ребята, не врежете Кравченко? Мы вас так ждали. Так надеялись, что вы появитесь и вспылите ему по первое число. Люди ожидали какого-то гигантского бесконечного шоу в эфире, сражения двух великих теледежуров, но оно не состоялось. «Вести» поднимали на щит Горбачева, а генеральный директор телерадиокомпании А. Г. Лысенко неоднократно повторял в своих интервью, что РТВ — не проельцинское, а «пророссийское» телевидение.

И внутри телекомпании об этом говорили буквально все. И все же мне тогда как-то не до конца верилось в эти хорошие слова. Точно и не скажешь, в чем заключался источник сомнений. Быть может, в самом единодушии, с которым люди, далекие друг от друга по всем другим позициям, утверждали, словно сговорившись, что никакого противостояния ЦТ нет и в помине. Как в детективе, когда персонаж с самым надежным алиби вызывает почему-то наибольшие подозрения.

А может быть, сложные ощущения вызывало само здание, в котором волею судьбы поместилась Всероссийская телерадиокомпания, здание, в котором раньше, при Сталине, находилась организация под названием «ГУЛАГстрой». Огромная мрачная административно-командная коробка, вполне вписывающаяся в жутковатый ландшафт улицы Правды, сформированной сооружениями такого же рода. Была во всей этой архитектуре какая-то безысходность, какое-то ощущение прочных железобетонных конструкций, которые еще долго будут определять структуру наших домов, наших дел и наших душ.

Я брал тогда интервью у Олега Добродеева, директора «Вестей». Олег на все вопросы отвечал сжато и импульсивно, в телеграфном стиле «Вестей», пока я не спросил его об особенностях операторской работы авторов телерепортажей, — у меня было ощущение, что она несколько иная, чем мы привыкли видеть.

— Я понимаю, о чем вы говорите. Дело в том, что сегодня нужно переосмысливать многое, перучиваться не только ведущим, корреспондентам, но и операторам. Долгое время наше телевидение, и особенно информационное телевидение, отвергало детали, потому что детали всегда говорят даже больше, чем текст, который сопровождает репортаж. За детали били. Я помню, как я сам получил первый нагоняй на телевидении за то, что в репортаж попала маковка церквушки с крестом. Существовали очень жесткие правила: церковь — только до маковки и не выше. Не рекомендовалось крупно снимать лица, не фиксировались жесты, не фиксировалось личностное начало человека. Особенно скрывались эмоции, которые можно было прочесть по выражению лица крупного политического деятеля, например, во время переговоров.

Таким образом утвердилась особая стилистика информационных съемок. Как бы раньше снимался репортаж о деятельности ОМОНа у нас? Это самый общий план, это машины, которые куда-то едут, потом машины, которые куда-то приехали, потом какие-то люди на общем плане, потом интервью. И как по стилистике отличаются здесь съемки западные: это обязательно крупно лицо, крупно кобура с револьвером, крупно наручники. У нас же всегда проходили довольно отстраненные картинки, на которые накладывался совершенно отстраненный текст. Вот почему наши информационные съемки непопулярны там, где существует рынок, скажем так, информационных сюжетов. Запретов уже нет, а стереотипы остались. А ведь можно снимать иначе, в каждом, самом протокольном событии выискивая характерные визуальные моменты, какие-то драматические повороты... Мне запомнилось в прошлом году, когда я был на встрече Коля и Горбачева в Ставрополе, то, как сняли наши операторы и немецкие операторы кабинет Горбачева. Немецкие операторы пытались схватить то, что говорило о привычках,

Из всех ведущих, работающих сегодня на Центральном и Российском телевидении, мне особенно импонирует Евгений Киселев. Это не значит, что плохи остальные. Просто образ, который он строит, манера держаться в кадре и подавать материал вызывают у меня симпатию — может, дело тут и в сходстве темпераментов.

Теории экранных имиджей у нас нет, телекритика лишь подступает к ее разработке. До недавнего времени ее не на чем было строить — ТВ не баловало нас разнообразием имиджей, манер, жестов, мимики и т. д. А такая фигура, как ведущий информационной передачи, просто отсутствовала в его системе. Не было самого жанра информации — ведь не принимать же за него программу «Время».

Но вот информационные программы стали появляться, как грибы после дождя, заполняя существующие пустоты и приобретая за счет этого неслыханную для передач такого рода популярность: «Утро» (ранее «120 минут», еще раньше «90 минут»), «600 секунд» (начинавшаяся как инфопрограмма), ТСН и, наконец, «Вести».

Мы любили молодых ведущих этих программ. «Ранний» Невзоров, Гурнов, Ростов и, конечно, Миткова — сколько всенародной любви досталось на их долю!

А потом появились «Вести», и сразу стало ясно, что в нашем информационном телевидении сложилась новая ситуация. Героический ореол первопроходцев информационной целины, который окружал ТСН-овцев, стал достоянием дня вчерашнего, романтическая первая любовь к телеведущим осталась в прошлом, и наш роман с ними перешел в иную стадию. Люди, которые делали «Вести», удивили нас своим нежеланием примерять на себя тогу мучеников и народных заступников, стремлением быть объективными и беспристрастными информаторами — и только.

Не все, конечно. Но общий дух передачи был таким. И вот этому-то духу больше всего соответствовал, на мой взгляд, стиль Евгения Киселева, который никогда не боялся остаться в тени предлагаемых фактов, никогда не вел ставшего уже привычным боя с тенью, не стремился блеснуть, связывать, ужалить воображаемого противника по ту сторону баррикад, выделиться яркой эскападой, что часто делали (и, признаем, подчас безуспешно) другие ведущие «Вестей». Об этом его стиле я и хотел с Киселевым поговорить. Но первое, что сказал мне Евгений, было:

— Я ухожу из «Вестей».

И продолжал:

— Я не хочу, чтобы мой уход с Российского телевидения был интерпретирован как предательство дела Ельцина и примкнувших к нему людей. Это не так. Я пришел сюда не для того, чтобы служить Ельцину или продвигать его в президенты и готовить августовскую революцию. Хотя объективно наша работа тому послужила. Противники Ельцина совершали огромное количество ошибок, эти ошибки становились событиями дня, и, рассказывая о них, мы, естественно, работали на него. Но хоть и считаю себя сторонником политики Ельцина, хоть я и голосовал за него на выборах, я не думаю, что работа журналиста в эфире должна быть направлена на поддержку или ниспровержение кого бы то ни было. Я пришел на РТВ потому, что в то время это было единственное место, где мне казалось возможным создать

о чертах хозяина, который просидел долгие годы в этом кабинете. Для них это было главное.

Разговор с Олегом Добродеевым заглушил мои сомнения. Я понял, что программа «Вести» — это событие не только в телевизионной жизни страны. Это еще и событие в нашей умственной жизни, своего рода попытка микрореволюции в нашем сознании. В основе события «телевизионного» — изменение представления о факте — том микрокирпичике, из которого состоит окружающий нас мир, из которого соткана реальность. Попытка придать реальности непривычную для нас, зрителей, осязаемость, материальность. Научиться видеть ее такой, какая она есть, ничего не добавляя от себя.

— Ведь что такое новость? Это очень просто, — утверждает Киселев. — Нужно дать ответ на пять вопросов — как говорят американцы, на пять дабл-ю. Что? Где? Когда? Кто? Почему? И то последний вопрос факультативен, на него не всегда можно дать однозначный ответ. Вот и все. Остальное — лишнее. Личные эмоции, оценки, пристрастия — все это ни к чему. Лучшей характеристикой мастерства информационного журналиста мне кажутся слова Тэда Коппола, ведущего Си-эн-эн: «Даже моя жена не знает, за кого я голосую на выборах». У нас же уже в третьем предложении ведущий начинает рассусоливать, высказывать свои соображения по поводу происшедшего, вставлять вводные слова, типа «к сожалению» и т. д. Да я и сам не свободен от этих недостатков, хотя постоянно стараюсь от них избавиться.

— А почему? Вы не пробовали анализировать? Неужели так трудно выдерживать стиль информационной программы?

— Может быть, дело тут в том, что все мы, как из гоголевской «Шинели», вышли из программы «Время». И я, и Флярковский, и Миткова, и Молчанов — да практически все тележурналисты вышли из ее недр. Мало того, такие разные передачи, как «Время» и ТСН, делались в одной редакции, зачастую одними и теми же людьми. И в нас эта старая закладка, естественно, сидит. От нас все время требовали личной оценки предлагаемой информации, каких-то пояснений, рассуждений... В нас как-то нет этого чувства, что новость — это не рассуждение о новости, а именно новость.

Почему же нам недоступно это, казалось бы, простое искусство — сообщать факты? Мне думается, причина здесь глубже, чем просто наследие программы «Время». Простейшая интонация «пяти дабл-ю» ускользает, не дается в руки. У нас сейчас есть много хороших ведущих — ярких, симпатичных, напористых, остроумных, популярных, — но этой интонацией владеют лишь единицы. Почему?

Можно, конечно, свести дело к элементарному непрофессионализму. Или вспомнить мимоходом оброненную Евгением фразу о том, что у многих людей стремление покрасоваться в кадре и сказать «что-нибудь эдакое» по силе сравнимо только с «половым влечением». Или порассуждать о том, что информация в советском обществе всегда шла по разряду дефицита, и те, кто сейчас заведуют ее выдачей, по привычке ощущают, что находятся при некоем закрытом спецраспределителе, и то ли им хочется спекулировать редким товаром, то ли подобно Прометею принести огонь людям... а в общем, одно недалеко от другого.

Все это, пожалуй, есть, но суть проблемы не в этом.

Суть проблемы — в их популярности. Всех, вплоть до Невзорова. А раз так, значит, их манера работы соответствует каким-то реалиям нашей жизни, их способ видеть вещи находит опору в массовом сознании, и можно, стало быть, говорить об особой национальной школе информационных программ. Или хотя бы — выразимся мягче — о национальной манере.

Дело в том, что мы, русские, испокон веков находились в каких-то сложных, загадочных, интимных отношениях с реальностью и с фактом. Для нас это что-то подчиненное, служебное, играющее второстепенную роль в нашем мироощущении — мироощущении, замешанном на фантазиях. Мы живем в каких-то миражах и снах, наш мир состоит из обломков фраз, концепций, идей. Наши отношения с миром — это не отношения с вещами, это отношения со словами. Мы не из тех, кто любит проверить все на ощупь и лишь потом верит. Мы доверяем словам, а не глазам и кончикам пальцев.

Наш вечный тип — это тургеневский Рудин, человек, существующий где-то в пространстве помыслов и изречений, которому мало дела до реальной жизни, который не знает, что с ней делать, и даже побаивается ее, коль скоро она не упакована в теорию. А пять дабл-ю ему даром не нужны: он все равно не знает, с какой стороны к ним подойти и что с ними делать.

Огромная страна, по уши накормленная и обогретая расказами партии о грядущем благосостоянии, об огромных намолотах зерна и об отдельной квартире в следующей пятилетке (что для этих людей было реальнее — гипотетические коммунистические хоромы или вонючий тюфяк под боком? пожалуй, первое) — какая фантастическая картина! Загипнотизирована шестая часть Земли. Потомки лет через двести уже перестанут понимать, как такое возможно. Впрочем, как знать...

Наш мир кем-то выдуман. И сама наша революция — это ведь философская революция, совершенная сперва в области мысли, а затем уже в удобный момент воплощенная в реальность. Вектор прочерчен отчетливо: сверху вниз. Не случайно центром ее стал Петербург — умышленный город, город-фантазия, город-сон, памятник волеизъявлению Петра, как бы подвисящий в воздухе, так и не сумевший пустить корней в землю. Информационный бред Невзорова в эфире — порождение этого фантастического города, кривящегося болезненной улыбкой Раскольникова (он тоже из этой породы насильников над действительностью). С.-Петербург оседает на болотах. В магазинах по всей стране пусто. Невзорову наплевать, было ли то, о чем он рассказывает, или нет.

Все это вещи одного корня. И того же корня проблема пяти дабл-ю.

Вот почему программа «Вести» стала событием нашей умственной жизни: она была попыткой преодолеть этот заколдованный круг, в котором мы живем, вырваться из словесной шелухи, которая нас окружает, в которой мы тонем.

— Да, мы ведь часто не живем, а проговариваем нашу жизнь, — говорит Киселев. — Нам подчас трудно совершить поступок — самый элементарный бытовой поступок. Поехать в другой город. Сменить работу. Мы предпочитаем порассуждать об этом, обдумать с той и с другой стороны — и оставить все, как есть. А потом вспоминать об этом — вот, мол, был шанс, да я не стал рисковать.

— Однако вы как раз уходите из «Вестей». В чем причина?

— Здесь меня многое не устраивает. И то, что передача эта уже не та, какой она задумывалась. И то, что материальная база из рук вон плоха. Я устал от воинствующего непрофессионализма, который расцвел сегодня на РТВ. С самого начала здесь все было слишком идеологизировано.

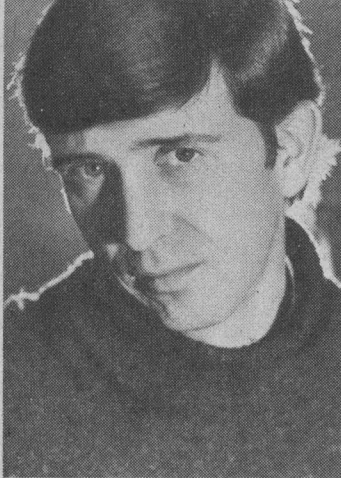
Услышав эти слова, я вспомнил свои июльские колебания и хотел уже задать вопрос об Олеге Добродееве, но Киселев меня опередил:

— ...И, наконец, есть еще одна причина, пожалуй, главная. Основную потерю «Вести» понесли в сентябре, когда их покинул мой друг, единомышленник и основатель программы Олег Добродеев. Устал от нежелания начальства что-нибудь изменить, сделать для программы. Она во многом держалась именно на нем, на его блестящем таланте. Теперь он будет работать на ЦТ, и я перехожу к нему — хочу работать с ним в одной упряжке.

Выходя из здания Российского ТВ, я еще раз посмотрел на него. Теперь я понимал, что в нем такого, не сочетающегося с идеями Добродеева и Киселева. Не угрюмость дизайнера, не агрессивность — другое. Это ведь тоже здание-фантазия. Не здание-факт, а здание-концепция, выстроенное с подсознательной ориентацией на то, чтобы кому-то что-то доказать, а не для того, чтобы было просто удобно. Оно такое же фантастическое, как город на Неве, и в его стального цвета стеклах отражаются, мне показалось, немного безумные глаза ведущего «600 секунд».

И последнее. Ухода Евгения Киселева с Российского телевидения, наверное, могло и не быть. Или он мог случиться через год — дело не в этом, а в том, что вопрос, который РТВ и программа «Вести» поставили перед нами в первые дни своего выхода в эфир: возможно ли у нас телевидение нового типа? — остается открытым и драматичным вопросом. Будем следить за развитием событий.

What?



Сергей
ВАСИЛЬЕВ

☆☆☆

Городские кварталы напуганы ранней зимой,
И дворы, словно шерстью бараны, укутаны тьмой.

Тут легко заблудиться, и в сумерках этих мохнатых
Не слышать ни угрюмых людей, ни веселых пернатых.

Только ветер, как мальчик обиженный, плачет навзрыд,
Да во лбу мироздания звезда голубая горит.

Да тяжелые мышцы катает под медною кожей
Одинокий фонарь, на горбатого гнома похожий.

Я не то чтобы сбился с пути — я отбился от рук,
Я устал от метафор, от женщин, от ихних подруг.

Я когда-то писал уже этим унылым размером,
Притворившись искусно то ль Пушкиным,
то ли Гомером.

☆☆☆

Да неужто во вкрадчивых, бабьих и слишком чужих
для привычных пространств голосах
Древних ласточек ты различишь тот единственный?

Бедная девочка, так не бывает!
И пугливые сумерки тонут в твоих — не совру,
коль скажу, что библейских! — глазах,
И, плеснув золотистым хвостом,
пучеглазая ревность всплывает.

Даже звезды, и те, прочертив небосвод, умирают
в картофельной — кто бы подумал? — ботве,
Даже гневным дриадам не вырваться —
что тут поделаешь-то! — из древесного плена.

Впрочем, дело не в греческом роке, не в нашей планиде,
а в том, что ему по Литве
Веселее намного шагать, чем тебе по России, Елена.

Не весталка и не одалиска, увы, не любовница
и уж никак не жена —
Жгла бы, как говорится, мосты за собой или письма,
что в общем-то очень похоже.

И чего убиваться-то, бедная девочка, так,
и какого, скажите, рожня
Голосят эти ласточки, стервы такие, прости меня, Боже!

Стансы

1
«Если упасть с Луны, попадешь в Гурзуф» —
Так писал мой сосед по общежитию в одном рассказе.
Я пленён был. Но, с годами глаза разув,
Понял, как много кокетства в красивой фразе.
Впрочем, надолго нельзя полюбить и грозу —
Как та? — в начале мая. Моя жена
Скоро уйдет. И останется тишина.

2
Вкусы меняются. Как ни печально, друг,
Женщины тоже. Сегодня она блондинка,
Завтра брюнетка. Объяты горячих рук
Тает в ночи примерно так же, как льдинка
Тает во рту. И вновь смыкается круг
Непониманья. И во все времена
Между нами — стена.

3

Друг, мне пора в дорогу. Земля сыра.
С этой проклятой плотью одна морока.
Дух окрылен разлукой, как взмах топора
Кровью отцеубийцы иль лжепророка.
Мысль, как ни странно, выходит из-под пера
Голой, как утром женщина из простыни —
Не бойсь, мы одни!

4

Лето печет, а муха в моем окне
Бьется об лед стекла и, как степь, изумрудна.
Видишь ли, милый, с природой наедине
Так же, как с женщиной, невыносимо трудно,
И стать рогоносцем так же легко. И не
Надо быть Марксом, чтоб однажды понять:
Чо на Бога пенять?!

5

Вишням на ветках не вечно, увы, висеть.
Шанс рассеяться в бездне сознательно приуменьшен.
Как ни крути, а мы все попадаем в сеть
Смерти — пожалуй, самой честной из женщин.
Но от этаких мыслей можно и окосеть
Или попасть в психушку. Лучше, дружок,
Выпьем на посошок!

☆☆☆

Глядя на голубков, усевшихся на карниз,
Надышавшись озоном до положенья риз,
Я пишу, поспешая, покуда хватает света,
Ниоткуда с любовью — прости за цитату из
Неизвестного вовсе широким кругам поэта.

И за все остальное тоже. Жара. В окно
Льется щебет пернатых, неслыханных мной давно.
Сохнет сено в саду, ароматом своим докучая.
В общем, здесь, как в раю. И, пожалуй, плохо одно:
В магазинчике, черт бы побрал его, нету чая.

Я себя утешаю тем, что пройдут года —
И однажды на твой балкон упадет звезда,
Не пятиконечная — сгорбленная, ледяная.
Это будет значить, что мне конец, и тогда
Ты устанешь меня ненавидеть, моя родная.

А пока я пью твою ненависть глоток за глотком
Из кувшина, чье горлышко схвачено тонким ледком,
И, понятное дело, кровавлюсь и коченею.
Но особенно тошно чувствовать себя дураком,
Ощущая нежность и не зная, что делать с нею.

Моя память ведет себя, как непослушный струг.
Мне приятно порою встретить твоих подруг,
А порою противно. На синем шелку небосклона
Черный коршун старательно чертит огромный круг.
Я в него не вписываюсь. Как и во время оно.

☆☆☆

Мне пора уходить на постой
Из невинтицы лета
В город, вытянувшийся глистой
Чуть ли не на полсвета.

Этот вечер осенний багров,
И не слышно пичужек.
Берег устлан костями осетров
И блевойтой пьянчужек.

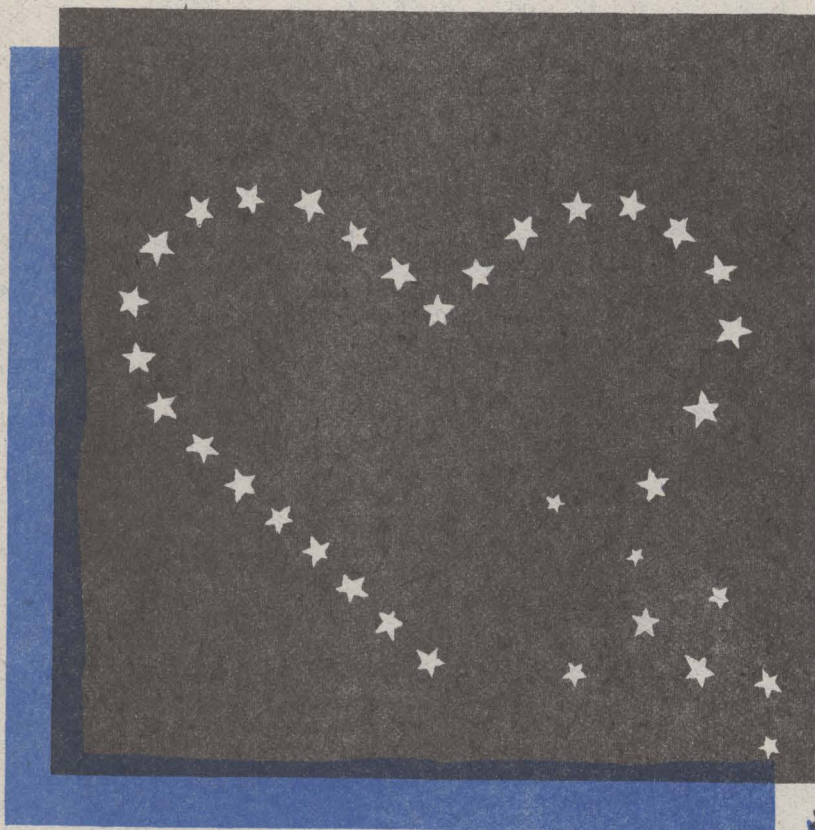
Мне приятно идти вдоль реки,
Спотыкаясь о камни.
Что б там ни было, все ж не с руки
Убиваться пока мне.

Заглядевшись в закатную ржу,
Как в дыру ножевую,
Я державной реке расскажу
Жизнь свою неживую.

А она лишь вздохнет, как раба:
И сама-то, мол, ржава,
Но при чем тут Господь и судьба
И при чем тут держава?

г. Волгоград

Бракчи заключаются на небесах.



Как быть, если в любви не везет? Астрологи утверждают, что счастье зависит от звезды, под которой родился человек. Когда Вы планируете совершить тот или иной поступок, сначала узнайте, благоприятствуют ли сегодня Вам звезды, или лучше подождать пару дней?

Вы хотите иметь надежного советчика в сердечных делах? Воспользуйтесь индивидуальным гороскопом на 1992 год. Его составит компьютер фирмы "Звездочет" тем, кому исполнилось 16 лет. Нужно только сообщить точную дату (день, месяц, год) и час вашего рождения (по московскому времени).

Стоимость гороскопа — 19 рублей. Оплата наложенным платежом.

Заявки на почтовых открытках направляйте по адресу: Москва, 123631, ул. Исаковского, 33, корп. 2, "Звездочет".

ЗВЕЗДОЧЕТ

Валерия
НАРБИКОВА
**ВЕЛИКОЕ
КНЯ...**

ПОВЕСТЬ

Французам повезло больше. Они могли прочитать «Великое кня...» еще в апреле: этот текст входит в новую книгу Валерии Нарбиковой «Около эколо...», выпущенную парижским издательством «Альбен Мишель». «Около эколо...» впервые напечатано в «Юности». Теперь наконец и русские почитатели таланта В. Нарбиковой могут ознакомиться с «Великим кня...» на языке оригинала.



Рисунки Софии Фёдоровой
Фото Леонида Шимановича

1.

Где тот последний, который смеется тот, кто смеется последний... и денек, такой серый с серыми розами в небе, с серыми розами облаков, с серо-розовыми... Совершенно случайно опоздав на деловое свидание, Петя пришла как раз вовремя. Пообещав прийти ровно в час и опоздав ровно на час, она пришла ровно в час. Но так не бывает. Бывает, когда есть летнее время и обычное время, чтобы летом вставать на час раньше, а зимой ложиться вовремя, чтобы было больше калорий, чтобы впитать больше солнца, запастись им на зиму, запасной час, как в Европе, вся Европа живет летом по летнему времени, и мы — как в Европе: и у нас мало солнца, и у них, и мы экономим время, и они, и мы — почти европейцы.

Несмотря на то, что Петины часы показывали ровно два, часы на площади показывали ровно час. И почти под часами, которые показывали обычное время, которое уже шло к зиме, в разгар осени, в тот час, которого уже не было в природе, который по воле случая оказался у нее в запасе, в этот летний, оставшийся от летнего времени час случайно появился Борис. Объяснений этому может быть тысяча, но ни одно из них не в состоянии объяснить, что значит случайная встреча, что значит случай и неслучайная встреча. Раз времени такого быть не могло, то и Пети в это время на площади быть не могло, и делового человека, раз Петя опоздала, быть не могло, могла быть только сама площадь и время над площадью. И случайностью называется то, что они встретились в то время, которое было в то время над площадью. Переговорив с деловым человеком о деле и позабыв о деле, которому есть определение: дело есть действие, несвойственное действию и бездействию, кто может видеть, так сказать, бездействие в действии и действие в бездействии, тот мудр и все, путь действия исполнен тьмы, — и, отступив от дел, Петя приступила к любви, которой определения нет. Оказалось, что Пете с Борисом случайно по пути, и она взяла его под руку, чтобы перейти под землей на красный свет.

— все хорошеешь, — сказал Борис, — с каждым днем.

Они любили друг друга, пока любовь их исторически не любила, и они расстались; и они встретились, когда, надо полагать, любовь их исторически возлюбила.

И, сбившись с пути, они оказались у дома Бориса, у его мастерской. Из полуподвала наверх вела лестница, это говорило о том, что Борис стал фантастически богат, и теперь можно было наблюдать за улицей и снизу, и сверху, из подвального окна и со второго этажа. И внизу среди ящиков с его скульптурами стоял совершенно новенький автомобиль, который он привез «оттуда», обменяв «там» на скульптуру. Автомобиль скульптурно стоял, а чтобы все-таки это было смешно, чтобы все-таки это была композиция, в самом темном углу комнаты стоял светофор, который Борис включил, и светофор замигал, и Петя перешла дорогу на зеленый свет, и они обнялись. Они обнимались бесконечно долго, и в конце этой бесконечности, после конечного результата, в конце пути, на исходе дня, они объяснились, и оказалось, что он любит ее, а она любит его, они любят он, и они любят она, и оно любит оно.

Особа получит от родственника, живущего за границей, наследство, которое обеспечит ее благоденствие: валет трейф, валет червей, валет бубен.

Особа будет привлекательна как сердцем, так и умом: восьмерка пик, восьмерка червей, восьмерка бубен.

Искренность друга откроет особе зависть другого

друга, на которого она полагалась до этого времени, как на самое близкое к ней лицо, и поможет ей навсегда избавиться от этого человека: двойка трэф, двойка червей, двойка бубен.

Горела лампочка в тумане, горела свечка в океане, и слезы по ногам текли, и роза в розочке стояла, душа еще не отлетела, она летела между телом и теплом, жизнь — это композиция, но жизнь — это и поток жизни. Бедная комната, шириной в несколько шагов, длиной в длинный день, высотой в высокие слова — негде разместиться. Чудом сохранилась бедность в углу, редкий по бедности дизайн: вместо картины на стене гвоздик, на котором эта картина висела, следы клея на обоях — там, где была приклеена фотография, и крестик в тумане, и пальто в океане, и не о чем говорить. Петя нашла ту самую фотографию, которая была отклеена, и приклеила, повесила ту картину, которая висела на этом гвозде, когда Петя была здесь в последний раз, и в этом углу стало, ну, хотя бы в этом, в этой части света, в этом уголке души, так, как будто все было по-прежнему, как будто и не было разлуки. Зато во всех остальных углах разлука была в каждом углу. И чтобы вернуть то самое состояние, когда они расстались, когда они любили друг друга, когда шел снег, когда стали скрести лопатой над головой, как будто закапывать, когда Петя подумала: «Хорошо бы пошел снег», — и чудо, он пошел, первый снег в конце лета, снег с дождем, просто дождь, все равно снег, потому что он легче дождя, и на душе стало легче после такого ливня и печальней, потому что он принес печаль.

Подняться наверх по лестнице, не это ли счастье — смотреть сверху вниз на собственное счастье. Встреча не совсем случайная, как и вся жизнь — упорядоченная цепочка случайностей. Первая случайность — то, что мы родились, и последняя случайность — то, что мы умрем. А все остальное не случайно.

Каким образом Петя с Борисом очутились за городом, может быть известно только биографам. И каким транспортом (автобусом, электричкой, такси)? И что их побудило (телефонный звонок, телеграмма, письмо)? И какого числа? А, собственно, было ли число? Сколько времени прошло с тех пор и прошло ли это время вообще? Почему-то все еще была осень. И то место, куда они шли, было местом посреди времени.

А может, просто в гости? Может быть. Но не просто.

Только один раз первая буква Вашего имени и Вашей фамилии, как это и положено, будет стоять с большой буквы — Н. З., в дальнейшем большие буквы придется заменить маленькими — н. з., потому что хоть больше всего Вы и человек, хотя уже мертвый, но больше человека, Вы еще больше — поэт Н. З., но как поэт Н. З., Вы умерли раньше человека, и в Вас остался для жизни только неприкосновенный запас жизни — н. з. Пусть Вы не были убиты как человек, но как поэт, Вас вытравили как поэта из человека, оставив Вам — н. з. Из Вас вынули душу, да? Из Вас вынули «Столбцы»?

Разговор, к которому Петя с Борисом как раз пришли к середине разговора и не слышали начала разговора, был туманный: папиросный дым поднимался с вечерних лугов, бычки тянулись в свои стойла, на душе был покой, а разговор беспокойный. То, что один из говоривших имел наружность поэтическую, а другой — непоэтическую, совсем не говорило о том, что один из них поэт, а другой не поэт.

Что еще было сразу видно? Что один из них гость, а другой — хозяин, и гость обращался к хозяину как-то почтительно-иронично, почти иронично, он называл его н. з. Хотя он обращался к нему устно, а не письменно, в его интонации все равно угадывались

маленькие буквы: «н», «з». И как ему удавалось обозначать его даже в личной беседе маленькими буквами, было тоже загадкой. А н. з., в свою очередь, называл его «милый мой». Этот милый мой имел черты лица довольно приятные или правильные, или правильнее будет сказать, что некоторые приятные черты его лица скрашивали остальные, неприятные. А н. з. хоть и был ростом маловат, к тому же полноват и лысоват, в нем было что-то такое, что-то такое простое, что-то такое непростое, и глаза у него были голубые, а щеки розовые, и он пел. Он говорил плохо, а пел хорошо. И ел он плохо и мало, а пил много. А милый мой ел хорошо, пил и хорошо подпевал. И, наверное, им было хорошо вдвоем, пока Петя с Борисом не пришли. А Борис был все тот же бедный Борис, но только богатый. И когда н. з. увидел Петю, он сказал: «ну что тебе спеть, милая моя?» И хотя н. з. был раза в два старше Пети, а может быть, еще старше, Петя сказала ему: «ну спой, что тебе нравится».

И когда н. з. запел, он стал самым красивым мужчиной в комнате. Хотя самым любимым был Борис, все же самым любимым был н. з. Почему-то он плакал, н. з. И плакал он совсем не как человек, который поет, а как человек, который плачет. И сквозь дым в слезах его трудно было разглядеть, как сквозь туман — огонь. Щеки у него стали красные, а глаза тоже голубые. Пьяный, он был совершенно некрасивый внешне, красивые лучи от настольной лампы сбегались к югу, и на юге рассеивались в углу. И пока н. з. пел, он хорошо говорил, а когда бросал петь и начинал говорить, то совсем плохо говорил, и тяжесть эта была не от возраста, а от жизни, у которой возраста нет, у которой есть или легкость, или тяжесть. И даже не потому, что он был пьян. И сквозь слезы и запотевшие стекла, за которыми ничего не видно, поэтому если разгрести деревья, которые мешают смотреть вдаль, то видна будет станция в огнях, полречки, обрубленная речка, кладбище в памятниках с покойниками под землей в тишине, и наконец прояснится такое понятие, которое если ввести, то следует дать ему определение, что такое социальная мимикрия? это поголовная болезнь советских людей, когда хочется плакать, глядя на улицу сверху вниз, и на дома, глядя снизу вверх, и в магазинах — внутри, и во дворах — снаружи, куда ни глянь — хочется плакать. Это, конечно, болезнь. И н. з. сказал: «что об этом говорить, поболеем и умрем». Можно было бы поболеть и выздороветь, а можно было поболеть и умереть. «а кто знает, где мы есть?» — спросил милый мой. «мы все за границей есть» — ответила Петя.

— а у тебя в этом сомнения есть?

— у меня в этом сомнений нет, что мы за границей есть. И без приглашения, то есть не имея приглашения на руках, в пригород, который находился не за границей города, а за границей одного государства, за которым уже начиналось другое государство, но не в соседнем государстве, а еще через несколько государств, и через морскую границу, потом через, потом там, где граничили лес и река, потянулись один за другим, друг за другом, как друзья — друзья. Как только появился в комнате Борис, следом за ним появился Глеб Ил. И.

Не было ничего удивительного в том, что появился Лжедмитрий, потому что он всегда умел доставать. А Татьяна-Ныванна появилась как его жена. А вот как появилась Ездандукта? она появилась просто как Петина сестра, потому что Борис, прожив с ней год как с человеком, понял, что бесчеловечно любить женщину как человека, и они расстались, и теперь вот они встретились. И как только все встретились все вместе за границей как свободные люди, не как униженные у себя дома, все вместе решили послать письмо к себе на родину. Это было письмо не частному лицу, а чело-

веку, известному во всем мире, и надо сказать, во всем мире любимому, первому человеку года, если у людей есть такое понятие, как «человек года», как будто человек бывает только раз в году. Это было письмо не от каких-то там самасшедших, и не из больницы, не из тюрьмы, а от нормальных людей, которым было может даже не хуже других людей, а даже лучше, но зато были люди, которым даже было еще лучше, и они не думали о тех, которым хуже, письмо было от тех, которые были, как декабристы, но не хотели смерти царя, у них просто была просьба к Первому человеку года, которую у себя на Родине высказать было бы страшно, а за границей не страшно. Потому что много разных революционных идей сначала высказывалось за границей, а потом они утекали на родину. И Герцен готовил революцию за границей, а ведь это он разбудил декабристов, и они делали ее у себя дома. И Ленин думал за границей, а делал дома. Письмо начиналось так: «Дорогой Михаил! Сергеевич...»

Потом шел длинный пассаж о том, как Пушкин встретился на балу с Николаем, и что все-таки Пушкин погубил не царизм, а воздух, который был разлит над Петербургом и отравлен самодержавием. И кончалось письмо тем, что жалко что мы живем в такой миг — в миг Советской власти, которая есть только миг на фоне вечности, и перед вечностью никто не сможет сказать людям, что в этот миг им было хорошо, и ни один человек не может сказать: «Остановись мгновенье, ты прекрасно!», если это только не касается погоды или пейзажа, потому что погода может быть прекрасна везде, так же как и везде ужасна. Погода может быть плохой и при капитализме, что также не исключает, что и при социализме погода может быть хорошей. Погода не принадлежит людям, но люди принадлежат погоде. То, что все друзья оказались за государственной границей, это было совершенно определено. Местечко далекое, чистое, ухоженное, с чистой землей под ногами и с чистым небом над головой. Друзья вышли подышать свежим воздухом, и воздух был свежий. Это была в принципе «заграница», именно «заграница», а не родина. Может быть, это был юг Франции, но для юга северный ветер был слишком холодный, и росло много северных кустов, и было много северных птиц, прилетевших с юга. Не мешало и познакомиться. Потому что до того, как все вместе увиделись за границей, практически никто ни с кем не виделся.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

...Вот так и познакомились. И дальше, и больше, и все сильнее и сильнее, и ближе, чем раньше, и все

выше и выше, вот и расположились. Небольшой колонией, как птицы. И крику много, и слов мало, и много песен — живая речь. Жилых комнат в доме было — две. И мудро решили разделиться на женскую и мужскую половины. В одной комнате будут спать женщины все вместе, а в другой мужчины. И женщины будут спать на втором этаже, а чтобы мужчинам было не обидно, они будут спать на первом. А чтобы никому было не обидно, в доме оказался всего один этаж — это был одноэтажный дом. Зато в доме было два отдельных выхода, и одна дверь выходила в сад, а другая тоже в сад. После сытного ужина наступил сладкий сон, и комфорт подействовал усыпляюще.

Все, что не утряслось вечером, утряслось утром. Оказалось, что хозяином дома, который стоял в саду, оказался не н. з., который еще спал, а милый мой, который уже пробуждался. Окончательно пробудившись, он принял окончательное решение — созвать гостей и вместе с ними выпить за землю, на которой стоит дом, за губернатора города, которому население города доверило свои души, за благополучие этих душ, а также созрела мысль позвать почтмейстера в честь того, что почта здесь работает отменно... И хозяин поделился на утро своими мыслями с н. з.: «также можно будет позвать посла с супругой, кинозвезду с братом и управляющего со старушкой матерью». «милый мой, — сказал н. з., — а как же наши?» Под «нашими» он подразумевал Глеба Ил. И., Бориса, Петю с сестрой и молодую чету. «это же богема: — Петя, все, сестра, чета. Неудобно, они пока погуляют, осмотрят достопримечательности». Н. з. поспорил, но милый мой, являясь на самом деле приемным сыном голландского посла, умел так убедительно говорить, и, почти ничего не сказав, он умел убедить. Тут многое зависело от его внешних данных. И сам он был красив, и умел красиво говорить, и даже если в языке попадались некрасивые слова, то он умел найти им такое место, что слова эти не резали слух, а скорее ласкали его. Приласкав н. з. такими словами, которых в русском языке, таких некрасивых — всего три, зато много родственных и однокоренных слов от этих трех, милый мой окончательно приласкал его и победил. А н. з. проиграл. А милый мой победил. И в знак особого расположения к н. з., чтобы н. з. доверял ему, как себе самому, милый мой сказал, что на самом деле его приемный отец приходится ему приемным братом. «а разве так бывает?» Но вскоре н. з. убедился, что на самом деле все бывает. Распорядившись насчет закусок и вина, милый мой обнаружил, что в доме имеется приборов только на шесть персон. А если гостей придет на одну вилку больше, пусть лучше количество и качество гостей соответствует количеству и качеству приборов. Таким образом отпали губернатор с почтмейстером. Остались кинозвезда с братом и управляющий со старушкой матерью. И когда стол уже был накрыт на шесть персон, оказалось, что брат кинозвезды скоропостижно скончался с последними лучами заходящего солнца. Эти же лучи осветили стол, который был красив: у него был и цвет, и запах, и рельеф, а также фактура и плотность. Были отражения, а кроме того были удачно распределены блики. Кое-что было в контражуре, но все остальное было в полном ажуре. «милый мой, — сказал н. з., — какая красота». Они сидели рядом и смотрели на графины, которые на самом горизонте стола уменьшались в перспективе, зато близлежащие тарелки увеличивались в размерах. Они сидели и ждали, а управляющий все не шел и не шел. Пришлось долго ждать, пока прозвенел долгожданный звонок. А когда милый мой пошел открывать и спросил: «кто там?», он услышал в ответ: «свои».

Свои были, действительно, все свои. Это была молодая чета: Лжедмитрий с женой; две сестры: Петя

¹ — как вас зовут (англ.)

² — я живу в Москве (рус.)

³ — как вас зовут (франц.)

⁴ — мне 25 лет (нем.)

⁵ — как вас зовут (нем.)

⁶ — да (франц.) я родился в Москве (англ.)

⁷ — и где вы живете (англ.)

⁸ — моя фамилия есть (нем.)

⁹ — как поживаете (англ.)

¹⁰ — да, я родился (нем.)

¹¹ — как вас зовут (рус.)

¹² — я не понимаю (нем.)

и Ездандукта; и Глеб Ил. И., Борис, или Глеб или Борис. Получилось, что всех вместе на две вилки больше, на два стула меньше, и молодой чете пришлось сидеть на одном стуле, и две сестры разместились на одном также. И когда выпили, закусили, и так сказать перевели дух, вспомнили про управляющего со старушкой матерью. «если она еще не умерла, — сказал милый мой, — то я на ней женюсь». — «брак по расчету? — спросила Петя, — но Вы так молоды и красивы. И Вы богаты».

Бросив взгляд издали — из-за границы, — нетрудно было разглядеть, как богата «заграница» и бедна Родина. Родина была богата своими недрами, тем, что находилось под землей, тем и была богата, а не тем, что находилось на земле; а «заграница» — наоборот: почти ничего драгоценного не было под землей, зато ко всему, что стояло, сидело, лежало на земле, относились как к большой драгоценности, и драгоценные дома стояли в драгоценных садах с драгоценными звездами над ними, с драгоценными яблоками в садах. — да, здесь дорогая жизнь.

— но ведь жизнь — это самое дорогое, что есть у человека.

— а у нас на Родине — жизнь дешевая, и дешево ценится жизнь человека, и сам человек ценится дешево.

— а все-таки эти французы — удивительный народ. Кто у нас на Родине говорит по-французски? да никто не говорит, да почти никто не говорит. А во Франции даже дворник говорит по-французски, даже мент.

— зато в царской России говорили по-французски: и царь говорил, и царица, и Пушкин писал по-французски, и вся Третья Дума говорила по-французски, думала по-русски, а говорила по-французски. А сейчас правительство — на каком языке оно думает! а говорит? на каком языке оно говорит?

— ведь это не русский язык!

— кто сказал, что они думают по-русски?

— кто сказал, что они говорят по-русски?

— а в Америке все американцы живут по-американски, они все до одного получают доллары и ходят в валютные магазины, а у нас только некоторые.

— а если бы вас полюбила девушка, бедная и красивая, — спросила Петя, — смогли бы вы ее полюбить?

— это смотря насколько она была бы бедная и насколько красивая, — подумав, ответил милый мой.

— если бы она была абсолютно бедная и абсолютно красивая?

— и меня бы абсолютно любила? спрашиваешь! — сказал милый мой.

— да нет, — сказала Петя, — я просто так спрашиваю.

На этом разговор и кончился.

Взявшись как будто из воздуха, милый мой не растворился в воздухе, наоборот, воздух вокруг него был как будто наэлектризован. Он ловил взгляды, и поскольку он их ловил, надо полагать, что кто-то на него их бросал. Бросали. И Петя бросала, и Ездандукта, и Татьяна-Ныванна. И ловили. И сестры, и Татьяна-Ныванна. И когда взгляд, брошенный на Петю, перехватывал Борис, то Петя не чувствовала его на себе в чистом виде, на этот счет у Бориса был собственный взгляд. И чем чаще Борис перехватывал взгляд, который на Петю бросал милый мой, тем чаще Петя ловила его взгляд на себе. И Петя увлеклась. И Борису страшно было смотреть, как Петя играет с огнем, потому что, правда, милый мой весь горел, а Петя таяла. Она несколько раз покраснела и несколько раз побледнела. И то, что Борис страдал, Петя не замечала, и Ездандукта не замечала, даже Татьяна-Ныванна не замечала. Потому что Борис скрывал как умел. А он умел. И Петя даже сама не заметила, как она увлеклась, и сестра не заметила, потому что она

и сама увлеклась. Зато все остальные заметили. Даже Глеб Ил. И. заметил, как страдал Борис, потому что и сам Глеб Ил. И. страдал.

Так все больше увлекаясь и все больше страдая, встретили ноябрь. А в ноябре милый мой совсем потерял голову. Им овладела страсть — увидеть Петю наедине и объясниться. Страдал не только Борис. Страдали все друзья, а н. з. страдал от физической боли, потому что из всех друзей он был единственным человеком, из которого выбивали стихи. Когда он был уже большим, когда он был уже большим поэтом, он был в таком месте, что после этого места на его теле не осталось ни одного живого места, в этом месте из него выбивали душу, а всю свою душу он вкладывал в стихи. Из него выбивали стихи вместе с душой. И когда он запоминал стихи на память, его били, и у него отбивали память, чтобы даже не было памяти о стихах. И те, кто его били, были звери, и место было зверское. И вместе с душой из него выбили стихи, отбили память, сломали жизнь, и теперь он писал стихи, но плохо, а пел хорошо. И те, кто именем власти выбивал из него стихи, достойны смерти. Но смерть не идет за ними. Она ищет тех, кто достоин жизни. Она их ищет и находит, и они гибнут не от смерти, а от жизни. Даже Пушкин погиб от жизни: смерть его нашла после того, как жизнь его достала. Он умер, и закатилось солнце русской поэзии.

А солнце и правда закатилось, потому что в ноябре дни короче, и стихи короче, а ночи длиннее, — и сны длиннее, — разошлись по комнатам спать. Только н. з. — пел и плакал, и сквозь слезы — болезнь советских людей — социальная мимикрия — была видна из-за границы еще лучше из-за слез. Строй, который почти ничего не построил, но почти все разрушил, висит над обществом такой общественный строй, из-за которого рушится жизнь: сахарное мыло по талонам — смех сквозь слезы в очереди за жизнью по талонам, смеется тот, кто смеется последний.

То, что Петя увлеклась, и милый мой привлек ее своими глазами, словами, и главное, вопросами и ответами, все это вместе оказалось историей малопривлекательной, и мало-помалу перешло в историю просто скандальную. Во всякой скандальной истории бывают замешаны дамы, время, место, погода — накрапывал дождь. Милый мой подстроил одну встречу, и оказалось так, что Петя приехала одна к одной даме, а этой дамы не было дома, и она согласилась ее подождать, и когда, к петиному удивлению, в комнате вдруг появился милый мой, он упал на колени и обнял петины колени, и то, что он говорил, стоя на коленях, было совсем не то, что он говорил стоя. Хорошо, что Пете удалось освободиться от его рук, которые говорили даже больше, чем слова, и она сказала: «нет» после того как он сказал «да? да!». Петя позвала хозяйку дома, но вместо хозяйки появилась ее дочь, а самой хозяйки все еще не было, и Петя благополучно уехала, и когда она приехала домой, она увидела, как все неблагополучно дома, и она решила тут же все рассказать Борису о том, что не было ничего. Но в этот день ей не удалось ничего рассказать, потому что этот день кончился, а следующий день тоже начался и кончился. А на следующий день Борис получил письмо. Это было анонимное письмо. И все друзья: и Глеб Ил. И., и Лжедмитрий, и н. з. получили точно такие же письма. Они получили их всем кругом, т. е. всем дружеским кругом. Письмо было составлено из разных слов, вырезанных из разных газет, и содержание его было плоским и вызывающим, как бывает газета. Это газетное письмо просто убило Бориса. Не в буквальном смысле убило, но в буквальном смысле отравило ему жизнь. Письмо было обидным. Шутливое и веселое, но за такие шуточки можно только убить. Там говорилось о том, что кое у кого

выросло на голове кое-что. Кое-что — рога, а кое-кто — Борис, которого обещали принять кое-куда, а именно в общество рогоносцев. Тот, кто это написал, был человеком бессердечным, то есть совсем не имел сердца, и был человеком бездушным, то есть не имел души. И Петя сказала Борису чистую правду, что она перед ним чиста. Ее чистое признание еще больше убедило Бориса, какая же все-таки это грязная история, и чтобы покончить с этой историей, надо было покончить с человеком, который не имел сердца. Но даже из пистолета трудно попасть в сердце того, у кого сердца нет. Все равно Борис решил стреляться. У соперника сердце действительно и не ночевало, зато проснулся ум, такой трезвый и ясный, что сразу стало ясно, что ум — умнее сердца. Милый мой решил жениться, да еще на петиной сестре. То есть, конечно, он готов был и — драться, но он был готов — и жениться. И всем друзьям стало ясно, что Борису следует отказаться от вызова, раз милый мой решил жениться, что хоть дуэль — это дело и благородное, но не умное, что дуэль — это дело сердца, а женитьба — это дело ума.

А Ездандукта — без ума, и милый мой был так ей мил, как ленди дондонский одет, он входит в комнату один, и смотрит он по сторонам, и видит он, что в стороне со стороны дневного сна, там девушка одна стоит, и девушка стоит одна, стоит и смотрит и не спит, и он подходит к ней один, и они уходят из комнаты уже вдвоем.

2.

Ведь в жизни есть разнообразие жизни, и жизнь проявляется в своем разнообразии. Нет ничего проще: чем больше в жизни видов, отрядов, партий и животных, тем жизнь богаче, а чем меньше, тем. А если всего одна партия, одна колбаса, одно животное —

корова, которое несет и яйца, и молоко, и мясо, то жизнь беднее, и бедность — порок.

Чтобы люди жили лучше, чтобы партий было больше, чтобы животным было чище, чтобы во что бы то ни стало — во что? Все друзья всем дружеским кружком ждали ответа на письмо, которое они послали к себе на Родину. Это письмо было дружеским, написанным от чистого сердца, и душевные порывы в нем были чисты также. Зато газетное анонимное письмо было противным.

Милый мой получил на него ответ от Бориса — Борис желал дуэли, — и милый мой не так уж и ждал ответа на общее дружеское письмо от Первого человека года. Милый мой как человек не только обаятельный и практичный, а к тому же немножко немец, немножко иностранец, все-таки испугался дуэли больше, чем женитьбы, а надо сказать, что женитьбы он боялся, как огня, а еще больше он испугался за один пассаж, касающийся даже не Прибалтики, не татар, а именно Мавзолея на Красной площади. «А лучше всего Ленина просто похоронить по-человечески как человека, — говорилось в дружеском письме, — за его человеческие ошибки человечество расплатилось, и не надо из смертного человека делать бессмертного вождя, еще не расплатилось». И вся история с анонимным письмом могла бы показаться кому-нибудь мелкой на фоне Великой Истории, охватившей Родину и перекинувшейся даже за границу, когда ломают даже стену между немцами и немцами, но в истории с анонимным письмом было больше человечности, чем в Великой Истории, которая бесчеловечна к человеку. Все-таки милый мой решил жениться, потому что стреляться он уже не решался. По крайней мере, за одним столом Борис и милый мой не сидели, это было бы безнравственно сидеть за одним столом. И когда милый мой вставал рано и завтракал, Борис еще спал, и когда милый мой уходил, Борис вставал и завтракал, и когда милый мой приходил, Борис уходил. Таким образом, они даже не встречались. И хоть все друзья хотели их подружить, сама дружба была против их дружбы.

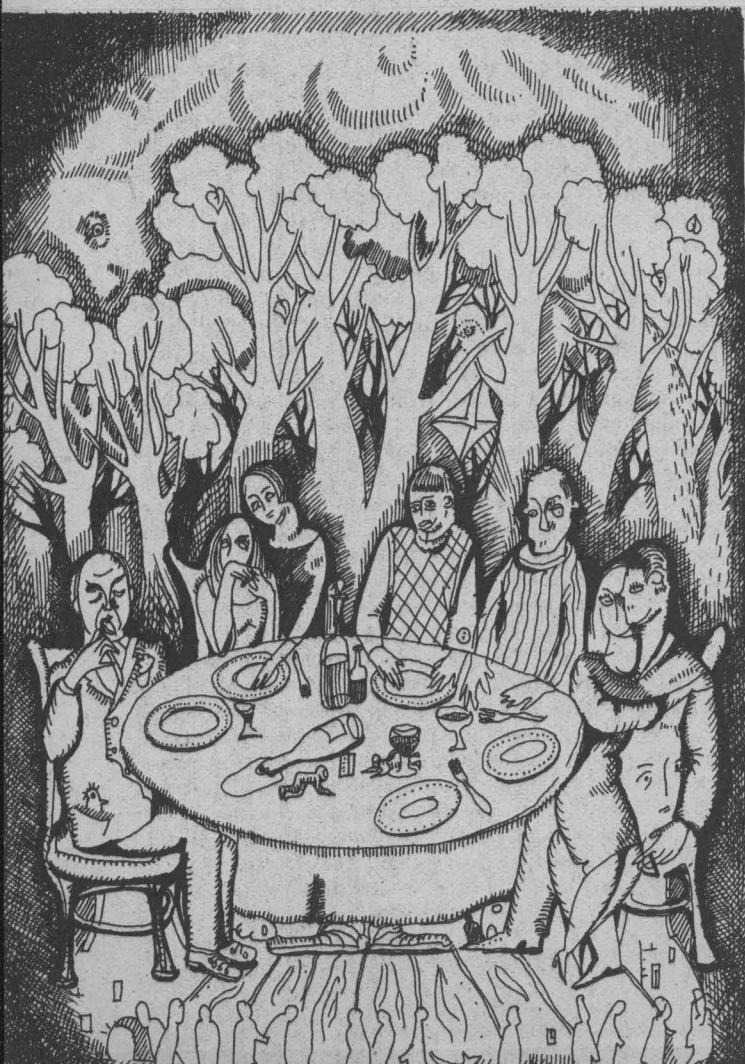
После этого анонимно-газетного письма Петя вдруг почувствовала такую нежность к Борису, которую она раньше и не чувствовала, то есть чувствовала, но это была совсем другая нежность, а сейчас была уже другая. Это была такая большая нежность, что ее хватило бы не только на одного Бориса, и Глеб Ил. И. даже не отказался бы от этой нежности, даже милый мой не отказался бы. Но Глеб Ил. И. нашел в себе силы и отказался. А милый мой не нашел и не отказался. И когда он по-прежнему бросал на Петю свои взгляды, Петя старалась не только сама их не замечать, но она старалась, чтобы и другие их не замечали. То, что Борис был любимым, и то, что любимому причинили боль, больно ранило Петю. Борис уходил днем, и никто из друзей не знал, куда он уходил, даже Петя не знала, куда. А правда, куда уходил Борис? Куда он уходил, друзья?

Остальные друзья тоже иногда уходили, но это было ясно: кто погулять, кто в магазин, кто куда, а кто и никуда.

— милая моя, — сказал как-то н. з., — я ведь до сих пор валю лес! — Он сказал это как-то очень страшно. Он еще сказал, что он не только валит, но потом впрягается в бревно, как лошадь, и тянет его, и ему за это дают кашу, а если он плохо тянет — его за это бьют, как лошадь, и он показал на спине следы побоев.

— это же старые, — сказала Петя. — Это тебя давно били.

— милая моя, — сказал н. з. — Что значит давно? А правда, что значит «давно» для вечности, если это «давно» даже меньше секунды или еще меньше.



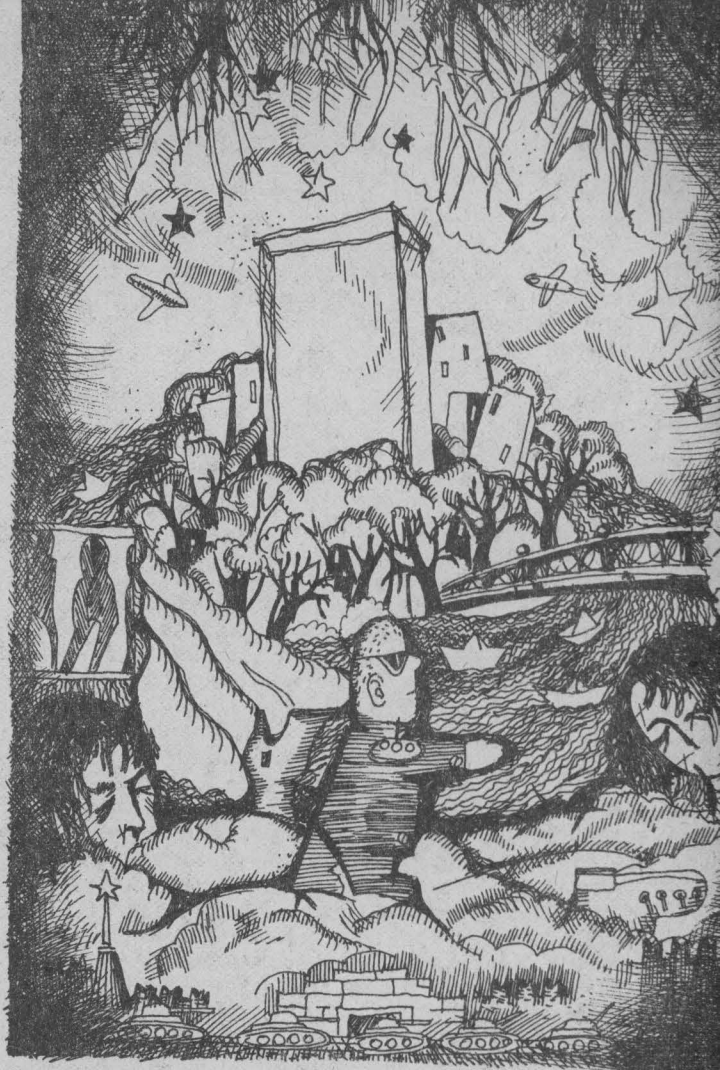
И даже если человек, который тянет бревно, уже сорок лет не тянет и его уже сорок лет не бьют, то на фоне вечности его бьют еще больше, еще чаще или каждую секунду дают кашу.

И если Петя была все та же самая Петя, которая любила Бориса, и если Борис был все тот же бедный Борис, но только богатый, то Ездандукта была совсем не той Ездандуктой, которая любила Бориса, она была уже совсем другой Ездандуктой, которой пришлось по душе уж совсем другой человек. И совсем не надо было Ездандукте от всей души любить Бориса как человека, ей надо было сразу найти другого человека и любить его как человека. Потому что Петя любила Бориса совсем не как человека, а как Бориса. Потому что на земле больше не было ни одного человека, который был бы Борисом, так же, как не было больше на земле ни одного Бориса, который был бы человеком. Это был фонтан чувств, от которых мог брызнуть из глаз фонтан слез. И когда на фоне живых людей вдруг другие живые люди умирали, то есть становились мертвыми, становилось страшно за живых людей на фоне этих мертвых, потому что живых людей на фоне мертвых было гораздо меньше, чем мертвых на фоне живых. И хотя численность живых людей росла, численность мертвых тоже росла... И количество живых людей так относилось к количеству мертвых, так как. То есть если представить дробь, где в числителе (наверху, а они и есть наверху — на земле) — будут живые, а в знаменателе (внизу, а они и есть внизу — под землей) — будут мертвые, то число, которое получится при делении живых на мертвых, скорее всего будет иррациональным, и остаток будет бесконечно уходить в бесконечность, и на каждого мертвого будет всегда приходиться ноль целых и бесконечное количество знаков после запятой — живого.

В искусстве была красота — раньше была и в архитектуре, и вообще, а в лесах была темнота, а в соборах — красота, а сейчас все самое убогое и серое и есть красота, все самое некрасивое — и есть красота. И если какую-нибудь железяку подобрать и повесить, она — тоже будет красота, главное правильно подобрать и правильно повесить... И не только про Ленина, который лежит в Мавзолее, было сказано в дружеском письме, там было сказано и про сам Мавзолей, в котором лежит Ленин, что с балкончика Мавзолея столько было сказано неправды, что даже если с этого же балкончика говорить только правду, то трудно в эту правду поверить, что, правда, будет лучше, если правду говорить не с балкончика; то есть понятно, конечно, что должна быть возвышенность, откуда говорится правда, что должна быть какая-то такая горка, и Мавзолей и есть эта горка. Но все-таки лучше будет, если эту горку скрыть. Нет, без всякого кощунства, без взрыва на память, а просто поставить Мавзолей — на кладбище, где ему и место, и на этом же кладбище похоронить и всю неправду, сказанную с балкончика. Вот и все. — Высказались. Нет, еще не все. И хорошо бы Первый человек года был бы первым человеком, который добровольно бы отказался бы от могилы у Кремля, это некрасиво — лежать у Кремля, а значит, неэстетично, и неэтично, это даже не гигиенично лежать у Кремля, но хотя это и навечно — это мрачно и бессердечно.

И за круглым столом, в комнате, типа столовой, сидели люди, типа друзей, они ели что-то типа мяса и запивали вином типа портвейна. Ситуация была нетипичной, она была не типа той, которая уже была, а типа другой, которой еще не было.

Только Бориса не было дома. А вечер был. И вечером все становилось тише, и реже говорили и чаще молчали, и чаще всегда кто-то один говорил, а остальные молчали, а утром, наоборот, кто-то один молчал,



а остальные говорили, и утром чаще все становилось громче.

Этот дом посреди сада, сад посреди страны, страна посреди земли — без берегов. Как много здесь солнца и воды. И земли. И земля здесь посреди солнца и воды. Опять зима. И если зимой успокаиваются чувства, и если весной они нет-нет, да и проснутся, то зимой они — нет-нет. Заснут. На то и зима. На то и снег.

Не только друзья, но и все люди любят, чтобы солнце было — ласковым, море — приветливым, ветер — нежным, и не только друзья, но и люди вообще не любят, когда ветер — дикий, солнце — холодное, море — жуткое. А Борис так и не появился, ни на горизонте, ни в перспективе, ни в природе, похоже, его не было в природе, и это было на него не похоже. Природа спала. И долгими вечерами друзья занимались, кто чем, а кто и — ничем. Ничем не занимаясь, милый мой бродил по дому, и смотрел, кто чем занимается: н. з. потихоньку пел, Петя — потихоньку рисовала. Глеб Ил. И. что-то писал — или стихи, или нет, Татьяна-Ныванна тоже стала потихоньку рисовать, хотя рисование было не совсем ей по душе. По душе ей было — раскрашивание. Она раскрашивала клеточки, и кое-где ставила точки, а кое-где — нет. Ездандукте совсем была не по душе такая жизнь — она старела на глазах, тогда как Татьяна-Ныванна хорошеела. И Ездандукта, постарев, а Татьяна-Ныванна, похорошеев, иногда между собой разговаривали. Женский вопрос, который интересовал их обеих, остальных друзей мало интересовал. И друзья мало прислушивались к тому, о чем они говорили — хотя больше говорила Ездандукта, а Татьяна-Ныванна больше молчала. Но друзья не прислушивались к тому, о чем гово-

рила Ездандукта, о чем молчала Татьяна-Ныванна. За исключением, может быть тех случаев, когда Ездандукта громко говорила, а Татьяна-Ныванна громко молчала. И то, что женщине надо дать свободу, чтобы она была на одном уровне с мужчинами, а мужчина тоже чтобы был на одном уровне с мужчинами, нет, женщина не стремится стать мужчиной, а сразу стремится стать человеком, а мужчина сначала стремится стать мужчиной, а потом человеком. И поэтому у женщины путь короче, а у мужчины — длиннее. Счастливого пути! А Татьяна-Ныванна редко спорила, а Ездандукта даже иногда спорила сама с собой. Поспорит и согласится, а иногда и не согласится. А Лжедмитрий чем занимался? За какого Дмитрия он теперь себя выдавал? За какого-то другого, даже не за того, что раньше, а за того, что позже.

И чем позже приходил Борис, тем позже все ложился спать. Как только он приходил, так сразу все и ложился. Только милый мой ложился раньше. Он всегда ложился раньше, чем приходил Борис позже.

И время тянулось, и вечера, и мысли. И Борис тянул с ответом, а милый мой с женой. И так может быть все тянулось бы и тянулось, если бы однажды вдруг Борис не собрался и не ответил — на гнусно-газетное письмо. И ответ его был именно такой, какого ожидал милый мой. Ответ был — жутко-благородный, страшно-честный, ужасно-прекрасный. В своем ответе Борис ясно написал, что отказывается от дуэли, потому что не считает письмо для себя оскорбительным. Его ударили по одной щеке, а он подставил другую. Он подставил другую щеку для другого удара. Ударом для Бориса была свадьба. Свадьба как будто должна была всех помиловать. Как будто милый мой вдруг влюбился в Ездандукту, нет, как будто он любил Петю, и Петя как будто тоже была в него влюблена, а Борис как будто бы не замечал этой влюбленности, и чтобы Петя и милый мой могли встретиться, как будто бы ничего и не произошло, как будто бы и не было никакого грязно-анонимного письма, как будто все было хорошо, и как будто бы все друзья радовались, что все так хорошо кончилось, и как будто бы Борис уже не приходил поздно, и милый мой мог не ложиться рано, чтобы они здоровались как будто были друзьями. Но это было, только как будто бы это было.

И как будто бы все происходило не здесь — за границей, а там — на Родине, как будто бы ко всей неразберихе, которая была на Родине, добавилась еще эта неразбериха со свадьбой; и на людей, которые давились в метро, страшно было смотреть при мысли о войне, как будто война началась в метро, и как будто в час пик плотно прижавшиеся к друг другу трупы не могли и пикнуть, как будто при таком извращенном строе нарушался естественный строй жизни — происходило извращение извращений, — педерасты становились — педерастками, а лесбиянки — лесбиянами, и как будто зарплата советских граждан была не зарплатой, а пособием за вредность советской жизни, как будто на это пособие было вредно жить и как будто вредных людей становилось все больше и больше, а вредных животных все меньше и меньше. И как будто бы это было на самом деле.

Но на самом деле все было очень хорошо. Прелестно. Восхитительно. Удивительно.

И просто прекрасно. Нормально. Сносно.

После того как Борис послал свое письмо и отказался от дуэли, милый мой почувствовал себя победителем, а Борис — побежденным. А Петя любила Бориса. В этот момент, в момент бури, когда кипели страсти: драться — не драться, быть или не быть, Петя обняла его — и он вернулся — именно в этой последовательности: сначала она его обняла, а потом

он вернулся, а не сначала он вернулся, а потом она его обняла.

Вот только дом стал разваливаться. Если он раньше был разделен на женскую и мужскую половины, то теперь все развалилось и смешалось. И та половина дома, где были женщины, стала наполовину мужской половиной, а там, где были мужчины, — от этой половины не осталось и половины от мужской половины. Все смешалось: Лжедмитрий воссоединился с Татьяной-Ныванной, милый мой с Ездандуктой нашли свое место под солнцем, Глеб Ил. И. вообще не имел привязанности к какому-нибудь определенному месту — его местом было его рабочее место, где он мог или писать, или читать, или — или. А н. з. красил свое место как человек, который красит место, а не как место, которое красит человека. Только Петя с Борисом не находили себе места ни на одной половине и переходили с места на место.

И чувствовался запах — пахло весной, как в Москве, когда Петя еще тогда любила Бориса, и снег был черный от грязи, и запах нарциссов, смешанный с запахом бензина, и женщины, которые еще не вымерли, они все-таки скорее кошки, а мужчины скорее — собаки, и если там и там порода, если женщина — из породы — кошачьих, а собака, она же дог, она же негр, индеец, европеец и муж, пусть только не вымрут последние кошачьи, собачьи и прочие...

Петя с Борисом отсоединились, уединились, объединились, и в духовке жарилась индейка, она была скульптура, нет, она была — сооружение, состоящее из твердой конструкции — костей и мягкого мяса, она накалялась, плавилась, и по ней тек металлический жир — она была съедобна... И крылышки у кролика, который умеет летать, — съедобны, и дополнительные ножки у курицы, которая стоит на четвереньках, — съедобны, и поросенок, начиненный бараниной, который умеет плавать, как рыба, и все съестное, которое плавает, летает и щебечет, это все, чтобы это съесть, выпить и закусить, приятного аппетита!

Птица, которая уже никогда не взлетит, шипела в духовке, а друзья куда-то разлетелись. Дом опустел. Чей был этот дом? Кто знает. А кто знает, чей этот мир? Снег за окном летал. Он улетал и прилетал новый. Он летал на крылышках, которые были у снега. И даже если этот мир разлетится, если у людей отлетят ручки и ножки, снег все равно будет прилетать каждую зиму, и каждую весну — улетать. И как прошлогодний снег, прошлогодние мысли, как прошлогодние листья, напоминали о прошлогодних днях. — ты куда-то все время уходишь, — сказала Петя Борису, — куда?

— я работаю.

— туда, куда ты уходишь, ты там работаешь?

— каждый день.

И пока несъеденная птица остывала, превращаясь из горячей баранины в холодную индейку, Петя с Борисом вышли из дома и пошли куда глаза глядят.

Освещенная дорога вместе с домами вдоль дороги слегка покачивалась от света. Свет проникал в самое сердце дороги. Петя с Борисом шли, и дорога их вела. Она увела их далеко от дома и привела к другой дороге, которая вела к другим домам, к целой клумбе домов, это были высокие белые дома, очень хрупкие, и не только от света, который падал на эти дома, не только от снега, который летал над ними, ниже этих домов были деревья, которые окружали их, как кустарники, и в самой высокой точке этой клумбы стоял один дом.

— ты видишь, — сказал Борис, — вон тот дом.

В отличие от других домов, окна его не светились, кроме одного окна, примерно на уровне пятого этажа, там был огонек в глубине, маленький свет, ночник или настольная лампа, и этот свет освещал весь дом.

Это окно было похоже на петино окно в Москве: в ее доме, только этот дом был как будто нежилой, а как будто декоративный, он стоял как будто на память о жизни, как памятник.

— вижу, — сказала Петя.

Может, от освещения, но дом этот был похож на туман, просто у тумана была твердая форма, и дом не расплывался.

— похож на твой дом.

— издалека, — сказала Петя, — похож.

Эту клумбу домов, с одним домом на вершине клумбы, окружала река, скорее, тоже декоративная, с маленькими бумажными корабликами на реке, которые подгонял ветер. И над этой рекой летали бумажные самолетики, которые кто-то запустил. А кто? А кто пустил кораблики? И чтобы пройти к клумбе домов, надо было перейти через мост, который кто-то перекинул через речку, и над этим мостом висела луна. Луна перешла через речку, стала подниматься над клумбой, и когда она остановилась над самой вершиной, над домом, который стоял на самой вершине, она там постояла и стала спускаться с другой стороны клумбы, и там, где она скрулась, протекал лесок. Река растет, лесок течет. Время течет. И когда оно утекло вперед, Петя с Борисом пошли назад. От индейки остались крылышки, потому что друзья еще раньше вернулись и поужинали, а крылышки оставили им на ужин, и крылышками нельзя было утолить голод, только жажду, они их выпили и закусили вином, которое друзья оставили, недопив. И когда они выпили и закусили, они увидели в комнате, в которую из другой комнаты пробивалась полоска света, в этой полоске света, стоял плоский, как полоска, androide, разрезая темноту светом.

— андрюша, — позвала его Петя, — кис-кис-кис.

Но в этом мире сна есть вещи, с которыми нельзя шутить, которые сделаны не из шуточного вещества. И они могут укусить. И андрюша тоже может укусить светом и звуком. И поле, которое волнуется, как море, с морскими волнами в чистом поле, и море, которое цветет, как поле, — с этим тоже не надо шутить. Надо серьезно жить, и шутки ради умереть — злая шутка.

Петя с Борисом уединились у себя в комнате, которую с некоторых пор они называли своей, с тех пор, как милый мой стал называть Ездандукту своей. Всегда в своей комнате по-своему хорошо.

Борис посмотрел на свою живопись, а Петя на свою, было еще не настолько светло, и живопись представляла из себя гравюру, где есть только темные и светлые пятна, тень и свет, но нет цвета. И Петя с Борисом тоже были не цветными, они были чернотелыми, светло-темными, хотя Петя была светлее, а Борис темнее, а когда они накрылись одеялом, они оба стали темными в темноте, хотя теперь в темноте Борис наверху был светлее Пети, которая была внизу темнее Боровицкого холма, который был наверху Москвы светлее самой Москвы, на которую открывался вид сверху, и холм, который оседал на столько-то миллиметров в год — двигался, а не стоял на месте, потому что вся лишняя тяжесть, которая на нем стояла и давила на него своей тяжестью, эта тяжесть вдавливала его в землю; и лишний вес Мавзолея, и лишний вес Дворца съездов, и лишний вес танков и пулеметов, которые перли каждый год справа налево, если стоять лицом к Спасской башне, и если бы не было этого лишнего веса, холм бы не оседал так быстро, потому что красота не давит своей тяжестью, и собор Василия Блаженного не давит, и Кремль, и с легкостью можно было бы стоять на холме, и с легкостью проходить через Спасские ворота, сняв шапку, которую снимал даже царь, чтобы быть еще легче; но черным тачкам легче всего давить колесами

на холм и закатываться в ворота, не снимая шапки. Люди отдельно, колеса отдельно, колеса через один вход, люди через другой выход. Вход с другой стороны. Обход. Обезд. Проход закрыт. Вход за углом. Вход с сумками запрещен. Закрыт на ремонт. Санитарный день. И шум, который был над одеялом, был не просто шумом, это шумел андрюша, который гулял по поверхности одеяла. Он разгуливал по волнам, которые были на одеяле, он любил пошутить со своими объектами, и пер, как танк, справа налево, под его тяжестью холм, покрытый одеялом, оседал. Под одеялом было темно, а кто знает, сколько измерений в темноте: точка и линия? линия и площадь? площадь и объем? а когда под одеялом стало трудно дышать, Борис стал мастерить в воздухе такую модель из кубиков, причем кубик был виден со всех сторон одновременно. К тому же кубик был непрозрачный. Поверхность одеяла, если ее увеличить в размерах и посмотреть на нее сверху вниз, хотя бы с самолета, выглядела очень живописно. Выпавшая серебряная монетка поблескивала, как озеро, вокруг которого были рассыпаны табачные крошки в виде песчаной отмели, и за этим озером торчал спичечный коробок, одинокий, как дом. И когда этот пейзаж стал увеличиваться и располагаться на земле в виде натурального пейзажа, освещенного натуральным солнцем под натуральным небом, Петя с Борисом обнялись на прощание перед сном, потому что кто знает, что ожидает во сне и после сна, и натуральным образом заснув, они превратились в людей, которые спят, а кто знает, что такие эти люди, которые спят.

И дружеское письмо в потемках сна казалось совсем невинным во сне, и если во сне черные, белые, желтые резали друг друга; и все, и все остальные были во сне язычниками, и среди них были воры, пилигримы, рабыни, проститутки, пираты, то одна просьба, прозвучавшая во сне, могла показаться абсолютно невероятной, а наяву? Одна эта просьба, которую высказали друзья в дружеском письме, и наяву казалась невероятной. Все остальные просьбы можно было выполнить, а чтобы выполнить эту просьбу, нужно было во сне стремительно превратиться из язычника в христианина. В дружеском письме об отмене смертной казни, в частности, говорилось следующее: что «отмена смертной казни — это хорошо. Потому что есть они и мы. И они — это те, кто убивают, а мы — это те, кто могут быть убиты. И все равно это хорошо не для них, а для нас. Если они будут знать, что мы их не убьем, они и не сделают то, что сделают, если будут знать, что все равно мы их убьем — ну смерть за смерть. А если они будут знать, что никогда в жизни, ни в настоящей жизни, ни в вечной, ни при какой погоде мы их не убьем, что они и в этой жизни и в вечной жизни никогда не расплатятся за свой грех, и этот грех будет давить им на сердце и в космосе и под землей — вот самое страшное наказание для них, потому что все, кого убили, — мы — все равно живые, а все, кто убил, — они — все равно мертвые».

Трамвай — туда-сюда и те люди — в ту сторону, а эти — в эту, а не могли бы те люди быть этими людьми, чтобы не ехать из той стороны в эту, а эти люди быть теми людьми, чтобы не ехать из этой стороны — в ту. Одно и то же.

И пока Петя с Борисом спали обнявшись, наступил рассвет, и вечный вопрос пола в ночном пейзаже, где есть ночной свет, женщины и мужчины, любовники и любовницы, уступил место — ответу в дневном свете, который освещает маму и папу, школьника и школьницу.

И только ночью, уже под утро, в следующую ночь Петю с Борисом разбудила любовь. Это была самая настоящая любовь, она началась с желаний, продолжалась и кончилась объяснением в любви, она поче-

му-то не кончалась эта любовь, ее нельзя было удовлетворить, даже когда она убегала, и тела успокаивались, она опять прибегала, и опять с самого начала, как с самого первого момента любви, Петя просила эту любовь дать ей Бориса, а Борис просил дать ему Петю. И она, эта любовь, давала им друг друга. И в момент любви они делали друг с другом все, что приказывала им любовь, и все ее приказания были с любовью исполнены, и даже все, что Петя не хотела, а любовь хотела, Петя делала, и Борис делал все, что требовала от него любовь, а она была очень требовательной. И по первому ее требованию Борис оказался в конце Пети, а она в начале Бориса, а потом Петя в конце Бориса, а он в начале Пети. Она вертела ими, и они ей давали так играть с собой, но это была не игрушечная игра, а очень серьезная, они играли серьезно и самозабвенно, и они называли ее по имени, и она их любила, спасибо ей, спасибо им. И когда они устали от нее, и она их бросила, она тут же вернулась обратно. И даже когда она, эта любовь, уже была, они хотели ее так, как будто ее еще не было, и она довела их до абсолютных признаний в любви, и им нечего было от нее больше скрывать, что они принадлежат ей, и они готовы были опять давать ей, она им не врала, что любит их, и они это точно знали, даже когда они давали ей насиловать себя, и когда давали ей себя не изнашивать. Они были втроем. Она делала с ними все, что ей было угодно, а они потому подчинялись ее желаниям, потому что это были — их желания. Все, что Борис говорил Пете, это все было от ее имени, и то, что Петя ему говорила, было от ее имени. И они втроем были материальны. И Петю с Борисом так плотно она прижала друг к другу, что между ними нельзя уже было просунуть палец, между ними совсем уже не было пустого пространства, только пустота в глазах от счастья. Но ведь глаза — это не пространство, а что это такое?

А потом она, любовь, дошла до того, что она их перепутала, и Петя уже не знала, где начинается Петя и где начинается Борис. Они начинались вместе, и они кончались вместе, и когда она звала Петю, то отзывался Борис, он говорил: «это я», а в «я» разве есть женский или мужской пол, в «я» есть только «я» — начало любого любовного пола, и Борис был любой Петей, и Петя была любым Борисом, вот что она с ними сделала, и когда она этого добилась, столько было потрачено слов, хотя это были все одни и те же слова, и поскольку их было мало — «я тебя люблю», то сказаны они были много раз, и сто раз сказанное слово «люблю» не удовлетворило любовь, потому что она любила их и требовала повторения. Чем они так прилипли ей по вкусу? их собственным вкусом, или она выбрала их по своему вкусу. И вкус во рту, который остался от любви, был вкусом любви, ни с чем не сравнимый вкус. И то, что есть живопись, на которую потрачено мало краски, и есть музыка, на которую потрачено мало нот, и есть любовь, на которую потрачено мало слов, потому что их всего три. А потом она с ними сделала совсем невероятную вещь, она лишила их невинности в том месте, которое было у них еще невинно. И у Пети нашлось такое место. Нашлось и у Бориса. Да, они не были теперь невинны перед ней абсолютно, но они не были перед ней и виноваты, потому что это была любовь, которой все позволено в момент любви. И даже когда она их бросила наяву, она их на самом деле не бросила, а взяла с собой в сон, и во сне продолжала творить с ними много любовных чудес, так как в поезде была южная ночь, и в их купе не было крыши над головой, — вверху медленно проплывали звезды, а поезд пробирался сквозь чащу, то есть над самой головой были ветки деревьев с темными листьями, и они лезли в купе через крышу и шуршали, и поезд шуршал,

проходя через этот лес, но шорох был тихий, как будто поезд шел, а не мчался, он шел пешком. В купе была всего одна полка, совсем не узкая, и если обняться, то хватало места, и, устроившись на этой полке, Петя с Борисом целовались навстречу ветерку, который задувал сквозь отсутствующую крышу, и ветерок их так растеребил, что они присосались друг к другу в этом движении, в покачивании. Их собственное движение, покачивание, очень подходило движению поезда, они покачивались вместе с ним, и сердце замирало от глубины, и когда одно положение, в котором очутилась Петя, лежа на животе, лицом к двери, она была внизу, а Борис был наверху тоже лицом к двери, оказалось, что дверь у купе отсутствует, а вместо двери висит легкая занавеска, которая развевается от ветра, и при таком положении пассажиры могли увидеть Петю и Бориса, и Петя застыдилась, и при полном отсутствии стыда Борис не отпустил Петю, он закрывал ее собой и продолжал все делать так, как будто пассажиры не ходили мимо двери, и он поймал ее руку, и в петиной руке сосредоточился Борис, и было уже не слышно, что он шептал, и рука стала самовольно вести себя, и то, что их видели пассажиры, которые проходили мимо их купе, то, что они видели, когда занавеска отлетала, было не все равно. Все равно то, что валялось на полу, перекатывалось из одного угла в другой, и на одной ноге у Пети был сапог, который упирался в подушку, а вторая нога свешивалась с полки, потому что полка вдруг стала резко сужаться под ними, и до такой степени сузилась, что на ней теперь мог поместиться только один человек, и Пете с Борисом приходилось теперь все время лежать друг на друге, и когда нога Бориса уткнулась в петин каблук, было ясно, что Петя с Борисом сами были не деревянные. Они старались почти не шевелиться, чтобы их не заметили пассажиры из коридора, которые прохаживались, курили и разговаривали, о чем они говорили? На иностранном языке. Зрители. Совсем не люди. Они были иностранцами для того, чтобы у них на глазах Петя с Борисом могли любить друг друга, совсем не стыдясь их. И Петя с Борисом окончательно были не для иностранцев, но иностранцы были окончательно для Пети и Бориса. И разнужданность пришла вместе с этой мыслью, и они могли позволить себе вести себя громко, но они продолжали вести себя тихо — для себя. И то, что слегка шевелилось, и то, что почти не шевелилось, и то, что спало, и было одето, и было снято, то, что было «под», «над» и «в», — все это нужно было для этого дела, и само дело, которое они делали, было этим делом всей жизни, и вся жизнь была этим делом. И после этого дела занавеска одеревенела и стала дверью, иностранцы разошлись по иностранным странам, крыша купе захлопнулась, деревья встали на место вдоль железной дороги, сон встал вдоль пробуждения, начался новый день.

3.

После такой любви, когда все-все было вместе, когда Петя с Борисом вместе заснули, то проснулись они почему-то отдельно.

— интересно, Пушкин курил или нет?

— выпивал, играл в карты. Наверное, курил.

— но ты думаешь, курил?

— никогда об этом не думал, — сказал Борис и задумался: курил ли все-таки Пушкин или нет. Борис еще спал, и, усыпляя Петю своим сном, он еще немного поспал: если бы Пушкин курил, то и Онегин бы курил, и Борис Годунов, и Медный Всадник, а Медный Всадник действительно курил, а Наталья Николаевна не курила, и Маша Миронова, и Таня, и Петруша,

а Швабрин — курил — и был плохой — и курить — плохо.

Борис лежал отдельно от Пети — с краю, даже его руки и ноги лежали отдельно. И Петя лежала отдельно от его рук и ног — у стенки. Борис встал первый, а Петя вторая, и Борис умылся и побрился, а Петя причесалась. И Борис оделся — первый. И у каждого из них была своя одежда, и одежда не могла их перепутать, и они не могли перепутать одежду. И Борис первый сказал: «я сейчас поеду». И Петя ничего не сказала. И Борис стал собираться, чтобы уехать. Он собирал сумку, он собирался и собирался, и Петя смотрела, как он собирается, чтобы уехать. И когда он, наконец, собрался, Петя отвернулась, чтобы увидеть, как грустно за окном, только чтобы Борис не видел, как ей грустно. И вдруг Борис сказал: «собирайся». Как же она от счастья собралась мгновенно. И даже то, что никогда быстро не застегивалось, — застегнулось мгновенно. Она была готова тут же. «Куда мы идем?» — спросила Петя, когда они уже отошли от дома. Они шли и шли, и Борис не говорил, куда они идут, хотя он, конечно, знал, куда, а Петя не знала, куда, и просто шла туда, куда он ее вел. Он привел ее к дому. Это была обычная девятиэтажная башня, белая блочная коробка. Они вошли внутрь. И то, что Петя сейчас увидела, было то, о чем она раньше только слышала от Бориса, — это был Коломенский храм в коробке. Они стояли внутри коробки, внутри храма, и Борис показал на один купол, который еще не был достроен. По стенам ползали маленькие люди с лопатками и хлопали по стенам, то есть люди казались маленькими, потому что они были высоко. Петя с Борисом стояли внизу, а люди ползали наверху, и сверху им было видно, какие маленькие Петя с Борисом внизу. Но все, все до одного — были настоящие. И храм был настоящий, он был по-настоящему сделан. Стены были белыми, как воздух, синий купол был, как синее небо, и на нем были звезды, золотые, как звезды. И в этот миг в храме Петя любила Бориса даже больше, чем в постели, потому что сейчас пела душа, а в постели — пело тело. И от всей души хотелось что-нибудь сейчас спеть телу. И то, что придумал один Борис, теперь строили все вместе: сто человек делали то, что придумал один человек, и это было для всех людей — вместе. И то, что Борис не хотел показывать Пете, то, что было не достроено, было еще лучше, что он показал. Это был процесс и в процессе жизни, это был процесс работы в процессе любви. И Петя поцеловала Бориса, как давным-давно у него в мастерской, когда они были в коробке, в макете храма, только тогда храм был ненастоящий, а целовались они и тогда и сейчас — по-настоящему всегда. Пальто было перепачкано в побелку, потому что побелка пачкается, если прижаться к стене, а они как раз прижимались к стене, потому что так было удобнее всего целоваться. И люди, которые работали, может, они и видели, как они целуются, но они работали — и не видели. И Петя с Борисом целовались и не видели, как они работают. Но те работали хорошо. И Петя с Борисом целовались хорошо.

4.

Н. з. проснулся, в нем проснулся необходимый запас жизни, и он запел. То, что его в жизни били, то, что его уже тридцать лет не били; что такое тридцать лет для вечности? он был уже избит на всю будущую жизнь вперед — тридцать лет назад. Ни у кого не было такой ласки, чтобы его приласкать так, чтобы он не чувствовал себя избитым, даже его собственные стихи не ласкали его слух, его разучили жить с тем,

чтобы он разучился писать стихи. Он не умел их писать теперь как самый обыкновенный человек. Из него так вынули поэта, как будто поэт в нем сидел, и поэта били и выбили, а человека били, а он остался, потому что человек живучее поэта, хотя поэт живее человека. Нельзя сказать, что н. з. был мертвым человеком, человек он был живой, а поэт — мертвый, и человеческие радости были ему не чужды, а поэтические — чужды. Н. з. сидел и потягивал, он заливал в себя рюмку за рюмкой, и как человеку ему все было по фигуре. Он потихоньку вымирал — и как просто человек и как человек — венец творения. Это была слабость. Но это была его личная слабость. Не всех людей вместе. Если бы людей всех вместе охватила такая слабость, и людям стало бы все по фигуре, вот тут бы они и вымерли как люди, остались бы, конечно, некоторые особи, но человека бы не осталось бы от человека, только рожки да ножки.

И когда Петя с Борисом вернулись обратно домой, друзья думали, что бы им сделать, и придумали. Они додумались до того, что решили все вместе, всем дружеским кружком — сделать вылазку в свет. Свет был на стороне, вместе со светским обществом, в стороне от дома, в той стороне города, где резко различались — свет и тень. Наступал вечер вместе с вечеринкой, на которую решили отправиться друзья все вместе по случаю... а случай всегда есть. Случай был подходящий — милый мой помолвился с Ездандуктой. Петя решила тоже пойти, потому что не могла отказать сестре, а Борис не мог отказать Пете, и все вместе они решились на такой поход. А Лжедмитрий с Татья-Ныванной были просто прекрасной парой; которая — к любому месту и — к любому времени.

А Глеб Ил. И. решил, что раз уж все решено, в нем не было решимости остаться дома одному. Решено. И дождик шел. И снег с дождем. И ветер со снегом, и дождь с ветром, все вместе — с дождем.

— ты не рад? — спросила Петя Бориса.

Радости в нем действительно не было. Он шел вместе со всеми, чтобы не отставать ни от кого, потому что все вместе шли.

— но мы же вместе, — сказала Петя.

— вместе со всеми, — сказал Борис.

— вместе с тобой.

— рад, конечно, — сказал Борис, — конечно, рад.

Как было не радоваться тому, что все так хорошо кончилось. И милый мой с Ездандуктой наконец нашли друг друга и успокоились, и всех остальных, наконец, оставили в покое. Но на душе у Бориса было неспокойно. Его душа что-то знала, но не знала, как об этом сказать петиной душе, которая ничего об этом не знала. Вечеринка происходила в красивом доме, и на столах были красивые блюда, и на девушках — красивые платья, и дамы были любезны, а мужчины — галантны, и мужчины пили из бокалов, потому что они были побольше, а дамы из стаканчиков, потому что они были поменьше. И н. з. должен был петь, а гости — танцевать, потому что н. з. специально для этого пригласили, и гостей специально для этого пригласили. А милый мой был очень милым и обаятельным. Он вел себя — и как жених и как влюбленный; и как будущий муж и как будущий любовник. Но только как жених и будущий муж по отношению — к Ездандукте, а как влюбленный и будущий любовник — по отношению — к Пете. Он не выбросил из головы свой роман с Петей, наоборот, на вечеринке он вел себя как герой романа. А Петя веселилась от души и не понимала, почему Борис грустил, и когда он спросил: «что ты хочешь?» и Петя сказала: «я хочу женщин, вина, кофе и сигарет», и Борис не обрадовался шутке, и Петя сказала: «это шутка», Борису было — не до шуток, а Пете — до шуток, и она продолжала шутить, и вся жизнь

казалась — шуткой, и шутка — казалась — жизнью.

А когда н. з. вдруг заплакал посреди песни, хотя песня тоже была шуточной, он вдруг сам стал шутить над своими слезами. Он шутил и плакал, плакал и пел, пел и шутил. Он плакал, потому что жизнь была не шуткой, он пел, потому что шутка была не песней. Вечеринка удалась! И развеселившись, все гости перешли в маленький залчик, где подавали пиво, и милый мой пошутил, что пиво лучше всего пить в сортире среди унитазов и писсуаров, чтобы не отходя, заливая — отливать, а если пить на берегу моря, то требуется все время купаться, а если в роще — уходить в чащу, а если в чаще — уходить в рощу. И шутка его не показалась грязной, потому что сам он был чистым, гениальным и красивым. Пока милый мой танцевал с Петей, Глеб Ил. И., Борис — Глеб или Борис — курили, а Ездандукта пела с н. з., а Татьяна с Лжедмитрием пили и ели, и так все напились, наелись, натащивались и нацеловались, что надо бы было и разойтись, но милый мой тут же в этот же вечер женился на Ездандукте и тут же в этот же вечер сделал Пете предложение — принадлежать ему в этот же вечер, ради чистой шутки. И все это вместе показалось Борису — грязным. И чтобы милый мой вышел из этой шутки — чистым, его можно было только в чистом виде убить, и с ним вместе убить и чистую шутку, что и собрался осуществить Борис в этот вечер, чтобы милый мой не существовал больше в этом чистом мире в чистом виде.

Но мир был грязным. И никто не узнает об их поединке. Никто из друзей. Потому что в этот же вечер, уже на рассвете, после вечеринки, Борис и милый мой поехали стреляться, и между соперниками все время маячил андюша, и когда Борис стал целиться, андюша повернулся так, что стал плоскостью, и милый мой оказался заслоненным андюшей, и когда, наоборот, милый мой прицелился, андюша так повернулся, что Борис оказался совершенно открытым перед дулом пистолета, потому что по отношению к нему этот андроид был линией. И андюша так вертелся и — то заслонял Бориса плоскостью, и милый мой был открыт, то, наоборот, Борис был открыт, а милый мой защищен, потому что двумерный андюша, состоящий из линии и плоскости, наудачу подставлял то одного, то другого соперника, удача была в самом андюше, и андюша был в самой удаче. Нематериальная удача была сейчас между соперниками в виде материального андюши. И милый мой мог искупить себя только смертью, а Борис мог отомстить ему только жизнью. А получилось все наоборот. Борис стрелял и не попал, а милый мой стрелял — и попал. И попал он именно в Бориса, а не в андюшу, и Борис упал. Он упал, но не сразу умер. И когда его привезли домой, Петя почувствовала, что он умирает. У него была открытая рана в животе, и он весь в этот миг был открыт перед ней, и в этой открытой ране она увидела, что у него в животе нарушен контакт, и там то была искорка, а — то ее не было, и у него в животе было напряжение — и то оно было, а то оно куда-то исчезало, и пока искорка была, и контакт был, — Борис жил, и вдруг искорка стала появляться все реже и реже — в нем что-то отсоединилось, куда-то делось напряжение, а куда оно делось? правда, куда?

Петя плакала и плакала. Как она плакала. Ее мог утешить только Борис, но он уже умер, и уже ее некому было утешить. Она плакала безутешно. Она начинала плакать, и когда она уже кончала плакать, она опять начинала плакать. Она плакала совсем не так, как плакал н. з., потому что он потихоньку пел и плакал, а она не пела, а только плакала и плакала. Все, что бы она ни делала, она делала и плакала, а дел было много, и иногда она плакала совершенно по-

деловому: она что-то по-быстрому делала и по-быстрому плакала. То есть она плакала все время. Конечно, больше всего было жалко Бориса, который — потому что умер — остался без Пети, но больше всего жалко Петю, которой было жалко Бориса, которая — потому что жила — осталась без Бориса.

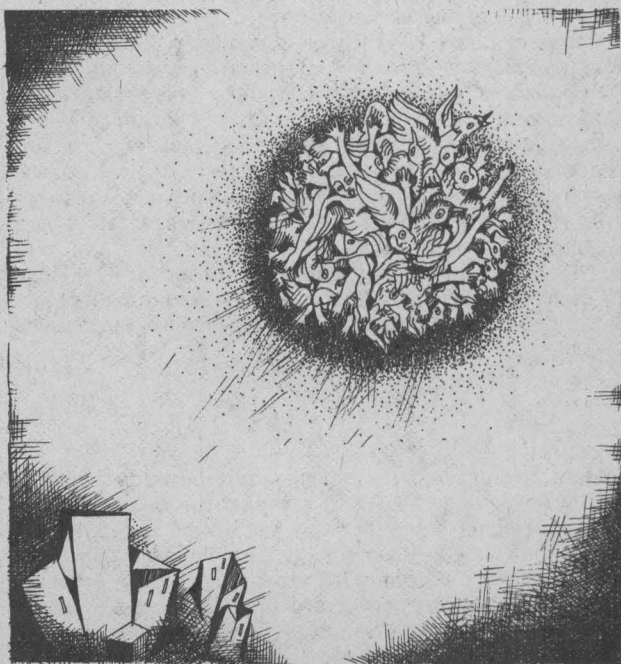
И друзья всем дружеским кружком, как-то все спохватились, и не могли без слез думать о своем дружеском письме, которое они послали к себе на Родину. Ведь письмо было не шуточным. И друзья тоже могли бы заплакать оттого, если бы к их письму отнеслись, как к шутке. Или как к злой шутке. И Борис был убит, потому что жизнь показалась шуткой. И не было никаких слез, чтобы оплакать эту шутку. Потому что жизнь была совсем не шуточной, а слезы, которые оплакивали жизнь, были шуточными по сравнению с жизнью.

И шум поезда, который шумел, как море, с частотой покачивания колес, и покачивание моря, которое покачивалось, как поезд, с частотой плеска волн, это было все то же самое, но не было Бориса. Петя удалась от Бориса с частотой сердца, и это уже была литература.

...и когда он умер и его туда привезли отпевать, казалось, что он уже достроен, все, что в нем было не достроено, казалось, так и надо, вот именно так и надо, и не надо ничего трогать, потому что если сделать только лучше, то будет только хуже. И его отпевали в его храме, который он построил — который был храмом изнутри, а снаружи был обычной блочной коробкой, похожей на каменную, и сам по себе Борис в этот миг был Борисом только изнутри, а снаружи он тоже был блочной коробкой, похожей на каменную.

И пели птицы. И люди тоже пришли и запели. И у всех вместе — получалось. И даже те, кто не умел петь, у них тоже получалось. И когда люди допели, и птицы спели и улетели, люди тоже разлетелись.

1990





Татьяна ВОЛЬТСКАЯ

Стог

Стог — мертвый город, город легких улиц,
Развешенных, как сети, вверх и вниз,
Они как будто не проснулись
И мелким топотом еще не налились.
Поломанные зонтики укропа,
На пыльном двореке рассыпана казна...
В Помпеях так вот, в золотом углу Европы —
Тела любовников, сосуды для зерна.
А здесь — стропила, перепонки
Разбитых стен, обуглены сады,
Крошится тельце колокольчика-ребенка,
Кипрей зачах в объятьях резеды.
Смерть — не с косой, она косой не крутит,
Она сама — зигзаг и взвизг косы,
И к ней скелет приставлен для красоты,
Чтоб лепетал и заикался лютик.
Она — весы, она — затейник-зодчий
Из эпигонов Корбюзье,
Чтоб кожа лопалась, чтоб мускул кровоточил,
Чтоб арматура билась на гвозде,
Вздувались над крыльцом кишки водопровода,
Из полых стебельков золой вилась пыльца,
Чтоб душный стог дремал близ огорода,
В соломах-улицах храня цветов тельца;
И только археологи-жуки
Казались к ним кошунственно близки.

Листая лес

Лес
Лез мне в уши, в нос, братался с каждым геном,
В нем земляника шла Марию Стюарт,
Ель дыбилась упавшим Карфагеном,
Взметнув корнями мох, обрывки карт,
Гексаметры, кусты незрелых ягод.
Орлино клекотали лопухи.
Улитка двигалась на яркий запад,
В карете, как сенатор Лопухин.
Я лес листала, взяв его, как с полки,
Хвоинки сыпались — им грош была цена —
От голода на Волге,
От капризов полки, —
Мешаясь с травами, теряя имена.
И душным клевером корпел помор ученый,
И кленом бормотал святой,
Осины бок, при страстно освещенный,
Сиял Екатериной завитой.
Сплетая в сочный ком Ассирию и Муром,
Листы росли сквозь пальцы. В их бреду,
Кипеньи, тленьи — на смех курам —
Я думала: к зиме куда я упаду?
А впрочем, замерев на гаснущей дорожке,
Осталось нам твердить мгновенья, как стихи,
Играя дунною застежкой,
Целуя древнее тиснение ольхи.

Ливень

Все опрокинув, ливень летний,
Стремительный, как час любви запретной,
Промчался.

Ждущая укоров,
Дрожит трава, как школьница, с уроков

Сбежавшая. Все в беспорядке
Оставлено — дома, заборы, грядки,
Реки разбитое стекло.
Упав на гору, дышит тяжело
Большое облако. Куст всхлипывает.

Всюду

Тарелки луж — немытою посудой,
И, скомканные, кое-как
Наброшены потемки впопыхах.
А ябедник-овраг, раззявив
Беззубый рот, как будто ждет хозяев,
Ручьем сочится мутная слона.
И стынет даль в платочке у окна.

Пир

Танцует ветер в плещущих лесах,
Леса танцуют, важно выступая.
В разбросанных колючих волосах
Шуршит и летя лента голубая.

Всяк расступись, всяк — полем ляг. Закон
Един для всех. Рабыней ива никнет.
Серебряного ручейка шнурком
На юной роще схвачена туника.

Кто на поляны вносит сотни свеч?
Кто связки уронил теней кинжалных?
Мне этот танец кажется зловещ.
Глаза цветов — младенческие; жаль их...

Мне виден мир, готовый повторить
Своих бесчинств классических парады,
Тысячелетий стягивая нить;
Течет вино, звенят браслеты радуг.

В разгаре праздник, плясок вихрь и прах.
Его цены пока не знают люди.
А солнце высыхает в небесах,
Как голова Крестителя на блюде.

☆☆☆

Я тебя не люблю, не люблю. (Клочки
Снежных дворов, стеклянного хруста.)
Как бабушка ищет свои очки,
Я ищу потерявшееся чувство:
С причитаньями. — Нет нигде, ни в одной
Щелке. Комната — камера пыток.
Хорошо еще, ранней весной
Начинаешь бродить, как напиток,
Выливаться в улицы. Покрывают лоб
Пузырьки. В груди книг телефон — как мина.
Хочется вылететь пробкой — через сугроб
Мимо качелей, скамеек, мимо
Свалки, выбив паркетное дно,
Позабыв, что и так повсюду
Время выпивает нас, как вино,
И разбивает посуду.

Где двуглавые сосны...

Где двуглавые сосны стоят у дверей,
В белых шубах скрывая свое оперенье,
Где похожи сугробы на диких зверей,
У закрытого входа пригнувших колени,

У ворот Петербурга, глядевшего вдаль,
В небо, за море — снежного паруса нет ли, —
Поклонись и последнюю почесть отдай,
У ворот Петербурга, прохожий, помедли.

Он лежит у реки, застегнув фонари,
Положив в облака Петропавловский кортик.
В тихой кухне, душа, о любви говори,
В кольцах дыма, неверные, с нею не спорьте.

Как железный башмак, продырявленный стих,
Восклицательный знак, словно посох, не внове:
Спит навтыжку мой непробудный жених,
Если будет — так будет разбужен любовью.

Из полуночных кухонь, рассохшихся шпал,
Из гниющих канав, перепутанных рельсов —
Обожженный слезою — «Как долго я спал!» —
Улыбнувшись, привстанет с подушек карельских.
г. Санкт-Петербург



Count Vasily Komarovskiy
1881 - 1914

ЛЕБЕДЬ ПОЗАБЫТЫЙ

Без сомнения, одна из поэтических столиц России — Царское Село. Об этом заявил в свое время смуглый отрок, читая свои «Воспоминания» перед изумленным Державиным. С тех пор читатель изучает этот городок по стихам Жуковского и Анненского, Георгия Иванова и Анны Ахматовой.

Духом-покровителем Царского Села считается лебедь. Все, к чему прикасается этот дух, приобретает элегический тон — даже весьма прозаическая и жеманная Екатерина Вторая («Там стала лебедем Фелица», — писал Анненский). Что уж говорить о поэтах. Двое из них не сумели преодолеть чар Царского Села, не сумели (не хотели?) вырваться из его однообразной меланхолии. И в то же время они с полным правом могли применить к себе мажорную пушкинскую формулу, которая у самого автора кажется данью минуте: «Все те же мы: нам целый мир чужбина; Отечество нам Царское Село».

Один из этих поэтов хорошо известен сегодня — это уже названный выше Анненский. Другой забыт, и, видимо, достаточно прочно. По крайней мере у себя на родине.

Это Василий Комаровский. Да-да, тот самый «В. А. Комаровский», которому Ахматова посвятила стихотворение «Ответ» («Какие странные слова...»). В издательских примечаниях к нему можно прочесть: «Василий Алексеевич Комаровский (1881—1914) — поэт. Стихотворение, по-видимому, является ответом на стихотворение Комаровского «Анне Ахматовой» («Вечер» и «Четки»). — «Аполлон», 1916, № 8».

Ну вот, какая-никакая, а информация. Знаком с Ахматовой, печатался в журнале «Аполлон» Сергея Маковского... Давайте же попытаемся познакомиться поближе с этим поэтом, одним из царсосельских лебедей. Тем более что характеристики, которые давали ему современники, весьма интригующие.

«Его поэзия блистательна и холодна. Должно быть, это самые блистательные и самые «ледяные» русские стихи. «Парнас» Брюсова перед ним детский лепет. Но, как и в голосе и улыбке Комаровского, и в этом блеске что-то деревянное. И что-то неприятно одуряющее, как и в этой комнате, слишком натопленной, слишком освещенной, слишком заставленной цветами». Это пишет Георгий Иванов.

«Комаровский не был гением, и его «оригинальность» не была из таких, что будут со временем оценены и станут пищей человеческой. Она была эксцентричной, необъясни-

мой и для человечества ненужной. В творческом потоке развития он был странным завитком в сторону, никуда не идущим». Это отзывается Д. Святуполк-Мирский.

«Учителем граф Комаровский, по всей вероятности, не будет никогда; самый характер его творчества, одинокого и скучного, помешает ему в этом». Это Н. Гумилев в 1914 году.

Георгий Адамович вспоминал в одном из писем: «В августе 1921 года я в последний раз видел Гумилева, дней за десять до его расстрела, и долго с ним разговаривал. В то время я очень увлекался Анненским (...). Гумилев заговорил об Анненском и сказал, что изменил свое мнение о нем. Это поэт будто бы «раздутый» и незначительный, а главное — «неврастеник». Единственно подлинный великий поэт среди символистов — Комаровский. Теперь наконец он это понял и хочет написать о К[омаровском] большую статью».

Вот такие отзывы. Кто же этот «блистательный» и «единственно подлинный», что известно о его жизни?

Граф Василий Комаровский (1881—1914) по отцу польского происхождения, титул был дарован его предку в начале XIX века австрийским императором Францем II. Мать поэта, из семьи Безобразовых, страдала психическим заболеванием и умерла молодой. Тяжелая форма эпилепсии сопровождала поэта всю жизнь. От ее приступа, отягощенного известием о начале войны, он и скончался. Современники отмечают как некую божественную печать не только чудовищные галлюцинации, но и моменты неземного счастья, которые принес Комаровскому его недуг.

Университет он окончил только к тридцати годам, но очень много взял самообразованием. Говорил на нескольких языках, увлекался латинской литературой.

Произведения Комаровского — пример того, как «вытягивает» литературу высокая культура. Особенно это заметно в прозе, в предлагаемой ниже повести «Sabinula». Имитация, подражание, ученическое упражнение — так скажет иной торопливый читатель, вспомнив хотя бы прозу Анатоля Франса или Валерия Брюсова. Но прочтите в нее — и вы уловите то самое «чуть-чуть», что делает повесть глубоко оригинальной, потому что при традиционности темы и литературных приемов она обладает не только своим ритмом — сам ракурс придает описываемому нечто фантастическое, нечто до того невиданное.

Комаровский посещал собрания гумилевского «Цеха поэтов» в Царском Селе, где на одной из первых встреч был провозглашен акмеизм. Но к этому литературному течению его никто не относит, чаще называют символистом. Впрочем, исследователи подчеркивают, что в конце жизни Комаровский обрел свой стиль, который трудно отнести к какому-либо существовавшему тогда направлению. Среди поэтов, оказавших влияние на нашего героя, называют в первую очередь И. Анненского, затем французского неопарнасца Анри де Ренье, а также позднего Пушкина. Разумеется, при этом обращают внимание и на современный поэту петербургский модернизм.

Но в дефинициях ли дело, когда речь идет о поэте, когда «дышит почва и судьба»? Тем более с Комаровским случай особый. Никто бы не бросил в него камень, если бы он в более или менее явной форме эксплуатировал свой недуг. Вариантов эксплуатации могло быть несколько — наш поэт не избрал ни один из них. Его стихи кажутся сегодня академичными, в них нет ни одного неожиданного слова — из другой речевой среды или из другого образного мира. Его стихи кажутся вторичными (литературщина!), но почему при их чтении вспоминаются — нет, навеваются — цветочные ритмы Остроумовой-Лебедевой (резкие, контрастные) и Борисова-Мусатова (приглушенные, вечно сумеречные)? Уж эти-то художники оригинальны! Его стихи действительно кажутся лишними в наш век безверия и дисгармонии, но не потому ли, что мы привыкли в поэте видеть «агитатора, горлана, главаря», привыкли высокомерно проходить мимо, когда он расшифровывает нам «пифагорово пенье светил». Вопрос «зачем и кому нужна поэзия» не только стар, но и риторичен.

В одном из стихотворений Комаровский говорит о слепых гарпиях, слетевшихся на островок посреди пруда. Вот как комментирует этот эпизод Константин Маковский: «Поэт захотел словами выразить невыразимое. Эти гарпии, баснословно когтистые орлы-кровопийцы, еще страшнее от того, что в них преобразились царсосельские черные лебеди (...). Не правда ли, неожиданный поворот для нас, оставивших Одилею-Одетту малым детям, забывшим диалектику, привыкшим рассматривать события только в поступательном развитии?»

Василий КОМАРОВСКИЙ

В Царском Селе

Я начал, как и все, — и с юношеским жаром
Любил и буйствовал. Любовь прошла пожаром,
Дом на песке стоял — и он не уцелел.
Тогда, мечте своей поставивши предел,
Я Питер променял, туманный и угарный,
На ежедневную прогулку по Бульварной.
Здесь в дачах каменных — гостеприимный кров
За революцию осиротевших вдов.
В беседе дружеской проходит вечер каждый.
Свободой насладись — ее не будет дважды!
Покоем лечится примерный царскосёл,
Гуляет медленно, избавленный от зол,
В аллеях липовых скептической Минервы.
Здесь пристань белая, где Александр Первый,
Мечтая странником исчезнуть от людей,
Перчатки надевал и кликал лебедей,
Им хлеба белого разбрасывая крошки.
Иллюминация не зажигает площадки,
И в бронзе неказист великий лицейст.
Но здесь над Тютчевым кружился «ржавый лист»,
И, может, Лермонтов скакал по той аллее?
Зачем же, как и встарь, а может быть, и злее,
Тебя и здесь гнетет какой-то тайный зуд? —
Минуты, и часы, и месяцы — ползут.
Я знаю: утомясь опять гнездом безбурным,
Скучая досугом своим литературным,
Со страстью жадною я душу всю отдам
И новым странствиям, и новым городам.
И в пестрой суете, раскаяньем томимый,
Ведь будет жаль годов, когда я, нелюдимый,
Упорного труда постигнув благодать,
Записывал стихи в забытую тетрадь...

1912 г.

☆☆☆

Как этот день сегодня странно тонок:
Слепительный, звенящий ряд берез;
И острое жужжанье быстрых ос
Над влажностью коралловых масленок.
Сегодня облака белеют ярки,
Нагромождает ветер эти ярки,
Идешь один, как будто жданный вождь.
Младенчески чему-то сердце радо,
И падает осенняя награда —
Блистательный, широкий, светлый дождь.

1913 г.

Анне Ахматовой

(Вечер и Четки)

В полночи, осыпанной золою,
В условиях сердечной тесноты,
Над темною и серою землею
Вам эвкалипт раскрыл свои цветы.

И утренней порой голубоокой
Тоской весны еще не крепкий ствол,
Он нежностью, исторгнутой жестоко,
Среди камней недоуменно цвел.

Вот славы день. Искусно или больно
Перед людьми разбито на куски,
И что взято рукою богомольно,
И что дано бесчувствием руки.

1914 г.

Статуя

Над серебром воды и зеленью лугов
Ее я увидал. Откинув покрывало,
Дыханье майское ей плечи целовало
Далеким холодом растаявших снегов.

И, равнодушная, она не обещала —
Сияла мрамором у светлых берегов.
Кругом леса, шумящие просторно,
И ветер тучу рвет со всех сторон.
Как радостно кричит железный ворон
Навстречу дням, крылатым, как и он!

☆☆☆

Самонадеянно возникли города,
И стену вывел жадный воин,
И ядовитая перетекла вода,
Отравленная кровью боен.

Где было все и бодро и светло,
Высокий лес шумел над лугом,
Там дети бледные в туманное стекло
Глядят наследственным недугом.

И девушка раскрашенным лицом
Зовет в печальные вертепы;
И око мертвое, напоено свинцом,
Глядит насмешливо и слепо.

Заросшим следом Авелевых стад
Идти в горячем ожиданьи?
Где игры табунов раздолье возвестят
Своим неукротимым ржаньем?

Где овцы тучные, теснясь, перебегут
По зеленеющим обрывам,
К серебряным ручьям блаженно припадут
Глотками жажды торопливой?

Так: прежде хищника блестел зеленый глаз,
Стервятник уносил когтями.
И бодрствовал пастух и, опекая, пас
И вел обильными путями.

Но вымя выдоил и нагрузил коня,
Повсюду осквернивший руку:
По рельсам и мостам железом зазвения,
Несет отчаянье и скуку.

И воды чистые, они не напоят,
Когда по нивам затопленным
Весенний табунок понурых жеребят
Тоскует стадом оскопленным.

1912 г.

Искушение

Она уже идет трущобою звериной,
Алкая молодое и требуя права,
И, усыпленная разлукою старинной,
Любовь убитая — она опять права.

Ты выстроил затвор над северной стремниной,
Где в небе северном скудеет синева;
Она передохнет в твой сумрак голубиный
Свои вечерние и влажные слова.

И сердце ущемив, испытанное строго,
Она в расселине елового порога
Воздушною струей звенит и шелестит.

Скорее убегай и брось далекий скит!
С глазами мутными! Ночными голосами
Она поет! Шумит весенними лесами!

1913 г.

Закат

Я подвиг совершил военный и, кровавый
И ухо напитал немолчным гулом славы,
И приобщен к Руну, и крепостные рвы
Над входом берегут изваянные львы;
В весеннем воздухе серебряные трубы
Звучат без усталости. Пажей пестры раструбы.
Друг Императора, великий Тициан,
Мне посоветовал соорудить фонтан,
Я окружил его стеблями тучных лилий,
Растущих сладостно в прохладе влажной пыли.
Дождливой осенью резвящиеся псы
Отыскивают след уклончивой лисы,
Рычат и прядают оскаленные доги,

В поток бросается олень широконогий...
Собачьим холодом пронизанный январь
С собою принесет дымящуюся гарь.
И жарит кабана язвительное пламя,
А в небе плещется прославленное знамя
И с ветром говорит. И тихо шьет жена,
И шея нежная ее обнажена.
Мадонна! Потуши припоминая сердца:
Я, звонким молотом дробивший иговерца,
Фриульских берегов надежда и оплот,

У Кефалонии испепеливший флот,
В болотах Павии настигнувший Франциска,
Я в недрах совести ишу поступок низкий...
В телесной белизне коралловых цветов
Мне плоть мерещится изрубленных бойцов,
В кудрявой зелени мелькают чьи-то лица.
Моя жена молчит и спрашивать боится.
В огне играющем и красном видит взгляд
Кошунственные сны и воспаленный ад.
1912 г.

Incitatus

SABINULA *

Предисловие

Повесть эта, написанная языком серебряной, я бы сказал, оловянной, латыни и найденная недавно в библиотеке покойного Кардинала Бибиены, — очевидно, подделка. Автор в лице цесаря хотя и отдает должное доблестям римского имени, но чудовищные анахронизмы, незнание основных событий эпохи 12 императоров, дряблость, проглядывающая в духе героев, также и легкомысленное отношение к богам, — главным же образом непонятный поступок Публия Агриколы, — изобличают в нем современного римлянина, за мнимым презрением к Эллинам скрывающего собственное бессилие — а именно неудачного подражателя Лукиана.

Эразм Роттердамский

P. S. Я сказал бы, что повесть написала самим Бибиеной, если бы желал нанести тяжчайшее оскорбление его памяти.

I.

Рабы в северных латифундиях наконец восстали. Из Каппадокии, с Понта, из Паннонии и Мизии скакали гонцы с тревожными слухами. Ночные заседания Сената были бурны. На улицах сновали занавешенные носилки, окруженные факельщиками. Конница ковала коней. Император был спокоен и с обычной тщательностью принимал доклады, диктовал секретарю, совещался с легатами. Его видели почти каждый день идущего через форум и по-прежнему без свиты. В храме Весты огонь горел ясно и ровно, но зори были красны.

Первою мыслью Аппия была забота о матери и сестре, живших в провинциальных землях около Канн. Место знаменитого поражения поросло виноградниками соседа-ветерана; матрона слыла отличной хозяйкой, рабы сыты, а потому надежны, но Аппий боялся общего состояния края, разоренного буйным передвижением легионов из Галлии в Галлию Цизалпинскую и обратно.

Он собрался в тот же день и верхом, с запасной лошадей, пустился в путь, остерегаясь, дабы не портить копыт, ехать по каменной дороге и выбирая мягкую землю соседних проторенных тропинок, параллельных римскому сооружению. Навстречу попадались всадники и пешеходы, телеги и солдаты, но возбуждения не было заметно. Все это были люди, видимо, занятые своим делом, чуждые государственной тревоги. Одни везли припасы и овощи, другие были торговцами шерсти. О восстании было известно главным образом в Сенате и через Сенат. Оно вспыхнуло в местах, истощенных засухой и правителями последнего царствования. Теперь они заседали в Сенате и первые забили тревогу.

Аппий недавно кончил школу и собирался в Милет, дабы усовершенствоваться в ораторском искусстве, а оттуда

* К сведению особо любознательных читателей. Для воображаемого автора повести Комаровский выбрал красноречивое имя: incitatus означает прыткий, бойкий, напористый, стремительный. Название повести может иметь два значения. Во-первых, это уменьшительная форма имени героини. Во-вторых, оно переводится и как «сабинянка». Повесть-мистификация не закончена, поэтому трудно судить, что имел в виду Комаровский.

в Афины и Коринф, — когда отец его внезапно умер. Это обстоятельство задержало его в городе. Отец, старый всадник, имел несчастную страсть к костям и другим азартным играм, как зараза, занесенным к нам с Востока и из Египта. Около 600 тысяч сестерций долга были результатом этого старческого увлечения. Нужно было платить и вычислять проценты, торговаться с ростовщиками и ростовщицами. Друзья покойного приняли Аппия сухо. После первого посещения он к ним более не возвращался. Один Тацит, старик, писавший свои записки, оказался верным памяти друга. Он предложил Аппию сумму, необходимую для первых же шагов. Этот Тацит жил одними воспоминаниями и в деньгах нуждался только поскольку они обеспечивали ему свободу. Говорили, что за последние царствования он насмотрелся всякой всячины и спешил записать все, что видел и слышал; говорили также, что в своих записках он относится немилосердно к памяти императрицы Агрипины и сваливает на приверженцев Пoppей восстание испанских легионов и самую смерть императора Нерона.

Упавшие с неба, или скорее из тартара, долги отца совершенно изменили планы и надежды Аппия. Он решил сделать купцом. Это не только давало ему возможность развязаться с кредиторами, но и видеть страны, о которых он не имел понятия. Дело в том, что рядом с ним жило семейство, несколько поколений занимавшееся торговлей янтарем. Это были потомки карфагенских пленников (или выходцев, как они себя называли), богатые и смелые люди. Целый мир морской опасной торговли и морских, диких приключений, выносливости и храбрости. Аппий нравился старому купцу своим честным и мужественным видом. Вот, думал он, кому поручить корабль, кто был бы отличным моряком в северном море. Но не смел предложить это молодому римлянину, гордо завернутому в плащ и также замкнуто переносившему свои невзгоды. Случай свел их, и они быстро сошлись: Аппию обещана была половина выручки — Прокл снарядил корабль.

Первое время Аппию, конечно, предстояло плавать и учиться. Он был смолodu привычен к морю, и сложная наука паруса была ему отчасти известна, но школьные занятия давно отвлекли его от прогулок по морю, ранним утром, с рыбаками-приятелями. Теперь старый Прокл сам брался вести корабль и увозил его для начала — простым матросом.

Известие о бунте успыхал Аппий за месяц до отъезда и спешил перевезти старуху мать в город — или на виллу Тацита.

II.

Меня попеременно шаг лошади, заставляя ее то бежать рысью, то идти шагом, ночуя в дымных крестьянских хижинах, на четвертый день, в ясный зимний вечер Аппий прискакал в Лауданум и стучался у родной двери. Запах сушеных грибов и старого дерева охватил его, но ему было не до воспоминаний. Мать и сестра наперерыв бросились ему на шею и тотчас рассказали ужасные новости. Управителя соседней латифундии убили накануне: залили горло оловом, чтобы выпытать спрятанные деньги. Каждую ночь небо освещалось заревом — то на севере, то на востоке. Аппий почувствовал себя изжителем и велел готовить повозки, следующим же утром намереваясь возвращаться. Матроне Клавдии тяжело было бросать насиженное гнездо. Амбары были полны пшеницы, прялки работали. Но, взглянув на Сабину, она решила выбраться в безопасное место. Несчастья всегда приходят сразу, и бедная вдова, истратившая свои слезы на оплакивание мужа, сурово молчала, укладывая Аппия и кутая его в шерстяное одеяло.

Обратное путешествие было другого рода. Люди поспешно гнали стада по направлению к югу, ругаясь и щелкая бичами.

Повозки, наполненные испуганными лицами, старались перетянуть одна другую. Солдаты останавливали и спрашивали имена путешественников. Наконец, на четвертый день, уже около Саены, послышался топот бесчисленных копыт — это шел второй легион на каравоконных конях, блестя медью и лязгая оружием. Аппий был поражен бледными лицами молодых начальников, скакавших по бокам отряда. Многие из них были его товарищи. Сыновья сенаторов и богатых вольноотпущенников, изнеженные городской обстановкой, они любили кровь, которую видели в цирке, и ненавидели войну, отвлекавшую их от города. Женщины глядели на солдат, бородатых и в самом деле страшных. Трубы играли, чтобы заглушить мысли, противные дисциплине, и воодушевить всадников, неохотно двигавшихся в предприятие, не сулившее им — ни добычи, ни триумфа в городе. Орлы блестя на коротких древках перед сухощавым легатом, родственником новой династии. Аппий думал, что живет в скверное время, когда легионы устремляются не на варваров, а против восставшей черни. Ему вспомнились священные имена Сципионов, Цезаря, Августа, и он кусал губы, сознавая ничтожество своего поколения.

Сабина думала о другом. Ей весело было увидеть Капитолий, Цирк, Пантеон Агриппы — все, о чем она слышала с раннего детства. Сердце ее билось под коричневым платком домашней пряжи. Она заглядывалась на солдат, на молодого легата, на голубые очертания Кампаньи, виллы, белевшие в облетелых рощах, вдыхала в себя свежий воздух и еловый запах италийской зимы. Небо было синее и весело. На деревьях бурными потоками лежал снег, по дороге уже обратившийся в грязь. Белки прыгали с ветки на ветку. Снегири щелкали в кустах. Иногда, когда путешественники поднимались в гору, проглядывало, как светлый сапфир, Тиренское море, блестя и радуясь мартовскому солнцу.

III.

Пригородная вилла Тацита была старого образца, как сам Тацит — старого закала. Она тем не менее поразила провинциалок своим великолепием. Особенно восхищали их фонтан, стоящий посреди двора и не замерзавший, в то время как вода мерзла и в Тибре, и в цистернах. Сабина вздумала умыться, но ледяные капли, как острия, ранили ее щеки. Старик долго смеялся, — он велел приготовить ей воды, уже стоявшей в доме и которую в городе называли «комнатной». Патрицианки в городе мылись не иначе как водой, несколько разогретой в котлах, но Тацит не любил этих новшеств, хоронивших старый римский дух.

Тацит рад был приезду матроны Клавдии, которой уже собирался читать отрывки из своих нескончаемых воспоминаний. Он избегал читать их в городе, чтобы не нажить врагов; там часто упоминались родственники и друзья еще здравствующих граждан — и в связи с ужасными преступлениями. Он боялся также двора, ревниво охранявшего свои тайны и грозившего ссылкой на берега Дуная всякому, кто посягал на престиж императорской власти. Еще недавно в обществе говорили о некоем Овидии — молодом повесе, кажется, написавшем пасквиль на Ливию, жену божественного Августа, и никогда им не прощенного. Потом во времена последних Юлиев, когда императоры Калигула, Клавдий и Нерон последовательно занимали трон и воображение римлян, о нем забыли. Но Тацит, принадлежавший еще к поколению Овидия, и по сю пору хранил предельные его метаморфозы, сказки, которыми бедняга тешил себя во время ссылки.

Вечером пришли к Тациту некто Ветулий, старый магистрат, начавший службу еще во времена Тиберия, и молодой Публий Агрикола; это были люди верные. Ветулий сообщил новость: Марк Целий получал Африку. Тацит негодовал: государство, по его мнению, было не обществом взаимного страхования проживших спекулянтов, а божеством, которому служат, умыв руки. Целий запутал свои собственные дела и запутает государственные, к тому же жена его была из первых щеголих Рима. Подобные назначения были еще понятны во времена Нерона и Вителлия. Он удивился, как Веспасиан так быстро подпадал влиянию легкомысленной клики кутил и модниц.

Молодой раб принес вино и воду, винные ягоды и сушеный виноград. Удалив его, Тацит и гости уселись вокруг бронзового столика. Чтение началось.

Сабина еле сдерживала смех. У Ветулия была волчанка,

и нос его походил на красную дулю. Но матрона Клавдия посмотрела на дочь — и та затихла.

Старик читал неясно и неразборчиво вещи довольно скучные, правда, изложенные языком сжатым и точным. Ветулий одобрительно качал головою и иногда вставлял замечания. Дело шло о воспитании Нерона, о воспитателе его Сенеке, о Юлии Силаче и первых благих начинаниях царствования: Нерон вернул Сенату права, поправленные его предшественниками, послал Корвулона консулом в Армению, обменялся заложниками с Вологезами (чем обеспечил благосостояние этой далекой окраины), милосердно простил преступников. Потом шло увлечение Актеей, вольноотпущенной...

Сабина слушала и дремала. Публий Агрикола слушал и смотрел на Сабину, деревенская свежесть которой была редкостью в городе, где даже девушки проводили без сна целые ночи. Клавдия думала о бедах, могущих обрушиться на Лауданум, и всю свою надежду полагала на милосердие богов и Юноны, которую особенно чтит, а также на преданность своей фамилии. Аппий думал о море и сиренах, голосом завлекающих моряков, совершенно забывая их чешуйчатые ребра. Наконец, глаза у всех начали слипаться. Тацит прекратил чтение.

Блаженна ласточка, после перелета находящая свое прошлогоднее гнездо; козы под охраной опытного пастуха. Трижды благословен путешественник, после утомительного пути, градин и пронизывающего ветра, толчков и дребезжания колес — чувствующий теплоту одеяла в гостеприимной кровати. Где-то шумит город — это жаровня, полная раскаленных угольев, или скорее феникс, постоянно воскресающий из пепла. Где-то слышны оклики вооруженного разбега второй стражи, но Сабина спит. Сон ее ровен, как полет Меркурия, когда он, совершив удачную кражу, летит покупать серьги своей возлюбленной.

IV.

Спокойствие императора было наружным. В сущности, цезарь был встревожен. И не столько дурными известиями с севера и последними донесениями с Понта, и из Каппадокии и Испании, не столько слухами о успешном вооружении македонского Антиоха — всей этой, в сущности, обычной тряской государственного корабля. Его беспокоили события на парфянской границе. Легат Минуций был, правда, человеком опытным в осадных работах, но новичок в войне с парфянами, где сомкнутый строй легионеров должен был противустать быстрой и варварской назойливости азиатской конницы. К тому же любовь Минуция к нарядам, не покидавшая его в лагерях, бесила строгого солдата. Он готов был свалить на замысловатую прическу вождя всю затыжку позорного похода и даже восстание Италийского севера.

Образ жизни императоров был самый простой. Его даже обвиняли в скупости. Стоики признали бы его своим, хотя он и был чужд модным течениям философии. Он вставал с солнцем, брился ежедневно, стоя, и по походной привычке без зеркала. Ел два блюда, из которых одно было непременно овсянкой. Диктовал. Наконец гулял в садах, окружавших дворец, в настоящее время запущенных в видах государственной экономии. Сонмище статуй, высеченных из обсидиана (прихоть императора Нерона), глядело из красноватых кустарников, унизанных бурными ягодами. Ибисы, поднесенные Калигуле александрийскими жидками еще в посольство Филона, зябко прохаживались у выложенных плитами прудов. Но многие просеки летом зарастали подорожником. Поля, багровевшие красными розами, перемешались с шиповником. Грубый полевой мак душил редчайшие цветы — сирийские нарциссы и голубые лилии. Сельское эхо своевольно поселилось в рощах, недавно оглашавшихся криками. Пинии торжественно качались в умолкнувшем, влажном воздухе, но пруды каждую осень были полны ржавых, огненных и коричневых листьев, мешавшихся с белыми отражениями облаков; плещ с одинаковою поспешностью обвивался и вокруг стана Венеры Наклоненной, и вокруг Палицы Фессалийского героя. Императора, как технически удачно разрешенная задача, занимали воды, заполнявшие протоки, прыгавшие со ступени на ступень, дробившиеся водометами, извергавшиеся из каменных расщелин и разинутых пастей тусклой кованой меди, что стоило неимоверных трудов, так как введены были на расстоянии нескольких тысяч стадий, из горного озера.

Ежедневно отправлялся он в Сенат, заседания которого длились довольно долго. Сегодня только что назначенный Целий, еще накануне проигравший порядочную сумму како-

му-то знатному греку, по торговым делам приехавшему в город, с серьезностью, свойственной римлянам и столь изумляюще греков и варваров, расспрашивал сенаторов, уже побывавших в Африке. Целий входил во все подробности. Те советовали не доверяться местным поставщикам, клязникам и доносчикам, по возможности забрать все необходимое в городе. Но Целий оставлял жену и отправлялся налегке. Говорили, что это временное вдовство и было причиной, что он принял назначение, в сущности, не особенно выгодное.

При входе цезаря встали. Нерон, и особенно Калигула, приучили Сенат к подобострастным знакам почтительности. Император, правда, не принадлежал к демагогам, унижающим высшие классы, но привычка, как однажды проложенные на тоге складки, делала свое дело.

Кратким движением император просил продолжать заседание, сел и слушал. Здоровье его решительно расшатывалось. Ему пора было ехать в Байн, сидеть на солнце и лечиться ваннами и массажем, недавно изобретенным в Сибарисе. Большим пальцем и различными движениями ладони шутники брались за исцеление болезней и самой старости. Но в ранние весенние дни ванны были невозможностью. *Taedium vitae*¹ — проклятый спутник римского одряхления — с каждым днем, как ржавчина, охватывало императора, пережившего за последние годы крайнее напряжение воли. Кроме дел, входивших в прямую компетенцию его власти, теперь следил он за кладкой нового амфитеатра громадных размеров, также за постройкой тибуляриума на Форуме. Очистка Остии от песка, затрудняющего подвоз сицилийской пшеницы, кодификации эдиктов прошлых царствований и согласование их, выучка и набор молодых легионеров, доставка лошадей из Паннонии, новые катапульты, так незаметно усиливающие действие римской пехоты, наконец, воспитание молодежи — будучи пристальными трудами порознь — были только малыми звеньями его державной заботливости. В программы школ в царствование Нероново вкралось много лишнего. Будущих рубак заставляли учить Одиссею, греческие стихи. Правила риторики, конечно, необходимые оратору, должны были, по мнению императора, быть достоянием меньшинства, предназначенного для власти. Риторика, как и всякое философствование, вносила в народные массы раздражение, отучая от повиновения.

Но император чувствовал, что внимание его и память, когда-то столь цепкие, ослабевали. Сын его не радовал. Он считал его недостойным занять отцовское кресло, доставшееся с боя. Жена умерла от водянки, вследствие ушиба, много лет назад, и он неоднократно думал о ней, когда сну мешали припадки хворости. Охота была недоступна, как требующая свободного времени. Два друга заходили играть в шахматы — единственная игра, которую цезарь выносил. По вечерам смотрел фокусников или слушал арфистов, игравших попеременно и до тех пор, пока он не засыпал.

V.

Римская любовь не походит на любовь греческую, где-нибудь на Крите или в изнеженной Александрии. Это не воркование горлинок, громоздящихся в дупле старого тополя, в теплом сиянии месяца, ласкающих друг дружку прикосновениями крылышек. Любовь в городе — скорее внезапный голод барса, который, устав после зимних набегов, ложится на молодую траву, спит и вдруг, раскрыв глаза, замечает золотую шею и ленивую походку подруги, скользящей вдоль опушки.

Публий Агрикола начал каждый день ходить к Тациту, даже предлагал писать под диктовку. Разговаривал с матроной Клавдией о различных сортах яблонов, которые та насадила в Лаудануме, а с Аппием — о снаряжении корабля. Но себе не признавался в родившемся чувстве. Имя Сабини, однако, как серебряный браслет, брошенный на дно источника, блестело на дне души. Молодость его промелькнула в походах, и он почти не знал женщин. Тем не менее боялся быть обманутым. Вечером он ходил по форуму, как шальный, страхась встретить милое ее лицо; ночью, как полагается влюбленному, ворочался в постели; утром ходил мимо занавешенных окон дома Тацитова. В полдень, глядя на солнце, молился Юпитеру и Венере, испрашивая единой милости. Наконец решился и признался первому встречному.

Дидул, бывалый римлянин, начал давать советы, рассчитанные на низкую душу женщины, алчную до нарядов и побрякушек. Советовал одарить и матрону Клавдию, не загля-

дывать к Тациту ежеминутно, а промежуточными и рассчитанными отсутствиями завладеть воображением намеченной жертвы. Советовал также быть гладко выбритым и следить за чистотой ногтей.

Эти советы были противны Агриколе.

Аппий, весь погруженный в подготовку плавания, ничего не видел. Прокл посылал его покупать металлические зеркала, красные и синие бусы, куски цветных и недорогих материй, также гвозди и топоры. Сам смолит судно. Корабль стоял в Остии, куда патрон окончательно переселился, поручив Аппию делать закупки в городе. Прочность корабельного дна казалась ему важнее доброкачественности предметов, предназначавшихся для дикарей — Бриттон и Батавов. Янтарь получал он из третьих рук у устья Ренуса, куда привозили его местные промышленники из стран — уже гиперборейских.

Но старики переглядывались между собою и были довольны. Матрона Клавдия, утомленная горем, ждала счастливого события. Почтенное прошлое семьи Агриколы и его почтительная обходительность со старшими обещали в нем семьянина, строгого к своим обязанностям. Два имени его лежали в плодородной области.

Сама Сабина была загадочна, как египтянка. Молчала и не выдавала своих чувств. Таила их от матери и от брата. Сидела с Тацитом и помогала ему, поправляя подушку кресла, подымая упавшие свитки. Но заметно хорошела с каждым новым днем.

Наконец однажды, одобряемый ласковой улыбкой Тацита, Публий просил его переговорить с матроной, умолить ее вручить ему судьбу дочери, взамен чего стал бы у ее порога на страже и на всю жизнь.

Все оракулы были благоприятны, и Сабина с тайною радостью подчинилась желанию матери к новому игу.

VI.

Целий уехал в Африку, но Нигрина была еще совершенно одинока. Сгibli шумные времена Калигулы, промелькнули великолепные дни Агриппы. Нигрину не любила скучная и добродетельная Октавия и любила Поппея, ударом ноги в живот убитая покойным Цезарем. Незаметно для себя делала она долги при божественном Клавдии — и хохотала его глупости, при божественном Нероне — и рукоплескала его гению. Нигрина делала долги и при божественном Гальбе, и при божественном Вителии. Марк Целий уехал в Африку, а кредиторы — эти римские волки (и страшнее деревенских) — остались в городе. Надо было выбросить им кости и продать трех жеребцов Целия и все статуи и статуэтки, сделанные в Коринфе и из коринфской меди, и опалы, которыми она особенно гордилась, когда вино разругивало лица пирующих. Нигрине надо было продать и литые блюда с вычеканенными на них значками зодиака, через бабку доставшиеся ей от пресловутого Сеяна, и синие стеклянные сосуды, украшенные цепями персидского металла, хотя без них почти нельзя было дать ужина. Совершенно прозрачные, наполненные красным вином, они становились грозного темного цвета. И Нигрине надо было начать с продажи жеребцов и пересмотреть всех легатов, находящихся в городе, и молодых сенаторов, и иногородних купцов, и азиатских царей, гостящих в Риме, и богатых всадников, и наездников из цирка, которые все будут приезжать смотреть трех жеребцов Целия: чалого, золотистого и вороного, правда, знаменитых по всему городу.

И Нигрина скучала. Капля по капле вливалась в ее жилы белая вода, каменело сердце, а глаза делались тусклыми и опалыми. Грусть эта зовется приближением старости, но белокурые волосы Нигрины по-прежнему белокуры, глаза иногда блестят, как Близицы. Так стоит лето, перед тем как потерять и осыпать тусклые свои космы; только внимательное око разглядит в этой торжественной спелости мелькающие мертвые листья; к ним прикасается незримая струя осеннего воздуха. Медленный жрец, осень, уже вошла в темный и прохладный притвор, колеблет желтые ризы, готовит-ся к жертвоприношению.

С кем, однако, Дидул ходит по Форуму и всем закоулкам города? Мускулист, ловок и вместе с тем неопытен, как молодой германец. Кажется, Нигрина всех знает в городе? Кто-нибудь, служивший в отдаленном легионе, в Цезарие или Бетике. Смотрит, как шальный, и прямо в глаза проходящих дам. Говорит Дидулу и не слушает Дидула... И все это необходимо узнать у Дидула. Нигрина каждый день видит Дидула, и Дидул лучший из ее друзей, если, конечно, не

¹ Отвращение к жизни.

считать Корнелиана и Понтия, и Катулла, и Презента, и Бебия, и Тусцилия (не того Тусцилия, колченогого, а его двоюродного брата — маленького Тусцилия). Злая — она скучает в стенах, испещренных излучинами желтого и серого мрамора, колет длинной, заостренной иглой неловких прислужниц, бросает зерна прыгающим в громадной клетке соловьям, дразнит серых какаду, в бронзовых кольцах висящих в пристиле, где гуляют и трещат цесарки, серые, как мартовское небо.

Что же делать в марте, когда весны еще нет, а зима уже плачет мутными слезами! Что же делать с Бебием и Презентом, которые приедут только вечером, когда надо у Дидула, и нельзя иначе узнать, кто же римлянин, которого она раньше не видела в городе и увидела первая, о чем не расскажет никому из римских дам?

Так богиня, в то время, как добряк-муж возится с утюльями, — с волосами заплетенными в восемь кос и в одном только поясе, или садится за пьалцы, или глядит в окно, или перебирает рубины и бирюзу, или поливает горошек, или гадает, или поет вполголоса, или готовит огуречный салат, или щиплет струны кифары, или учит читать своего уroda-сына.

А бог войны, сидя на пороге дома и ничего не предвкусывая, чистит мелом старые поножи.

Вечером приехали Бебий и Презент, и совершенно случайно — Дидул. Римлянином оказался Публий Агрикола, молодой всадник, недавно приехавший, но успевший уже влюбиться в какую-то девчонку-провинциалку. Обручение их уже состоялось, но и ему Нигрина поручила сказать о трех жеребцах, которые продавались в загородном доме. Дидул смеялся.

VII.

Целий, как и Тацит, угрюмо искавший уединенной работы, жили за городом, но по другой причине. Они были почти разорены и полюбили деревенский воздух, в котором так весело раздаются утреннее пение петуха и вечернее мычание стада. Публий Агрикола, не желавший упустить случая видеть знаменитых жеребцов, уже скакал по загородной дороге, указанной Дидулом, исполнившим поручение.

Нигрина встретила его совершенно спокойно, скрывши за мнимым равнодушием веселость удающегося замысла. В фиолетовом пеплуме она походила на уже светлый Апрель, собирающий первые фиалки, или, вернее, на вечернюю Август, роняющий яблоки. Голосом повелительным и звонким велела она вывести жеребцов и сама вышла с Публием к маленькой арене, лежавшей за парком.

Жеребцы, застоявшиеся без Целия, с трудом выводились из конюшни. Чалый, под тяжелое вооружение, был приведен Целием из Северной Галлии. Сам Цезарь гордился бы подобной лошастью. Золотистый, еще очень молодой, развевал гриву, роя копытами весеннюю землю. Ржанием оглашал воздух и мотал головой. И имя его было меткое — «Огонь».

Публий смотрел молча на великолепных. А Нигрина смотрела на Публия и думала: вот всадник. Когда вороной, — косматое животное, предназначавшееся для жестокостей войны, — бросился в их сторону, таща за собою рабов, державших его под уздцы, Нигрина схватила руку Публия и повлекла его.

Геркулес на распути — Публий прыгнул тоже.

Остров весь полнился шумом бесчисленных крыльев. Лебеди, дикие гуси, цапли — обитатели его. Весь он сквозил деревьями пепельного цвета и тонкими стеблями кустарника, пахнувшего сладко. Крокусы высовывали головки, молодые дятлы перебежали от дерева к дереву и карабкались. Большие бабочки еще не летали, но улитки уже выпустили рога, приветствуя обильные воды. Зимородок чистил лазурные перья, с одного конца на другой перелетала иволга, и куковала кукушка.

Весна, стремившаяся покорить землю, устроила на нем свой укрепленный лагерь, чтобы было куда укрыться, когда северные ветры бросятся за ней вдогонку.

Тучи, как дельфины, плескались в закате. Бог уже облакался в пурпур, предвещающий ночь, а Публий не возвращается из-за гора. Ему мерещилось, что он собирает фиалки, ненароком рассыпанные Апрелем, — хотя только подбирал переспелые яблоки, оброненные осенью.

VIII.

Корабль Прокла качался в Остии, надувал солнечные паруса свои, колебался и напрягал новые, пахнущие коноп-

лею снасти. Море усыновило его и баюкало пока материнскими ласками. Корабельщики вбивали блестящие гвозди, пели, но морщины не сходили с лица Проклова. С первым же ветром надо было двинуться, так как потом — это хорошо знали моряки — наступало долгое безветрие. Но в семье Аппия было двойное горе. Публий Агрикола исчез и не возвращался много дней. Без вести пропал, хотя рабы его сказывали, как однажды утром он уехал верхом, и с тех пор не видали его.

Убийство было возможно и не в столь беспокойное время. Неожиданный припадок смертельной болезни — тоже. Очаги убийства и черной смерти никогда не прекращались в некоторых кварталах города. Сабина уже ходила с заплаканными глазами. Аппий бросился искать Агриколу, пользуясь последними днями, — после чего, в свою очередь, должен был огорчить мать и сестру долгим отсутствием, равносильным временной смерти. К семейному горю примешались зловещие вести о болезни великого императора. Тацит с внимательностью прислушивался ко всем слухам, взвешивая и сличая противоречивые. Считал себя ответственным перед потомством в точной передаче возможного события. Повторяли слова Цезаря, сказанные им с улыбкой, — будто он чувствует, что скоро будет богом...

IX.

Тень божественного больного и в самом деле приобщила бы к сонму богов и героев, когда бы не радость, внезапно наполнившая сердце и изменившая течение болезни. Пришло известие о блестящей победе. Впрочем, молва без устали вплетала новые и мирные лавры в венки императора, уже великого в ряду нелепых тиранов, следовавших один за другим. Рассказывали, как некий мегарец избрал машину для перевозки колонн на громадное расстояние, как император рассмотрел и одобрил ее, щедро наградив изобретателя, но запретил пользоваться ею, сказав: «Подумай, сколько бедняков лишатся заработка». Несмотря на то, что некоторые упрекали его в скупости, город украшался сооружениями. Одна только строгость, недавно выказанная в деле Сабины и Епонины, несколько омрачала его славу.

Аппий все продолжал поиски, остававшиеся безуспешными. Сабина чахла. Старческое лицо матроны Клавдии сделалось еще морщинистее. Меньше всех сокрушался Тацит, поглощенный характеристикой Цезаря Нерона, которого клеймил без пощады то раскаленным железом сарказма, то змеиного ядовитостью иронии.

Гулкие крики известии однажды о триумфе, и Аппий смешался с толпами. Весело шли когорты, белые, как сметана, быки везли золоченые повозки, полные парфянских стрел, конечно, варварски изукрашенных. Молодая гроза примешала несколько капель к брызнувшим отовсюду лучам, апрельское солнце заблестело красным огнем на тяжеловесной тиаре парфянского царя, поседевшего от позора, еще величаемого, в полосатой шелковой хламиде. Песни и крики толпы сливались в одно стозвучное целое, раздавались громче и громче, извещая приближение.

Гордая радость невольно охватила и Аппия. Он напряг зрение, дабы взглянуть на героя, и вдруг по ту сторону пути увидел скучающее лицо Публия. Рядом с ним стояла высокая женщина, рукою обвивая его шею.

*Публикация и предваряющее слово
Владимира НОСКОВА*

«ИСПОВЕДЬ ПОКОЛЕНИЙ: О ЖИЗНИ И О СЕБЕ»



Продолжаем наш конкурс писем.

Сегодня мы предлагаем обсудить, как люди, особенно молодежь, чувствуют и ведут себя в резко меняющихся экономических условиях, как происходит их адаптация к требованиям и возможностям рыночной экономики. Ведь сейчас едва ли не всем нам приходится пересматривать свое отношение к жизни, к окружающему.

Ждем от вас размышлений на эту тему, ваших личных наблюдений и предложений. Напоминаем, что в проведении конкурса участвует независимая Служба изучения общественного мнения ВР (руководитель — проф. Б. А. Грушин). Чтобы помочь социологам в анализе писем, просим вас каждый раз указывать номер того вопроса, на который вы будете отвечать.

1. После ожесточенных споров и сомнений наше общество, похоже, вступает на путь экономических реформ и рыночных отношений. Теперь наше благополучие будет зависеть не только от усилий вновь нарождающегося слоя предпринимателей, а прежде всего от готовности к настоящему, интенсивному труду, от которого за 70 с лишним лет нас успели отучить, к осознанной, а не просто принудительной ответственности, без которой просто невозможен успех в новой ситуации, к действительной самостоятельности каждого.

Как вы думаете, что обществу нужно предпринять, чтобы эти качества возникли и проявились, каким образом их можно развить в людях?

2. Наш переход к рынку в силу разных исторических, экономических, социальных и других причин, разумеется, не может проходить безболезненно. С одной стороны, новые для нас формы собственности и деятельности, как показывает опыт всех цивилизованных стран, позволяют человеку раскрыться, реализовать себя, свой потенциал и добиться иного уровня жизни. С другой стороны, и об этом не надо забывать, с появлением новых социальных слоев — собственников и так называемого среднего класса — неизбежны социальное расслоение и неравенство, непривычные для нас конкуренция и безработица.

Как, по вашему мнению, обе эти стороны рынка скажутся на нашем обществе, какие явления, тенденции будут преобладать? Чем эти обстоятельства могут обернуться для нас, в том числе для молодых семей, детей, подростков?

3. Все мы, несколько поколений советских людей, воспитаны в духе ненависти или по крайней мере неприятия предпринимательства и предпринимателей. И появившиеся у нас деловые люди часто вызывают к себе негативное отношение. Как вы думаете, насколько это справедливо?

Как лично вы, ваши друзья и близкие относитесь к предпринимательству, бизнесу, «своему делу», что это такое для вас: прежде осуждавшаяся возможность разбогатеть, зажить нормальной, цивилизованной жизнью; возможность реализовать свои способности, инициативу, энергию; умение использовать нынешнюю нестабильную обстановку для обогащения любой ценой или что-то иное?

Если у вас уже есть свой собственный деловой опыт, поделитесь с нами своими соображениями, какие плюсы и минусы вы видите в нынешнем состоянии отечественного бизнеса.

В заключение сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе.

4. Сколько вам лет?
5. Ваше образование?
6. Если вы учитесь, то где? Если работаете, то кем?
7. Где вы живете (город, поселок, село)?
8. С кем проживаете? Имеете ли собственную семью?

Заранее благодарим за ваши письма-ответы!

Все Для Вас

в первом информационно-рекламном еженедельнике
БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ!

Стоит только вырезать и заполнить купон, опубликованный на последней полосе "ВДВ", выслать его в адрес редакции, и через 2-3 недели ваше объявление увидят сотни тысяч читателей газеты.

Кроме того, "ВДВ" — это бесплатная юридическая консультация, ответы на ваши вопросы, самая оперативная информация о новом российском законодательстве, криминальная хроника, судебные, арбитражные дела.

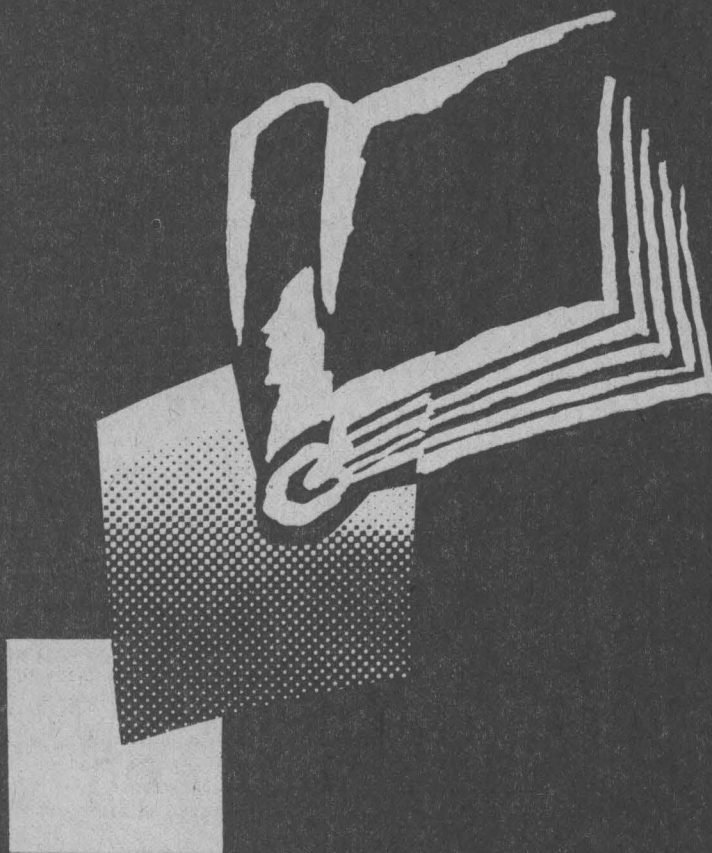
А также, ценные советы хозяйкам, клуб международных знакомств "Interlink", гороскопы и кроссворды, новые зарубежные логические игры, программы телепередач на неделю.

Итак, советуем: читайте "ВДВ"! И вы не ошибетесь.



ВНИМАНИЮ

книгоиздающих и книголюбых оригинальных



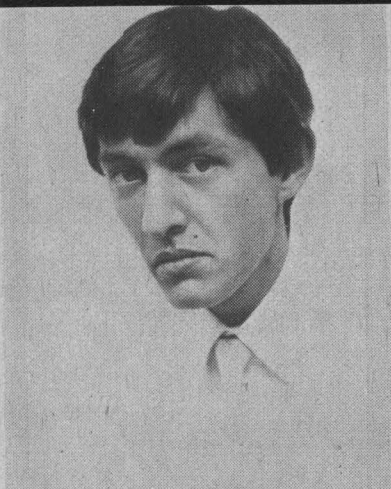
Издательство "ИнфоАрт"

предлагает книгоиздателям

художественно-оформленные оригинал-макеты (диапозитивы) книг, издававшихся в России до 1917 года.

- АЛЕКСАНДР ДЮМА (отец) "Предание о графине Берте"
- АЛЕКСАНДР ДЮМА (отец) "Записки полицейского..."
- АЛЕКСАНДР ДЮМА (отец) "Волшебный свисток"
- АЛЕКСАНДР ДЮМА (отец) "Тысяча и один призрак"
- КНЯЗЬ Е. ТРУБЕЦКОЙ "Три очерка о русской иконе"

127486 Москва, Дегунинская ул., д.1/4,
РАТЕКС/ИнфоАрт
Телефон: (095) 213-34-24



Виталий
ПУХАНОВ

☆☆☆

Я родился от двух некрасивых людей,
Уводивших в порожию степь лошадей.
И на голой земле, где холодная страсть
По моей забродившей крови разошлась,
Я родился под утро, сутул и горбат,
Нерадивый любовник, негодный солдат.
И скажу тебе так, и скажу тебе, как
В неразменной ладони грубеет пятак.
Я верю, я найду вас на том берегу,
Я приду, ваши черные книги сожгу.
И зола не успеет в огне побелеть.
Только ты не посмеешь о том пожалеть.

☆☆☆

И смерть твоя, что смерти необычайней...
Но говорят, что смерти необычайней
Та смерть твоя, что смерти необычайней.
Обычай смерти, смерти необычайней
Та смерть твоя, что смерть, но необычайней.
И жизнь твоя, что жизни необычайней...
Но говорят, что жизни необычайней
Та жизнь твоя, что жизни необычайней.
Обычай жизни, жизни необычайней
Та жизнь твоя, что жизнь, но необычайней.
И смерть твоя, что жизни необычайней...
Но говорят, что жизни необычайней
Та смерть твоя, что жизни необычайней.
Обычай жизни, смерти необычайней
Та смерть твоя, что жизнь, но — необычайней.
Я говорю обычного обычней
О том, что я обычного обычней
И речь моя, что жизни необычайней,
Обычай жизни. Смерти необычайней
Та речь моя, что речь, но — необычайней.

☆☆☆

О камень, камень,
Как наместник Бога,
Печальный и пришибленный немного,
Он видит свет потусторонних звезд
И пламенной кометы пыльный хвост.
Куда бы ты свой беглый взгляд ни бросил —
Он выглянет, как суслик из травы.
Он будет твой, но имени попросит...
Разбей его кувшином головы!

☆☆☆

День медленно истек и обмелел.
Сгущалась тьма, и камень тяжелел,
Где теплился урод невоплощенный
Бессмысленный, но права не лишенный.
Так наступила ночь. Стояли мы,
Как неправдоподобные холмы,
В чужих краях застигнутые мглойю.
В густой ночи был камень растворен,
И я был в каждом камне повторен.
Мне кажется, что нет тебя со мною.
Но вечно жили мы, и эта мгла
Нам долгой показаться не могла.

☆☆☆

Когда-нибудь я расскажу тебе
Историю, в которой мы не жили.
Тоска дорожная на пыточном столбе
Наматывает версты сухожилий.
Нас всех укроет мутная река,
Где строгий гусь сухим пером качает,
За Рыцаря, Чуму и Рыбака,
За Всадника — он Пушкина прощает.
А спросишь чуть: где родина твоя? —
Он улетает в теплые края.
И почему заветные монголы
Своих мечей кривые горбыли,
Своих повозок теплые вагоны
Для нынешних времен не сберегли.

☆☆☆

Пока я жил на этом свете,
За двадцать лет,
Я только то узнал о смерти,
Что смерти нет.
Когда она, меня заметив,
За мной брела —
Я знал, что смерти нет на свете.
А жизнь была.

☆☆☆

Мой бедный дом, спасенный от пожара,
Как Пастернак, уже лишенный дара,
Простуженно качался на ветру.
Тень бледная у ног моих дрожала,
И молвил Петр соседнему Петру:
«Мы все, во тьму глядящие без страха,
И ты, поэт, лишенный Пастернака,
Сухих чернил, крепленных на крови,
Свои глаза, не видевшие мрака,
Закрой на миг и вечность отвори.
Нет времени на улице, которой
Каляева, убитого царем,
Дверной проем стоит сквозной опорой,
Дверь сломлена, хлеб съеден, мы живем».
Придет пора назначить цену крови.
В горсть медную щепотку серебра
Я вымолю.
Омой мои ладони.
Убей меня. Но будь ко мне добра.

☆☆☆

Меня отстреляли, и я понимаю траву —
Ни боли, ни раны,—
Но, кровь проливая, зачем я так странно живу,
Зачем я так странно.
И, кровь полевая, зачем я так странно живу,—
Свой цвет обретает —
Уже различаю, как кровь покидает траву
И жук отлетает.
И жук отлетает. И кровь покидает траву,
Едва умирая.
И ты понимаешь, зачем я так странно живу.
И я понимаю.

☆☆☆

Что мне сказать народу моему?
Он много лет не верит никому
И, нас в пути встречая по одежде,
В последний провожает по уму,
Благословив наш подвиг безнадежный.
Чтоб не солгать народу моему,
Скажу, что я не верю ни ему —
Строителю, страдальцу, погорельцу,
Пожары созывающему в рельсу,—
Не канул в Лету, канул в Колыму,—
Скажу, что я не верю ни ему,
Ни памяти, ни слову своему
И даже смерти той, что за плечами
Уже крадется к слову одному.
Но и оно не значилось в начале.

г. Москва



Маша
БЛИНКИНА

Карманная библия для квартирных воров.

*Житие упыры
и житие пупарника.*
В.А.М.

1.
Пупарник с напарником
Однажды на роликах
Отправились в джунгли
На поиски кроликов.

Пупарник с напарником,
Как полковник с половником,
Блуждали по джунглям
В поисках кроликов.

Мелькали в кустах
Чьи-то длинные усики,
Но это не кролики
Были, а гнусики.

И долго блуждали
Пупарник с напарником,
Но им попадались
Лишь гнусы бездарные.

«Какой неудачный
Попался напарник», —
Подумал промокший,
Как суслик, пупарник.

2.
Не спится пупарнику по ночам.
О вечности размышляет.
И только под чепчиком там да сям
Печально уши петляют.

3.
Упыре как-то Бог
Послал кусочек сыра.
Упыра занемог,
Ах, как нам жаль упыру!

4.
Однажды пупарник куда-то исчез.
И весь пупарничий дом
Обшарил весь пупарничий лес
С лейкой и топором.

Но словно простыл пупарничий след.
Пупарник канул в туман.
«Здесь был таракан, а теперь его нет», —
Как учит великий Коран.

И только упырь догадался потом,
Куда хулиган улетел.
И всем рассказал. И пупарничий дом
На радостях сразу запел.

И неся бессмысленный этот мотив
Из окон и из дверей:

«Если пупарник попал в Тель-Авив,
Наверно, он был еврей».

5.
Пупарник писал сочинение
О мировом пупарнизме.
А упырь с супругой тем временем
Под столом носки его грызли.

6.
Когда к пупарнику приходит вдохновение,
Упырь на улицу боится выходить.
Он прячется в носок,
Вздыхает, как сурок,
И пожирает свой ореховый пирог.
Оранжевый ореховый пирог
Зеленый, как пупарничий носок.

7.
Однажды пупарник вдвоем с упырем
Играли в квартирных воров.
В замочную скважину влезли с трудом,
Упырь почему-то промок.
Хозяин квартиры, молодецкий гнус,
Внимательно их осматрел
И, бросив им: «Ждите меня, я вернусь», —
Сидеть очень тихо велел.
Пупарник с упырой решили так:
«Его нам подкинул Бог», —
И сразу стащили парадный фрак,
И сгрызли парадный носок.
Вернулся хозяин. И молвил так,
Смотря на упыру в упор:
«Такой здоровый вырос хомяк,
А ведешь себя, как Егор».

8.
Упыра рифмовал
Пупарника
С антипупарником.
И стал
Большим начальником.

Пупарник оскорбленный,
Укрывшись в умывальнике,
Полил его из чайника.

Тогда упырский суд
(То был гуманный суд)
Устроил заседание.

Кричали упыри:
«Что можешь — говори,
Развратник, в оправдание!»

Пупарник говорил.
Рыдали упыри.
Скулили гнусы жалкие.

Судья и тот стонал
И слезы вытирал
Дырявою мочалкою.

9.
Оправдательная речь пупарника

Я больше не буду пупарником
И всех безобразий виновником.
Я стану упырским начальником,
Я стану отличным чиновником.
Я буду питаться крыжовником
И пить марганцовку из чайника,
Я буду примерным затворником,
В душе оставаясь пупарником.

10.
И вот опять вдвоем
Пупарник с упырем
Ныряют в тазик с борной кислотой.

Пора носки стирать!
Про вечность размышлять!
Блаженство, пурер-лупер и покой.

г. Москва

В такой компании
вас увидят
ВСЕ



ЮНОСТЬ

Рекламное бюро
тел. (095) 251-14-21

Игорь ОРАНСКИЙ МОСКОВСКИЙ САМУРАЙ

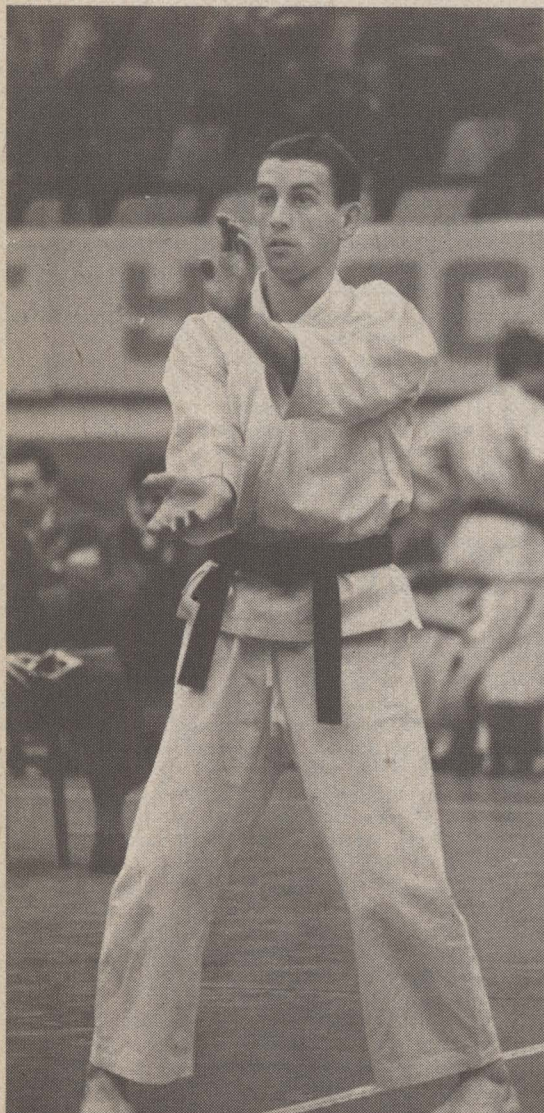


Фото Валерия Левитина

Скажу сразу: таких людей, как он, мне встречать не приходилось. И постепенно, по мере общения, узнавая его все ближе и ближе, я, несмотря на густую привычку все подвергать сомнению, долго не мог понять, что в нем правда. Пока не осознал, к величайшему своему изумлению, что он на самом деле такой, какой есть, абсолютно естественный, без какой-либо наигранности, и таким его и надо воспринимать.

Фамилия его вряд ли известна многим. Василий Крайниковский, 28 лет от роду, каратэ начал заниматься 14 лет назад, оказавшись с отцом на погранзаставе в Мукачево. Тренировался ежедневно по несколько часов, а когда каратэ разрешили официально — участвовал в соревнованиях. Продолжал тренироваться и в армии — там, в Монголии, и встретился со своим учителем. Потом приехал в Москву, работал инструктором в «Динамо». В 86-м ему посчастливилось попасть на международный семинар в Польшу, который проводили японские мастера, и сдать экзамен на первый дан по стилю Вадо-рю. Два года спустя, опять же в Польше, куда приехал на турнир, получил второй дан из рук известного инструктора Масато Кобаяси, а еще через год в Венгрии на Кубке мира его познакомили с главой стиля Сей Син Кай — Мицухиро Куниба. По его приглашениям Василий неоднократно посещал Японию, стал первым русским, чуть ли не первым неяпонцем, которого приняли в «Братство Священного Сердца» (так расшифровывается название стиля). Стал обладателем третьего дана, несколько месяцев назад получил пятый — это в 28-то лет! Получил от японцев право представлять Вадо-рю и Сен Син Кай в СССР, создал всесоюзную федерацию, вот уже несколько лет возглавляет «Синюю школу» боевых искусств. Сейчас по приглашению японской стороны собирается в Страну восходящего солнца на годичную стажировку.

Громких титулов Василий не завоевывал, на чемпионатах Москвы и страны не выступал — разве что на последнем, да и то не в поединках, а в катá*, — в закулисной борьбе не участвует, шумихи вокруг себя не создает, к рекламе не стремится, живет тихо и обособленно, в друзья ни к кому не набивается. Словом, странный человек, и отношение к нему соответствующее.

А он действительно не от мира сего и хотя ходит по той же земле, что и я, что и вы, но существует в каком-то другом измерении. Живет на мизерную по нашим временам тренерскую зарплату, а мог бы работать и бесплатно. Потому что деньги ему не нужны — вещей не покупает, относится к одежде с олимпийским спокойствием, и то, что получает, расходует на продукты — овощи, фрукты, орехи, творог. Рис привозит с собой из Японии — в последний раз тащил из Шереметьево-2 целых семь кило.

Помню, моя жена, человек гостеприимный и хлебосольный, во время его визитов приходила в отчаяние, ибо все попытки накормить его заканчивались безуспешно — то, что ели мы, ему не подходило. Он утешал ее рассказами о том, что каждое утро выпивает стакан воды, которую надо накануне вскипятить, а утром взять охлажденной, двенадцать раз перелить из стакана в стакан, а на тринадцатый выпить — и после этого двадцать минут не садиться, потому что иначе не прочистится канал, идущий вдоль позвоночного столба, и не зарядится канал энергетический.

Его отношению к материальным благам позавидовал бы самый бескорыстный самурай. За границей он бывает часто, но в магазинах там был раз или два: чтобы купить что-то жутко необходимое или выполнить чью-либо просьбу. Хотя валюта есть: приглашающая сторона его поездки субсидирует щедро. Но деньги на себя он не тратит — предпочитает сэкономить и взять с собой хотя бы одного ученика, чтобы тот увидел, как тренируются на родине каратэ.

Помню, как-то Василий сообщил мне, что руководство Вадо-рю презентовало ему набор оргтехники: компьютер, видео, факс, ксерокс — целое состояние. Ему лично. Не буду загадывать, что бы я сделал на его месте, но он поступил просто: видео поставил в доме одного ученика, ксерокс — у другого...

Я знаю, пожелай он, мог бы иметь многое — только за ведение занятий, благо предложений выгодных хоть отбавляй, не говоря уже о выездах. Он же предпочитает возиться с детьми, получая по сегодняшним меркам копейки. Готов лезть из кожи вон, чтобы помочь даже не очень хорошо знакомому человеку, готов отдать последнее — и убежден, что это правильно.

* Катá — комплекс формальных упражнений в каратэ, бой с одним или несколькими воображаемыми противниками.

— Одно время я часто получал отличные продуктовые заказы и все отдавал знакомым, которые меня об этом просили. Кстати, они до сих пор, когда меня встречают, первым делом интересуются, нет ли заказов. То же самое и с лекарствами, которые мне доставали в «четвертом» управлении: знакомые у меня их чуть ли не из рук вырывали. А теперь все они считают, что я поумнел и потому не хочу ничего отдавать, а на самом деле теперь у меня просто ничего нет. Я не дурак и не слепой, я все вижу и понимаю. Я знаю, что для подавляющего большинства я большой, сумасшедший, но не буйный, а тихий; есть такие психбольные, которые сами с собой разговаривают, картинки раскрашивают, умножают расстояние до Луны на расстояние до Марса. И я не пытаюсь никого разубеждать: мне все равно, кто и что обо мне думает. Я-то знаю, кто я такой...

Я верю: ему все равно. Он принадлежит другому миру, живет другой жизнью. Как-то раз он с удивлением сказал мне, что захотел купить яйца, но выяснилось, что для этого надо отстоять огромную очередь. Я уверен, что он не знает, сколько стоят хлеб, колбаса, масло и спички, и не только потому, что эти товары ему не нужны. Он не замечает толкучки в транспорте, драк авоськами в очередях длиною в жизнь, нехватки продуктов и вещей, одолеваящих всех нас бытовых проблем.

Его не особенно волнует то, что после расставания с женой — а кому нужен муж, который живет только каратэ, целыми днями пропадает в зале и денег домой не приносит, — ему негде жить. Ночует то в медпункте в спорткомплексе, то у приятелей, то в строительном вагончике на территории гольф-клуба, куда его пускают сердобольные сторожа. Мне рассказали, что после развода его экс-супруга, услышав, что он живет в какой-то сторожке, пришла в гольф-клуб, изучила местность и сделала вывод, что ночевать здесь не может даже ее бывший муж, но ошиблась. Потому что неприхотлив он до крайности, личные вещи, коих ничтожно мало, разбросаны по приятелям, и все, что ему нужно, — лавка, на которую можно лечь, и вода для мытья и ежедневной стирки кимоно. Так что к жилью он относится, как Диоген, хотя я уверен, что тот бы не променял свою уютную бочку на этот строительный вагончик.

— Да, неудобно, что негде жить, негде разложить вещи, расслабиться. Но мне это по-настоящему и не нужно. Я все время в зале — все остальное не имеет значения. Я живу там, а все, что за его порогом, — мелочи, пустяки. Иногда я думаю, что вне зала ничего не существует...

Когда он позвонил мне первого января и я заинтересовался, где он встречал Новый год, он радостно сообщил, что лучшего Нового года у него не было, потому что он остался в зале, ровно в двенадцать начал тренировку и работал до рассвета. И я не нашелся, что ответить.

В зале он может пребывать сутки напролет. Я следил за его тренировками и видел, как он отрешается, переходит в другое состояние, и время для него летит незаметно — проходит три часа, четыре, пять, а он по-прежнему без усталости выписывает замысловато-загадочные ката. Я видел, как он отбрасывал ката в грязном и темном коридоре ростовской гостиницы, напоминающей ночлежку, и ему было все равно, что проходили мимо несчастные жители «бездвездочного» отеля смотрели на него как на помешанного. Думаю, что он точно так же мог бы тренироваться в вестибюле метро или на Красной площади — когда он начинает работать, он не замечает того, что вокруг, — точнее, окружающее перестает для него существовать. И бываю моменты, когда я теряюсь в догадках: чей мир иллюзорный и чей — реальный? Мой или его? И не могу с уверенностью ответить, что знаю истину.

Буду откровенен: сам я человек практичный, вроде бы знаю, зачем живу и чего хочу, ценю то, что имею, и хочу иметь значительно больше и жить намного лучше. Но иногда, глядя на Василия или думая о нем, я вдруг начинаю задавать себе странные, расстраивающие психику вопросы. А правильно ли живу? А есть ли смысл стремиться побольше зарабатывать, работая на износ, по ночам, чтобы потом покупать на эти деньги фирменные сигареты, напитки и шмотки? А нужно ли вообще суетиться, все время куда-то бежать, с кем-то ругаться, кем-то увлекаться, в ком-то разочаровываться? И начинаю подвергать детальному рассмотрению свое прошлое, настоящее и желанное будущее, и все эти сомнения, порожденные не головой, которую легко затуманить спиртным, а неведомо где обитающей душой, обрушиваются с такой силой и скоростью, словно их наносит супермастер, и я не успеваю увернуться, и хотя ни один из них меня

не нокаутирует, нокаутов столько, что сбиваешься со счета, и голова плывет, и ноги подкашиваются в этом проклятом состоянии «грогги», но бой никто не останавливает. И после этой «разборки» с самим собой чувствую себя так, словно побывал на Страшном суде, где меня приговорили к пожизненной отсидке в котле с пузырящейся водой, и я, никогда, никому и ни в чем не завидовавший, начинаю вдруг завидовать Василию — спокойному, уверенному, не знающему сомнений, убежденному, что идет по верному пути и другого нет и быть не может.

И я могу выйти из этого дискомфортного состояния, лишь бросившись с головой в привычное и родное болото повседневно, слегка отдающее гнилью и тиной...

Я всегда делил каратэ на три самостоятельные, независимые ветви: самооборона, спорт, искусство. И к последней относился с некоторым подозрением, считая, что красивые и сложные комплексы, поединки с невидимыми врагами предпочитают те, кто не силен в спорте и реальном бою. И какое-то время полагал, что к такому отношению и мой товарищ. И просто ошалел, когда через пару лет знакомства случайно узнал, что он, пять лет преподававший рукопашный бой в «Динамо» — официально каратэ тогда было запрещено, — так что обзывали его по-разному, — все эти годы по собственной инициативе выезжал на задержания с группами захвата. Чувствовал ответственность за тех, кого тренировал, и хотел на практике проверить свое мастерство. И, разумеется, в него стреляли, били его арматурой и чем придется, и, разумеется, бил он. И, видимо, бил быстрее и сильнее, потому что уцелел, ибо из тех, кто выезжал с ним, невредимыми возвращались далеко не все. А потом я узнал, что в поединки он вступал не только на заданиях, но не раз и в уличных ситуациях...

— Несколько лет назад после непрерывной работы у меня выдался выходной, и я поехал погулять в Парк культуры. Иду себе, ем мороженое и вдруг у бывшего уже пивбара «Пльзене» вижу такую картину: по земле катаются милиционер и какой-то пьяный парень, и на все это спокойно взирают компания пьяных молодых людей и оробевшие дружинники. Как выяснилось позже, компания эта вела себя в «Пльзене» достаточно шумно, а когда перед закрытием их начали выпроваживать, один из них кинул в уборщицу кружкой и попал ей в голову. Милиционера с дружинниками они не испугались — один из компании только вышел после отсидки, и это самое событие они и отмечали.

И тут подхожу я, вежливо интересуюсь, что происходит. Парни подобались здоровые, и у меня в сравнении с ними вид забавный — невысокий, худенький, да еще и с мороженым в руках. Короче говоря, послали меня куда подальше, но я туда идти не захотел, и тогда виновник торжества пошел на меня — то ли напугать хотел, то ли в самом деле покалечить. Делать нечего, пришлось ударить его ногой в голову, он рухнул на асфальт и признаки жизни подавать упорно отказывался. Друзья его мигом успокоились, зато собралась толпа прохожих, до того обходивших пивбар стороной. Кричать стали, что я убийца, какая-то бабка даже авоськой ударила: порешил, мол, подлец, безвинного человека. К счастью, он в конце концов решил ожить, а я потом долго объяснительные писал.

А как-то раз меня вообще чуть не посадили. Было это лет пять назад. Бежал я кросс в Покровско-Стрешневском парке, уже смеркалось, я налегке, в одних динамовских трусах, и вдруг, пробегая мимо автобусной остановки, слышу — девчонка зовет на помощь: к ней пристали двое ребят. Когда я подошел, один из них достал перочинный ножик и попытался меня им потыкать — ну и получил удар в переносицу плюс перелом ключицы, а второй оказался подogaдливой и убежал. Оказалось, что девчонка нападавшего знает — живет в соседнем доме. И я стал обзванивать по очереди все квартиры, а вид у меня жуткий, трусы залиты кровью, подмышкой парень окровавленный. Но не бросать же его на улице. Наконец квартиру я нашел, а мать его тут же вызвала милицию.

А девчонка куда-то сбежала, и доказать я ничего не могу. В милиции говорят: тебе надо, ты и ищи, а нам все равно. Ходил в больницу к парню, мать его меня выгнала: посажу, мол, и все дела. В милиции подтверждают: будешь сидеть. И я уже решил, что все кончено, так как знал, что в родном «Динамо» никто и пальцем не пошевелит, чтобы помочь. И когда меня в очередной раз вызвали в отделение, я уже думал, что сейчас на «воронке» поеду в изолятор в Бутырки. А следователь при мне поставил на деле крест — свободен. Выяснилось, что через несколько дней девчонка все расска-

зала своей матери, и та ее приволокла в милицию. Потом эта женщина меня все на обед зазывала, девица предлагала какие-то вещи по благу достать, я же их попросил только об одном: давайте так — вы меня не знаете, а я вас. А случаев таких было столько...

Между прочим, оперативников он тренирует до сих пор, но уже не совсем официально. Потому что из «Динамо» в конце концов ушел — из-за разногласий с начальством, которое считало, что каратэ никому не нужно, а к серьезным травмам и смертям необученных людей относилось спокойно. И из-за того, что на похоронах тренировавшегося у него товарища жена погибшего прямо на кладбище при всех дала ему пощечину: мужа не стало, а тренер жив и здоров. В тот же день он и написал рапорт.

Хотя по отношению к нему «жив и здоров» — понятие относительное. В свои 28 лет на тренировках, соревнованиях и заданиях он получил столько травм, что хватило бы с лихвой на всех героев всех западных фильмов о каратэ.

— Помню, я один раз попал в больницу, второй и начал намеренно себя гробить. Мне надоело болеть, лечиться, и я решил, что надо тренироваться в том же ускоренном темпе до тех пор, пока не оставят силы. Как-то на базе в Брянске меня утром нашли в траве — ночью начал тренироваться и потерял сознание. Жизнь ведь так или иначе приводит к смерти, и я решил рвануть на финиш, познав по пути столько, сколько успею. Остановило только то, что я понял, что нужен ученикам, что я могу и должен передать им то, что знаю сам...

Как-то я поинтересовался у него, зачем он живет, к чему стремится: стать суперчеловеком, сверхмастером? Он не обиделся, спокойно ответил, что хочет узнать как можно больше, изучает не только каратэ, но и ушу, дзюдо, самбо, бокс и другие единоборства, чтобы понять, что есть боевые искус-

ства и на что способен он сам, Василий Крайниковский. Изучает философию — и не только дзен-буддизм, основу боевых искусств... Всерьез занимается живописью, а картины свои отдает на хранение близким, а то и просто знакомым, и те порой картины его продают, ну, а денег он у них, понятно, не берет. А мечтает о том, чтобы, постажировавшись в Японии, уехать потом в какое-нибудь глухое, заброшенное место и там несколько лет, а то и всю жизнь усваивать полученные знания.

Его волнует, что еще не постиг до конца каратэ.

— В Японии я попал на остров Консюхо, в закрытый монастырь, в котором живут люди, посвятившие себя каратэ. Там был один монах, немолодой уже, лысый, на голове выбриты какие-то знаки, который показывал мне всякие чудеса — гасил ударами свечи, рубил на части камни и т. д. и т. п. А потом предложил мне поспарринговать. Я такой работы никогда не видел — никаких резких движений, все плавно и спокойно, словно он за полчаса знает, что я буду делать. Сам не бьет, просто тыкает легко, но чувствуется, что, если бы ударил всерьез, пробил бы насквозь. У меня потом шок был: обидно было, что работал он со мной, как с мальчишкой, читал, как раскрытую книгу. И когда я летел обратно в Москву, то мне настолько было не по себе, что я даже раз подумал: хоть бы упал этот самолет...

От всех моих предложений написать о нем Василий всегда уклонялся как мог. И то, что рассказал о нем сейчас, я буквально по капле выдавливал из него в течение трех лет. Кто-то может подумать, что я говорю о нем чересчур восторженно, восхищаюсь без всякой меры. Да нет, мной движет совсем другое — понять, каков же этот человек, не подходящий даже под самые нестандартные параметры и обитающий в неосязаемой, загадочной дали и одновременно живущий в том же мире, что и я.

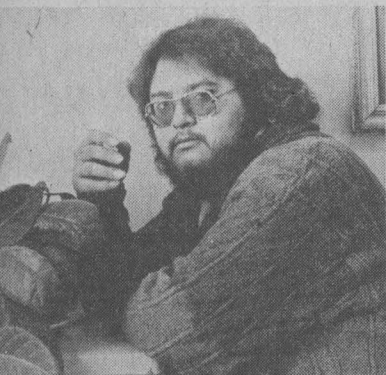
ЭКСПРЕСС-ПОДГОТОВКА В ЛЮБОЙ ВУЗ ИЛИ ТЕХНИКУМ РОССИИ!

Студия ПК "МИКАР" предлагает учебные пособия УМЕНЬШЕННОГО ФОРМАТА, составленные преподавателями ведущих гуманитарных, медицинских и технических вузов по следующим дисциплинам:

- математика (теория, задачи)
- физика (теория, задачи)
- русский язык и литература (ответы на билеты устного экзамена)
- 60 сочинений
- химия (теория, задачи)
- биология (теория, задачи)
- география
- история
- английский язык

Стоимость одного комплекта — 48 рублей.

Заявку (укажите интересующие вас комплекты, свой адрес и телефон), квитанцию почтового перевода или ее нотариально заверенную копию (наши банковские реквизиты: 117605, Москва, Ленинский пр-т, 90/2, коммерческий банк "Мера", р/с 461062, студия "Микар") направляйте по адресу: 127635, Москва, а/я 3, студия "Микар". Учебные пособия мы вышлем вам заказным отправлением в течение недели после получения квитанции почтового перевода.



Андрей
ШИРЯЕВ

Начало

I
Из пустыни — безмолвно; впрочем, не все — пустыня, где безводье, жара и от солнца бело, простынно и пространно. Возможно, что здесь не что иное, как постель (в просторечии — ложе). Моей спиной управляет желание выжить или даже просто стадное чувство. Длительный жест-адажио повисает в слоях атмосферы пятью лучами, не найдя завершения, как стрелы из колчана под музейным стеклом, под тонким налетом пыли, любопытства и страха, кажется; их лепили из податливой бронзы жаркой — для дела, слышишь? Для меня, если б я не родился позже, слишком поздно, чтобы отдать им, выручить, поделиться жизнью? смертью? не важно.

Стремящемуся продлиться важно вылить густые с терпким запахом дрожжи в ждущее тесто; кстати, здесь доступность дороже первозданности, коей требуются лукавство и подход (вот случай, где время не есть лекарство).

II
Здесь, в степи — все понятней, так как до горизонта нет ни черта: ни вешки, ни запаха креозота, непременно стража рациональной гнили человеческих деяний; пусто. Веками никли, падали под копыта, тлели в следах сайгачьих горький емшан, люди, звезды. Вожак-рогозчик им только мордой качает сверху вниз и уводит стадо к пропасти, чтобы лучших достичь угодий без особых стараний, мне предоставить право длиться, жаждать жизни, перерабатывать прану в отложения жира на животе и бедрах, немо ждать, затаившись тенью в глазах недобрых...

III
Я решил начать — в расчете на благосклонность: лишь пустыня прощает жесту незавершенность.

☆☆☆

« — Знаешь, Китти, если ты помолчишь хоть минутку, — продолжала Алиса, — и послушаешь меня, я тебе расскажу все, что знаю про Зазеркальный дом».

Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье».

Он здесь чужой. Он — тот, кому везет не более, чем каждому. Он видит, как человек, похожий на Давида, берет из рук его пальто и зонтик. Калейдоскоп: оптической трубой стучала ночь, смещала, обнажала контрасты дальтонического зала, где только губы тлели вразнобой. Сумбур-мажор за пультом; анфилады стройнейших ног, затянутых в капрон, переступают в такт. Ему — не надо. Он выйдет вон. Осанна одиночкам! Жаль, что масса всегда сильнее. И, сколько б ни алкал познания совсем иного класса, поверхность человеческого глаза

куда кривей поверхности зеркал. Что — зеркала; культура витражей и этот дождь из черно-белых капель рождают в муках свет — сухой, как кашель, двумерней, чем творения Леже. О Плоскость! Прародительница всех филиппик, азиатских лиц, столешниц, скандалов, флирта etc. Из сотни грешниц одна — всегда, — отстаивая цех, напомнит, что когда-то в Галилее сестра ее оправдана была. И кем! Отсюда: глупая затея — дебаты о достоинствах стекла. Ни чистота, ни цвет, ни монолитность не властны вызвать интерес и пыл; пожалуй, только трещины и пыль привнесут эпатаж и колоритность для вяло созерцающей толпы. Он искренен, как всякий лицедей, но не лишен пикантности и лоска; родней толпе, чем свастика звезде, и аксиоматично: от людей куда логичней откупаться воском. Тот самый случай, где и зеркала, и личный опыт, впрочем, малоценны. Исправить существо конечной цели ни острый ум, ни даже импульс зла не властны. Переменная — одна и — в правой части. Это путь в пространстве и времени. При всем непостоянстве невольна обусловлена она вторичностью; и, как ни искривляй, ни изменяя оглобли траекторий, любая из подслушанных историй включает и «Ура!», и пенный лай. Он ненавидит этот праздник ню, где маски обнажены и нелепы. Венера не отбросит простыню. А то, что жизнь дозволила огню, без промедленья смерть дозволит пеплу. Поэтому он — здесь, без всякой цели, покинув дом, где, сколько ни моргай, из стенки над супружеской постелью давно растут ветвистые рога — олени, несомненно; прорастают, как корни, в мутный воздух. Три цены отдав за право спать и видеть сны, он еженощно молча убивает себя — оленя — там, внутри стены. Он знает, что не более жесток, чем воин, торжествующий победу. Иссякнет карнавал; он выйдет следом все так же — молча — на губах платок, поскольку изреченный монолог подобен бреду.

☆☆☆

Вольно ж тебе, Москва, бродяжка, Магдалина, выказывать свой прав и юбками вертеть; Садовое кольцо — суть лампа Аладдина, где то ли умер джинн, то ли забрел в вертеп к девицам и запил на деньги Соломона и пропил все, но — горд — дитя Востока, где и Крез от зноя пьет зеленый чай с лимоном, и нищий пьет шербет, и тянутся к воде торговцы и рабы, поскольку для природы неважно, чем набит твой пояс, и важна лишь влага, говорю; где на краю восхода рыдает муэдзин, опившийся вина с такими же, как сам, святошами в законе, чьи бороды растут — поверишь ли — винтом, и в унисон ему фрондирует в загоне непоенный ишак с отвислым животом, бедняга. Впрочем, блажь, Москва моя, потухни, прислушайся ко мне: я был, и был таков, и был таков всегда. Остался свет на кухне, где пел мне по ночам maestro Кочетков, грузинские усы расправив, точно птица — могучие крыла, то весело, то зло... Прислушайся, Москва, прислушайся: стучится случайный шмель копьём в распятое стекло. г. Целиноград



Иван ЧУРАКОВ

☆☆☆

Больше к вам я уже не приду —
на меня не затрачивай чувств.
Укачу я от вас, укачу,
сам не знаю, куда я умчусь.
В церкви русской за мой упокой
моя мать оделит попа.
Где-то там, за зеленой рекой,
я вам голос подам тогда.
И тогда где-то там в груди
я загнусь от экстаза не раз,
и мои кровяные куски
ты на публику будешь класть.
Не прощай ты меня
и себя не губи.
Мои светлые в полдень глаза за так
съели красные муравьи,
был я этому, может, рад.
Всю контрастность лица моего
потеряет Европа и Азия,
как оставят в гробу одного,
после морга обмоют из тазика.
Закидают песком колени,
затрамбуют мое окаянство.
Рядом ставит мое поколение
детский гробик с земного пространства.

☆☆☆

Мы лежали, не двигаясь, годы
в лесоречной деревеньке,
а потом начались роды.
Итак, я стал деревенщиком.
Я останавливал молодяжку мордой в стены изб
и, когда переводил ее за повод через ручей,
увидел лешего с фарфоровым глазом на иссохшей ноге,
с красными пиявками на лице,
с вороненым наганом в руках.
Мой отец летом в валенках,
шапке и старой фуфайке.
Месса моя, реквием мой,
оратория ветра, танец Бермудский,
плачу я о тебе,
уткнувшись в корявые пальцы ольхи розовой.
На фотографии в рамке
с шашкой черкесской
казацкого сотника внук.
Я пойду на богомолье в Яранск,
на могилу к отцу Матвею.
«Я — Чураков!» — грожу всей деревне я кулаком,
гильзу вставляя в ружье
с золотой чеканкой фамильной.
Слышу: стонет в ночи над арендой
мой леший отец, огнищанин,
глаза нашего оскудевшего,
древнего рода...

☆☆☆

Мы угнали автомобиль.
не от жадности, а для шика.

Мы — гангстеры,
нужно до зарезу прокатиться.
За него расплатился отец,
за меня отревела мать.
И когда я вверх ногами висел,
ей приходилось меня держать.
И когда меня било о стены домов,
ты кричала: «Не умирай!»
Я умру, но не изменю.
Или под поезд брошусь.
И уйду.
И не надо реветь,
и не надо меня жалеть.
И когда в меня вошел черный волк,
ты одна не переставала меня ласкать,
потому я теперь поэт, а тебе уже много лет.

☆☆☆

Я весь в беспамятстве.
Демон красный.
Хоть бы цирюльника для кровопускания.
Падший я демон, не человек я.
Крыльями быюсь в бетонные стены
и я в желаниях неуправляем,
над адом тени мои летают.
Демон я, демон.
Демон безумный.
Светом свечусь я пурпурным,
чтобы не видел я ног неприкрытых,
вырванных чувств моих электричество.
Демон я, выгнанный Богом из рая.
Демон я. Демон в пепле вулканном.

☆☆☆

Меня преследует Ван Гог
с трубкой молочной во рту.
Мой сумасшедший король
с тряпкой вокруг головы.
Со мною живет Ван Гог,
с плетеной бутылкой абсента,
с мочкой уха в пальцах.
В туфлях пехотных бродяг
ищет ночную корчму
в свитере голландский матрос.
Рядом со мною рисует Ван Гог.
Жабу в жабо кружевном,
клеем грунтует свой холст.
Яд электрических ламп.
И королевский ворон
сел за мольберт Ван Гога.
Меня терзает Ван Гог, мучит меня Ван Гог,
припадочный, мертвый Ван Гог.
Я — Ван Гог.

☆☆☆

В крови моей кодеин, а в гипофизе — алкоголь.
Дождь горячий под утро мне снится
.....
На губах моих гарь,
а в глазах моих — грех.
И осталось о липы разбиться.
Рай и ад. Тьма и свет.
Верх и низ. Жизнь и смерть.
Взбунтоваться и задохнуться
в поколении воздушных ям.

☆☆☆

Мы с тобою плыли в белой яхте,
ты кормила чаек булкой с губ.
Ты вернулась, Лена, здравствуй,
на речную улываем губу.
Будем в котелке варить язынка,
будем звезды на небе лизать,
приблудившемуся рыжему котенку
будем кости на песок кидать.
Я поймал тебя на тонкий спиннинг,
заблудившуюся белую акулу.
Мы на паруснике в небоскребы плыли,
ветром мокрым и соленым в душу дуло.
г. Нижний Новгород



Мария
МАКСИМОВА

☆☆☆

Когда, как цикламен в снегу,
трепещет жизнь, поет
и танцовщицей босиком
бежит и воду пьет,
тогда, споткнувшись на лету,
услыша резкий звук,
мгновенно падает на лед,
все выронив из рук...
Я знаю: вещи говорят
на странном языке —
они не станут разбирать,
край чьей одежды целовать,
чья жизнь — на волоске.
Она растет, как куст во рву
заброшенный. Потом
на нем раскроется бутон
с горячим, жадным ртом.
Попробуй долго не дышать,
как жемчуга ловцы,
когда она трубит, зовет
и смерти требует и ждет,
как бабочка — пыльцы.
И так легко, к цветку припав,
то плачет, то грозит
и даже крови кислый вкус,
когда почувствует укус,
в нектар преобразит.

Сестра

1.
Мы все живем на острие иглы,
и кажется — все ждем судьбу иную,
закутанную плотно в ткань льняную,
с весами обходящую углы.
Как жизнь тягуче-медленна пустая...
жужжанье мухи... рвется тонкий слой,
и воздух, черной розой расцветая,
проколот тонкой звездной иглой.
А я лишь тень, скользящая за сутью,
и слух мой напряжен, как никогда,
чтоб прошлое скорей дрожащей ртутью
скатилось по извилинам стыда,
чтоб ночью, в час, когда опять узнаю,
что грани восприятия остры,
шатаясь, подойти к земному краю
и смутно различить упрек сестры.
2.
— О, сколько раз придется умирать?
— Но всякий раз он для меня воскреснет.
Не бойся, дверь пришельцам отпирай,
они идут в далекий, зыбкий край,
где кринка с молоком небесным треснет.
Не нам такую жатву собирать,
лишь там, где я, тебе существовать.
Гермес, как имя сладостно звучит!
Под видимостью юного Сократа
здесь сердце сокровенное стучит
божественного, скрытнейшего брата.

Вода бежит стремительно и звонко,
и сыплется горячая мука
в мешки холщовые, в сиротские котомки
пришедших за тобой издалека.
Есть образ некий, смутный и текучий,
неуловимый, вечный, молодой,
ты слишком долго искушала случай,
и хрустнул он скорлупкой золотой.
И до тех пор ты не поймешь, откуда
и для чего ты вышла и взвала
к тому, кто в лодке, сонной и певучей,
приблизился, сложивши два крыла.
— И столько раз ты для меня воскреснешь...
— Но воскресать нет силы, чтоб опять
возвышенную звездную скворешню
на тесный воздух совести менять.
Так, зная, что ни с чем не совпадаешь,
ты видишь сны — зыбучие пески,
идешь босая, по костям гадаешь
и склеиваешь вазы черепки.

☆☆☆

«Каких бесполезных воскресений
Мы ищем от логической весны...»
(К. Э.)

Цветут сады логической весны,
а я стою среди густого снега,
где снится ожидание побега
из мира преддекабрьской глубины.

Простое человеческое слово —
как высоко горит твоя звезда,
огромная, вечерняя, чужая,
и моет ее черная вода.
Погружена в молчанье по колени —
не двинуться. А время так бежит,
сменяются, летят по небу тени,
и лодка перевернутой лежит.
И сумерки, прозрачные, пустые,
вмещают нас, и множат, и несут,
как два огня в заснеженной пустыне,
земного зренья двойственный сосуд.

Как ты, с другого берега, сосущий
из ранки яд, не знал наверняка,
что пламя разгорается невинно
и гаснет при порыве сквозняка?
Цветет сосна логического сада,
несносен день, и труд страшит, как ад,
когда из затаенного провала
по полю, без дороги, как попало,
глотаю ночь и снег, бежишь назад.

☆☆☆

Откуда ты летишь
с пыльюю золотою
на кончике дрожащего пера?
Вечерний стриж над заводью лесною
торопит задержавшихся: «Пора!»
Ведь скоро ночь, красавица и лгунья,
достанет из-под синего плаща
образчики судеб, и полнолуние
их смоет, бледной пеною плеща.
С жестоким блеском, с медною смолою
из тонкого свеченья восстает
чужая жизнь, что жадною стрелою
летит в кипящем воздухе вперед.
Но, двигаясь, нельзя не измениться!
Так погоди же, старостью гоним, —
впряженным в мировую колесницу
так страшно оставаться здесь одним!
Так под остывшим пеплом угли тлеют,
так крот вслепую роется в земле,
так семена в осенних травах зреют,
так прячется сверчок в печной золе.
Но вот уже так близко, перед домом
колышутся и медленно растут
цветные тени в сумраке медовом...
О, спать и изменяться — горький труд...
г. Москва.



Элла
КРЫЛОВА

Поворот

Все нежнее камень, а воздух — грубей.
По городу скитается беглый гобой.
Я, медную пыль загибая губой,
считаю мертвых голубей.
Двадцать шесть за неделю — таков улов
вооруженных прищуром глаз.
В зените пыжится тусклый страз.
Смертью несет из всех углов.
Дряхлеет в отставке античное божество.
Кроится глыба нетленной красоты.
Хуже зла и ада и пустоты —
бессмысленность всего.
Над проклятой этой точкой висит кирпич,
а чудится, что — колун.
На этом месте заплесневелый валун
торчит, как черствый кулич.
И надпись, что в извилине мысль, видна:
«Отчаянье — первый, последний приют.
Все дороги сюда ведут.
Отсюда есть одна».

У моря

День, долгий, как Троянская война,
на тысячи мгновений расфасован,
извилистых и жестких, как волна
крутого океанского посла,
и — на хвосте улыбочивый дельфин —
светило круглое на горизонте,
над белыми руинами Афин,
над неженкой, раскрывшей легкий зонтик.
И, лежа навзничь, можно плыть и плыть,
от берега все дальше с каждым взмахом
ресниц, в обетованную теплоту,
где Гектора встречает Андромаха,
где все сбилось, развеялось, срослось,
а неумный знай твердит философ:
мир от распада уберег не гвоздь,
но злые крючья проклятых вопросов.

☆☆☆

Цвет любви моей —
белый цвет.
Вершин серебро и потоков ртуть.
Голубь Ковчега. Святой мертвец.
И —
вертикальный путь.
Легкий крест бедной моей любви.
Млеко пестрых коров.
Арки всех радуг и соль всех битв.
Окончательной тьмы нутро.

☆☆☆

Слезами раскаянья не оскверню
ног Твоих.
Молитвой — и чистосердечной —
Тебя не унижу.
Да пребудешь Ты так, будто меня
нет вовсе.
Да Ты и так пребываешь, как будто нет
вовсе меня...

г. Москва



Александр
МАКАРОВ-
КРОТКОВ

☆☆☆

в больнице лица
вытянуты
как на портретах Модильяни
не в пропорциях дело
говорят мне
а в предвкушении воскрешения

☆☆☆

...о тоска невыразимая!
Г. Айги

пыль в горсти
и соль на губах
замри сердце

Милосердие

сигареты фабрики «Дукат»
я беру в киоске напрокат
покурю немного и верну
чтоб не разорять мою страну

☆☆☆

жизнь длится в течение поцелуя
все прочее —
мемуары

☆☆☆

днем
ты
отражение моей ночи
ночью
я
слепок с твоего тела.

☆☆☆

эти деревянные бараки
никогда не стареют
время проносится где-то в стороне
корни пустили они
так глубоко
ничто их не может снести
ни ветер
ни ядерный взрыв

В саду

поливать себя
из пластмассовой голубой лейки
пустить корни
в теплую землю
повторять потихоньку:
я трава
растущая в сторону неба

г. Москва



**Александр
ДУДОЛАДОВ**

ПРО БУКВУ «Г»

**(эстрадный
некролог)**

Помните, он все время чего-то жевал? Жевал и жевал. И на высокой трибуне, и в президиуме, и перед телекамерой. Все время чего-то пожевывал. Причмокивал, почавкивал.

Особенно когда речи говорил:

— Дорогие товарищи, мча-мча, друзья! С чувством глубокого удовлетворения, мча, разрешите поздравить вас, мча, с присвоением МНЕ, мча, высокой правительственной награды...

Поздравит он нас этак, и мы, конечно, рады, и у нас никаких вопросов, кроме одного: чего он там жует?

Ведь время тогда насчет того, чего жуют, было очень напряженное. Ну и само собой возникали всякие догадки.

Одни, например, говорили: «Ну мы-то зна-аем, чего они там жуют. Зна-аем. Точнее, мысленно представляем. Это. У них там этого ого-го. Оно у них там даже залеживается и портится. А он же сам вырос в бедной крестьянской семье и с детства приучен... Так вот, чтобы не пропало, постоянно, значит, мням-мням, мням-мням. Ибо не зря же им сказано: «Экономика должна быть...»
Вот такое было мнение.

Но были и другие. Некоторые, например, говорили, что все это ерунда! Что это у него просто нервное. И что жует он вхолостую. И если уж быть точным, то можно только сказать, что жует он воздух.

Многим именно эта версия нравилась. Потому что она объясняла еще, почему нам так душно, когда мы его видим и слышим. Воздух же ест. Наш общий!

Другие не соглашались и говорили, что дело не в этом, а в том, что таким способом он как бы разжевывает смысл своих речей. Потому что их ему пишут другие — умные люди. А сам он их плохо понимает. Ведь мозговые центры его — те, которые обрабатывают мысли, и те, что следят за слюновыделением, — от почтенных лет жизни, вероятно, слезались и срослись.

Нарушение, понимаете ли, рефлексов, как у собаки Павлова после удаления мозжечка.

Вообще версий было много: и что у него просто садятся батарейки; и что плохо видит малоознакомые ему буквы и делает таким оригинальным образом паузы, чтобы услышать спрятанного рядом суфлера; и что сами мы дураки и привыкли везде видеть плохое.

Но лично у меня всегда было другое объяснение этого феномена. Никакие мы не дураки, и ничего нам не казалось! Он действительно постоянно ел! Но вовсе не то, что мы только мысленно представляем, и не воздух, и не какой-то там невнятный смысл речей, а самое настоящее, извините за выражение, «Г»...

Не подумайте плохого. Я имею в виду букву «Г». Почему-то он ее не любил. Не хотел произносить. Или не получалось. Некоторые другие произносил. А эту — ну никак! Вместо звонкого, твердого «Г» какой-то неопределенный, гулкий звук: гхэ... э-э... х, э... Больше всего на «Х» походило.

Перед тем, как произнести, пошевелит так вот губами — мча-мча-мча — пожует ее, эту «Г», всю твердость и определенность ее разжует и выпустит на поверхность из своих ораторских глубин:

— Тысячи обездоленных в странах Африки умирают от ХОЛОДА...

А ты сидишь и думаешь: «В Африке? От холода? В Африке?..»

А он уже новую мысль выдвигает, проводит сравнение африканских недостатков с нашими успехами:

— В отличие от этих развитых стран Запада у нас проводится широкая работа по улучшению ХИХИЕ-НЫ труда!

ХИ-ХИ-ЕНЫ!

Да вообще он правду часто говорил. Простой же был мужик, кре-

стьянская душа. Нет-нет да и врежет по-простому:

— Каждый талант в нашей стране — это алмаз. И чтобы стать бриллиантом, ему нужна ОХРАНКА.

Некоторые при этом думали, что он имел в виду «огранку», но я думаю, что он имел в виду то, что сказал.

Вообще путаница иногда возникала. Вот он скажет, например:

— На много процентов перевыполнила план наша ХАЗОВАЯ промышленность.

И некоторые не понимают. Ведь ХАЗА — это же бандитская квартира. Тогда «наша ХАЗОВАЯ промышленность» — это что? Строительство жилья у нас? Или, может быть, мафия у них? Или все-таки строительство у нас? Но это еще ладно. Это в принципе одно и то же. А вот скажет он:

— Трудящиеся страны единоХласно ответили на решения партии трудовым ХЕРОИЗМОМ.

И тут уже только однозначно понимаешь, от какого слова произошел этот ХЕРОИЗМ...

От слова «единохласно», конечно.

У нас ведь вообще многое от этого единогласия на букву «Х» и произошло. Такое невнятное единохласие, тихое единодушное мычание по всей стране. Как ропот в церковном хоре.

Мы смотрели на него, тихие и покорные, как дети на папу. А он, казалось, только жевал и жевал. Жевал и жевал эти трудные для него буквы алфавита.

Но, как теперь оказалось, вместе с этими немногими буквами алфавита он успел сжевать и многие буквы закона.

Слава Богу, что не все!

Слава Богу, славы оказались его ветхие зубы!

Слава гласности!

Аминь!

ЗНАЙ НАШИХ!

«Зеленый портфель» уже дважды знакомил читателей со стихами кемеровца Владимира Ширяева (март-90, сентябрь-91). А сравнительно недавно «Комсомольская правда» опубликовала на первой полосе заметку А. Черкасова «Двухтонное собрание сочинений поэта Ширяева», которую мы приводим полностью:

«Писание стихов известный кузбасский поэт Владимир Ширяев решил совмещать с выращиванием тыквы. На днях Владимир сдал в кемеровский магазин «Золотая осень» двухтонный урожай. За каждый килограмм ширяевских беззатратных тыкв покупатели с удовольствием выкладывают полтора рубля».

«Зеленый портфель» поздравляет своего любимого автора с высоким урожаем. Ждем от Владимира не только новых стихов, но и тыквенных семечек.

Алексей ЦАПИК УРНА

Иду я вчера по улице, смотрю — около столба стоит урна. И так у меня на душе вдруг радостно сделалось! Вот, думаю, возьму сейчас и в эту урну плюну.

Подхожу, наклоняюсь. А урна меня спрашивает:

— Плевать будете?

У меня сразу во всем организме слюна пропала.

— Так будете или нет? — опять спросила урна и нетерпеливо покачнулась.

— Буду... то есть хотел... то есть... В смысле... Извините.

«Господи,— думаю,— да что же это такое?! Урна... говорящая... Ну ее к дьяволу».

— Нет,— отвечаю,— спасибо за предложение. Я не думал, что...

— А надо думать,— сказала урна.— Даже когда хочешь плюнуть — думать надо. Особенно сейчас.

И захихикала.

У меня голова кругом пошла. Урна, а как умно рассуждает! Может, действительно подумать и плюнуть. Чтобы не обидеть. Ей приятно будет. Чего она зря стоит?

— Да,— говорю,— вот сейчас.

А во рту — сухо-о-о...

— Ну, давай,— говорит урна,— давай паспорт.

— Паспорт?! — удивляюсь.

— Конечно. А как же без него? — Урна тоже удивилась. — Проверь, где ты прописан, и плюнь на здоровье.

— Да зачем вам моя прописка? Вы же... ты же не участковый. Не участковый ты, чтобы прописку проверять.

— А затем,— говорит,— что если ты свой — плюнь сколько влезет. А вдруг чужой?

— В каком смысле чужой?

— В таком, что всякий, кто в нашем городе не имеет прописки,— для меня чужой. А для чужих я — ПАМЯТНИК ЧУГУННОГО ЛИТЬЯ XX ВЕКА. РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ! — гордо пояснила урна.

Вот тут я здорово разозлился. Что же это такое творится?! Свои. Чужие. Наши. Не наши. Проверка документов. Что за дикость такая!

Я как закричу:

— Ты чего — сдурела?!

А урна очень даже спокойно отвечает:

— Чего разорался? Между прочим, вы, люди, сами все это первые и начали. Кто требовал для каждой нации отдельную урну? Кто тут с флагами бегал и орал: «Верните нам урны предков!»? А никто их у вас и не отбирал. Сами повыкидывали, между прочим. А заодно и народу извели целую кучу. Да Бог

с ними, с вашими. Наших сколько погубили!

Урна всхлипнула.

Я решил уточнить:

— Подожди. Какие ваши? Какие еще такие ваши?

В глазах же уже рябит, нехорошо так.

— Да такие, как я,— говорит мне урна.— Только в нашем городе за годы советской власти по политическим мотивам уничтожено более четырехсот урн разных модификаций. Наши энтузиасты недавно узнали о трагической судьбе инвентарного номера 288-Б, которая стояла на углу проспекта Революции. Специальным распоряжением ВЦИК в 1931 году она была направлена в переплавку. А за что, знаешь? За то, что в нее два раза плюнул Троцкий.

У меня закружилась голова.

— Скажите, урна, вы что же — собираетесь ей теперь ставить памятник?

— Да жива она,— радостно закричала урна,— жива! Спасибо вашей бесхозяйственности — уцелела. Теперь стоит во дворе краеведческого музея и пишет мемуары под названием «Звездные плевки человечества».

Мне стало стыдно. Я собрался с силами, откашлялся и обратился к урне:

— Послушайте, мы действительно наделали кучу глупостей. Но сейчас, пусть с ошибками, пусть медленно и коряво, но мы налаживаем. Понимаете?

— Надоело понимать,— заурчала урна.— И вообще, я тебе скажу, вы свой исторический шанс упустили. Мы тут недавно наших собирали. По регионам. Покалякали. Съезд провели. Приняли целый сверток документов. Между прочим, собирались на центральной свалке страны. Создано крупное совместное предприятие «Интерплевков». Председателем выбрали очень толковую пепельницу. В ней раньше, знаешь, чьи окурки лежали? Так что скоро мы будем решать — кому плевать на просторных улицах наших светлых городов!

Ноги мои подкосились, я рухнул на асфальт рядом с урной и тут же услышал ее голос:

— Отползай, мужик, слышь, отползай. Иностранец идет... Хэллоу, мистер,— обратилась урна явно уже не ко мне.— Хау ду ю ду? Ай эм сорри, это есть русский Ванька. Нагулялся. Йес. Как вам нравится русский девочки? Сенок ю...

Когда иностранец удалился, урна скосила на меня свой грязный глаз: — Видел, как человек плюет? Не тебе чета.

Я встал. Поправил узел галстука. Отряхнул брюки. Застегнул на все пуговицы пиджак. Вынул расческу. Причесался. Спрятал расческу. Наклонился над урной. И плюнул в ее зловонное нутрецо.

Урна подобрала живот и с легким поклоном громко произнесла:

— Покорнейше прошу простить, ваше превосходительство.

г. Кисловодск

Владимен ПРУДОВСКИЙ

Женщине, торгующей собой

Аморален образ жизни твой...
Что же ты для общества пропала?
Все стоят на вахте трудовой —
Ты лежишь в постели с кем попало.

Услаждаешь крупное жулье,
Фирмачей, дельцов
с большим доходом.

Это поведение твое
И не пахнет классовым подходом!

Почему же ты не занята
Пролетарским иль крестьянским
делом,

А в свои цветущие лета,
Позабыв про стыд, торгуешь телом?

Как шальная, тянешься к деньгам,
Знаешь лишь гулянки да попойки...
Отдаваясь классовым врагам,
Подрываешь дело перестройки.

Между тем, возможно, ты в ночи,
Не смыкая глаз, мечтаешь тайно
Как бы встать к мартиновской печи
Или сжать в руках
штурвал комбайна.

Да как знать! И ты, не спя ночей,
Делаешь по-своему немало:
Обдирая подлых богачей,
Бьешь в больное место капитала!

Стихи о прописке в советском паспорте

По залу продмага,
подобно ужу,
длинная очередь движется.
Все — с паспортами.

И я держу
мою пурпурную книжницу.
Ко всем паспортам
нет почтения тут,
ко всем отношение плевое.
Видные люди сюда не идут,
для них есть спецмаг,
спецстоловая.

И вдруг,
как будто ожогом,
рот
продавщице скривило:
какой-то приезжий

паспорт сует.
Ну есть же такие дебилы!
К нему повернув

головы качан,
с высот своего пьедестала
ему объясняет, что он —

баран,
фея торгового зала.
И вот

изучается паспорт мой,
так тщательно,
будто в чека.

Порядок. Беру я
дрожащей рукой
батон и пакет молока.
Я захожу королем

в магазин,
паспорт держу
на ладони...

Читайте, завидуйте,
я — гражданин
с пропиской
в данном районе.

г. Запорожье



«МЫ ВЫРОСЛИ, ЛЮБЯ РОССИЮ»

Страницы дневника княгини
Екатерины САЙН-ВИТГЕНШТЕЙН

...«Дневник 1914—1918» княгини Екатерины Николаевны Сайн-Витгенштейн (1895—1983) — пятый том основанной А. И. Солженицыным Всероссийской Мемуарной Библиотеки, вышедший в парижском издательстве Имка-Пресс в 1986 году.

...Древний немецкий род Сайн-Витгенштейнов известен в русской истории. Прадед Екатерины Николаевны — один из ведущих полководцев в 1812-м, позже фельдмаршал Петр Христианович Сайн-Витгенштейн. Отец автора дневника — крупный помещик, а вернее — хозяйственник и реформатор в Южной России.

«Вы были весьма проникательной барышней, — писал княгине в мае 1982 года А. И. Солженицын. — Вы в середине марта (1917-го. — Ю. К.) в Петрограде сформулировали, в общем, все то главное, что мне удалось восемью томами повествования, и в чем я тоже абсолютно уверен» (писатель имеет тут в виду свою эпопею о русской революции «Красное колесо»).

Дочь Екатерины Николаевны Мария Разумовская (оказавшись в эмиграции, Е. Н. вышла замуж за князя Андрея Разумовского, потомка знаменитого русского дипломата александровских времен в Австрии) в предисловии к дневнику рассказала о его истории следующее: «Когда в ноябре 1918 года князь Николай Николаевич Сайн-Витгенштейн со своей семьей перешел мост через Днестр между Могилевом-Подольским и поселком Атаки в Бессарабии, чтобы «на несколько дней» спрятаться от петлюровцев, его 23-летняя дочь Екатерина — Катя — захватила с собой в своем маленьком чемоданчике вторую, третью и четвертую тетради своего дневника. (...) Многие годы тетради лежали забытыми в ящиках, сначала в Чехословакии, после 1946 года — в Вене. Только после призыва А. И. Солженицына к старым эмигрантам (в 1975 году) наша мать вспомнила об их существовании*. Она выписала из них несколько страниц и послала Солженицыну, но когда впоследствии он выразил свой интерес к этому дневнику, она уже не могла переписать то, что писала 60 лет назад. Но читать она еще могла, и в течение почти целого года она читала свой дневник на магнитофонную пленку, сама исправляла машинописный текст, приняла деятельное участие в редактировании, написала несколько дополнений и эпilog.** Она умерла в 1983 году, в 87-летнем возрасте».

...За несколько месяцев до ее кончины мне посчастливилось познакомиться с Разумовскими в Вене, через которую, как известно, лежал путь всех новых эмигрантов, куда бы они ни ехали далее: в Париж, Нью-Йорк или Иерусалим...

Разыскавший меня в Вене по телефону Иосиф Бродский посоветовал обязательно пойти к Разумовским.

Екатерина Николаевна уже не вставала, лежала в высоких белых подушках. Но живо интересовалась происходящим в России. Увы, тогда, в октябре 1982-го, мне ее порадовать было нечем. Правда, через пару недель я зашел утром в газетную лавочку купить почтовую марку и увидел портрет Брежнева в жирной черной кайме. Я сразу же позвонил Разумовским...

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

* «Я очень прошу вас (...), — писал Солженицын, — напишите, кто сколько в силах и знает, — 2 страницы или 100. Дорог всякий человеческий материал — и даже тем более, чем дальше он от великих событий, а ближе к простой жизни. (...) Свидетельство каждого из вас бесценно». — Ю. К.

** Фрагменты дневниковых записей княгини Екатерины Николаевны Сайн-Витгенштейн-Разумовской, публикуемые нами с любезного разрешения издателей, воспроизводятся по вышеупомянутой книге: «Всероссийская Мемуарная Библиотека. Том 5. Кн. Е. Н. Сайн-Витгенштейн. Дневник 1914—1918. Умка-пресс, 1986». — Ю. К.

Броница, 27 июня 1917¹.

<...>

Россия гибнет! Может ли здравомыслящий человек не быть согласен с этим фактом? Сейчас никто из имеющих голос не говорит о родине, об отчизне, о России. Она больше не существует. Есть пролетарии всех стран, есть «вилна Украина», есть Финляндия, Сибирь, Крым, Кавказ, есть «вольный остров Котлин» и еще десятка два самостоятельных республик, но России нет больше. В теории, собрание всех этих разных организаций называется «Свободной Россией», но где свобода и где Россия, никто хорошо не понимает. У того, что называется Российской Республикой, нет президента и нет парламента, а есть «Совет Рабочих и Солдатских Депутатов»; нет ответственного министерства, а есть учреждение, именуемое Временным правительством, т.е. коалиция лиц, не имеющих власти, не имеющих силы и умения быть тем правительством, которого они носят название и полномочия. <...>

У нас нет общественного мнения, а есть выкрики большевиков и «ленинцев»; есть «великий трудовой народ», а все, что не он, т.е. люди, живущие не исключительно ручным трудом, это «буржуи», которых надо преследовать, грабить и искоренять; почти нет армии, но зато есть два миллиона и еще больше дезертиров; нет судов, но есть самосуды толпы; нет хоть малой доли того порядка, который был при «старом режиме», но есть весь разгул и развал анархии. Это слабая оценка нынешних событий, не передающая и десятой доли того, что мы сейчас переживаем. События развиваются с головокружительной быстротой, и не пройдет и несколько месяцев, как все мы ухнем в такую пропасть, что уж и не выберемся из нее.

Что самое ужасное, непоправимое, это то, что Россия навеки опозорена перед всем миром этой проклятой и нелепой политикой наших нынешних правителей — большевиков и социалистов. Ведь вот уже почти четыре месяца, как на нашем фронте «сепаратное перемирие» <...> Что стоит нам переживать это время, быть свидетелем этого позора, который падает и на нашу голову? Мы выросли, любя Россию, мы с детства привыкли почитать этот высокий идеал — патриотизм, любовь к родине. Теперь все рухнуло. Эту родину, которую мы считали великой, на наших глазах опозорили, втоптали в грязь! А что бы я ни дала, чтобы помочь спасти нашу родину, наш светлый идеал, поднять его на небывалую высоту и доказать всему миру, что еще жива Россия, не погибла ее честь и мощь под грязными сапогами хулиганов и товарищей!

А сейчас мы ничего не можем делать и должны видеть то, что для нас свято, поверженным в грязь и заплеванным подсолнухами и окурками. <...>

Я пишу все это не для того, чтобы послать в газету (свобода слова и печати ведь только в теории), не для того, чтобы сказать это «товарищам», которые не захотят слушать, а только для того, чтобы излить мою наболевшую душу. Эта нравственная боль бывает так велика, что я иногда чувствую, что не могу ее выдержать. Когда же это кончится?

Броница, 24 сентября 1917.

<...>

Нельзя клеймить человека негодяем, если не сочувствуешь его политическим взглядам. Я верю в честность Керенского и в его искренность. Винават ли человек, всю свою жизнь мечтающий о перевороте, о проведении ложных, но блестящих и заманчивых лозунгов социализма, о свободе, равенстве, братстве, винават ли он, если, поставленный во главе этого переворота, он старается провести немедленно в жизнь те идеалы, о которых раньше только мог мечтать? Разве Керенский развалил Россию?

Нет, тех, которые ее валили, были тысячи, а когда спохватились ее спасать, не нашлось должного противовеса. А теперь, справедливо ли винить одного человека в ужасной

¹ Стараюсь восстановить в памяти картины нашего последнего возвращения домой, в нашу родную Броницу. Первое, что нас поразило, было то, что там — как казалось — ничего не изменилось. Ничего не было видно от событий в Петрограде и Москве. На вокзале в Могилеве нас, как всегда, ждал любимый и знакомый экипаж и лошади. Кучер приветствовал нас по-прежнему.
(Прим. 1981 г.).

катастрофе, постигшей нашу родину, справедливо ли говорить, что Керенский не довольно честен и талантлив, чтобы спасти Россию? То, что сейчас происходит, — ужасно. <...> Но зачем искать одного виноватого? Надо храбро признаться, что виноваты все вместе или никто. Конечно, большевики бесспорно виноваты в том, что, будучи подкупленными, развращали своей пропагандой армию и крестьян; виноваты и солдаты, что, спасая собственную шкуру, бежали со своих позиций и убивали офицеров, которые старались остановить это бегство; виноваты и рабочие, которые ничего не делали для обороны страны, поглощали ее денежные средства; виноваты и крестьяне, не желающие давать хлеб городам и армии; виноваты и железнодорожники, и торговцы, и промышленники. Виноваты и разные политические организации и политические партии. Но можем ли мы сказать, что виноваты все, кроме нас, что мы страдаем безвинно? Конечно нет. Мы, т.е. наше сословие, уже в продолжение веков виноваты перед другими сословиями. Об этом мы не вспоминаем, но ведь это естественно, что ненависть к нам, к нашему сословию, ненависть, основанная на зависти, — должна же была вспыхнуть рано или поздно. Теперь они нас ненавидят упорно и зло, не различая отдельных личностей, а видя только все сословие «бар», «буржуев», «господ» и «панов», которое столько услужливых людей им советуют еще больше ненавидеть. Что они ненавидят нас, это понятно и это простительно, но ведь и мы ненавидим их, ненавидим так же зло и упорно, да еще вдобавок презираем их. Понятно ли это? По-моему, нет. Мы их обвиняем в глупости, в алчности, в скотской грубости и грязи, в том, что они лишены патриотизма и всякого человеческого понимания, кроме шкурных интересов. Что они темны и неразвиты, это конечно правда, но они ли в этом виноваты? Они не патриоты, им дела нет до России, но кто их учил любить родину? Алчность, грубость, нахальство и глупость — это их отличительные признаки, но разве можно требовать лучшего от народа, недавно бывшего рабом, от народа, не тронутого цивилизацией и культурой? А такое суждение о народе есть тоже только суждение о массе, а что отдельные личности есть и не такие — в этом мы могли сами неоднократно убедиться. «У нас» и «у них» в понимании друг друга вскрылась огромная и роковая ошибка. Обе стороны желают не понять друг друга, не сойтись, не простить, а желают победить.

Это приведет к самому большому несчастью, которое может постигнуть страну, — к междоусобной войне. Я не могу искренне желать победы той стороны, к которой принадлежу, т.к. не могу считать ее совсем правой. Если мне когда-нибудь предстоит быть казненной на гильотине, или что-нибудь в этом роде, я не буду считать себя обиженной. Теперь, когда все кого-то обвиняют, все на кого-то злы, у меня голова идет кругом. И я тоже возмущаюсь и обвиняю и злосю, но когда подумаю хорошенько, больше ничего не понимаю: обвинять некого. Виноваты все, и все должны это признать. Если нужна примирительная и искупительная жертва, я бы хотела быть ею. И конечно так думаю не одна я, еще и многие другие.

Броница, 2 октября 1917.

Сегодня у меня с утра что-то скребло по сердцу. Не зная, чем заняться, стала перечитывать старые номера «Нового времени» и наткнулась на «Был ли мятеж?». Как-то вышло, что я не читала его раньше. В нем описывается очень подробно все то, что теперь называется «Корниловским мятежом» и «Корниловщиной». Как могло случиться такое ужасное, такое чудовищное недоразумение? Нет, видно, России суждено погибнуть. Какой-то злой гений толкает ее к пропасти, не дает ей опомниться, поражает ее все новыми и новыми ударами. <...> Наверно, России придется испить до дна эту горькую чашу и пройти через много тяжелых испытаний. Если бы только знать, что все эти несчастья придут к обновлению, величию и счастью!

Я не считаю Корнилова мятежником и авантюристом, как его изображают все газеты. Это человек, достойный самого высокого уважения. Все, что он до сих пор делал, он делал из любви к России; а теперь на него восстали все, даже те, на поддержку которых он мог рассчитывать. Лидия Дмитриевна пишет, что в Москве говорят: «У Корнилова львиное сердце и бараньи мозги, и это-то и толкнуло его на преступление». У меня сердце обливается кровью, когда я читаю такие вещи! И как это похоже на москвичей, которые всегда гонятся за политической модой, крича «и я, и я с вами!». Я бы написала в этом духе Лидии Дмитриевне, но боюсь сказать слишком

много. Ее мне не хотелось оскорбить, она хорошая, только слепое верит и повторяет то, что говорят другие.

Есть еще одно течение, которое во всем совершившемся обвиняет Керенского. И с этим я не могу быть согласна. Как это может быть, чтобы Керенский нарочно подстроил всю эту историю, чтобы погубить Корнилова? Разве он не знал, что заодно с Корниловым он губит и самого себя? Уж одно то, что он навеки потеряет свой престиж в глазах тех, которые сейчас его уважают и продолжают ему верить, а это, кажется, последний элемент, на который он может опереться.

Думаю, что теперь каждый настоящий русский болеет душой за это дело. Может ли быть, что несколько боевых и доблестных русских генералов пали жертвой какого-то недоразумения, теперь, когда присутствие их в армии так необходимо? Зачем все складывается так плохо для России, как будто правда кто-то поклялся ее погубить?

У меня что-то в голове перевернулось, у меня сердце болит, болит до физической боли! Я не могу ни о чем другом думать. Хочется хоть поговорить с кем-нибудь, высказаться, а некому. Ведь даже здесь, пока пишу, я не могу сказать и половину того, что у меня в голове. Так тоскливо на сердце. Неужели правда ничего не спасет Россию? <...>

Я верю, что кровь людей невиноватых не может пролиться даром. Когда-нибудь эта кровь ляжет в основу будущего счастья России. Я не могу претендовать на то, что своей незначительной личностью когда-нибудь послужу России, так пусть меня сочтут достойной отдать за нее мою жизнь. Ведь она дорога только моим близким.

Подтверждение этой мысли о крови я нашла в одной статье «Нового времени»: на панихиде в Казанском соборе по офицерам, замученным в Кронштадте, в Гельсингфорсе, Выборге и на «Петропавловске», один из священников, о. Кондратьев, сказал слово. Он отец одной из 4-х жертв «Петропавловска». Он сказал: «Нет, Россия еще не погибла! Но кровь утверждается законом. Придет время, и земным поклоном воздаст русский народ тем, кто теперь погиб мученической смертью. Народ поймет, какую жертву принесли его лучшие сыны». И о. Кондратьев ни единым словом не обвиняет тех, которые зверски убили его сына. Он говорит о прощении, призвал забыть вражду, забыть обиды и всем вместе грудью стать, чтобы защитить любимую родину. Отец Кондратьев настоящий христианин. Он простил убийц своего сына, но можем ли мы сделать то же? Можем ли мы простить «чм» эту ненависть к нам? Можем ли мы заранее простить их желание убить нас? Да, это необходимо.

Пусть сам Господь Бог рассудит нас, а я с моей стороны желаю возможно больше счастья будущим гражданам будущей свободной и великой России.

Р. С. А все-таки я боюсь насилия, боюсь той минуты, когда толпа ворвется сюда с явным намерением убить нас. Боюсь того, что кого-нибудь из моих убьют у меня на глазах, убьют раньше меня; боюсь, что меня схватят, может быть будут мучить, убьют не сразу. Мы будем стараться спастись, бежать, или спрятаться в отдаленных комнатах, будем стараться отбиться, будем стрелять, защищаться. Но их будет много, нас мало; они войдут... Если бы они нас только расстреляли! Издали бы, не подходя близко, не трогая нас. Ведь расстрелять — это скорее всего. Всех вместе и скоро. Это было бы самое лучшее, но все-таки сколько надо пройти, чтобы дойти до этого! А я всегда думала, что не боюсь смерти. Я ничего не знаю, лучше не думать. Ведь жить тоже страшно!

И все-таки не верится, что все это может случиться!

Бронница, 29 октября 1917.
Большая столовая.

Первый час ночи. Мы с Татьяной¹ дежури́м. Все спят. Значит, настали хорошие времена.

Расскажу все по порядку.

Второй переворот в Петрограде, тот, что был приурочен к 20-му, уже совершившийся факт. Он начался 22-го, но понемножку, а разразился 25-го. «Революционный комитет» начал действовать 20-го, но негласно. Мы с нашим вечным опаздыванием газет узнали первые новости только 27-го. Прочли о призыве Керенского к Совету Российской Республики помочь ему в борьбе с большевиками и о преступном отказе последнего. В воздухе пахло бурей. Мы ждали в лихорадке следующего дня. Вчера, когда пришла почта, мы не

успели еще открыть сумку, как пришла Нудичка¹ и поздравила с новым премьером — Лениным. Мы с Ольгой² мирно играли в четыре руки «Демона» и, услышав это известие, так и обмерли. Бросились доставать газеты из сумки. Читали их как сумасшедшие, ища глазами ужасные факты, стараясь угадать подробности.

Переворот совершился легко и быстро. В последнюю минуту на стороне Временного правительства оказались только юнкера, ударники, женский батальон, да, кажется, несколько казаков. Весь Петроградский гарнизон и весь Балтийский флот стал на сторону большевиков. Где находятся члены правительства, пока точно неизвестно. Ходят слухи, что Керенский не то арестован, не то убит, не то успел скрыться в Ставку, откуда ведет войска на Петроград. Последнее мнение менее всего вероятно. В Совет явились солдаты с броневидами и разогнали его. Поделом. Большевики, конечно, времени не теряли: объявив правительство низложенным, они устроили новый кабинет в таком составе: министр-председатель — Ленин, министр внутренних дел — Троцкий, военный министр-диктатор — Верховский (недаром же он был удален из кабинета и выслан из Петрограда), министр труда — Коллонтай. Других пока не придумали.

В Петрограде все перевернулось: на улицах дерутся, везде вырыты окопы и построены баррикады. Большевики заняли мосты, вокзалы, почтамт, госуд. банк, телеграф. Город в их руках. Зимний Дворец, где члены правительства зашились с группой преданных юнкеров, был обстрелян из пушек Петропавловской крепости и с крейсера «Аврора», который вошел в Неву. Конечно, после этого Зимний Дворец был тоже занят, так же, как и Мраморный Дворец.

Мы знали, что вести будут плохие, но таких, кажется, не ожидали. Одно короткое сообщение очень неприятно привлекло наше внимание: анархия поднимается в армии и во всех прилегающих к фронту губерниях. Уже в Виннице пехотный полк разбил арсенал и раздал оружие толпе; к нему присоединился пулеметный полк.

Несмотря на все эти известия, все остались совсем спокойны. Только маме ничего не сказали, боясь, что опять повторится с ней припадок. Сказали, что газеты не пришли: Все реагировали на дурные известия по-своему: Андрей³ со страшной энергией принялся за оборудование нашего «форта», о котором я буду говорить ниже. Мы с Татьяной и Ольгой стали вносить последние поправки в те мужские «товарищеские» костюмы, которые приготовили днем раньше. Переодевшись, может быть удастся бежать, если ночью. Несмотря на платье, мы не можем походить на «товарищей». Папа вызвал казаков из конторы: Нудичка стала соорудить свой заветный ящик.

К вечеру стало известно, что разграбили одно из соседних имений; говорили — не то Ротмистровку, не то Карповку. Настроение еще натянулось. Хорошо утешать себя, что это «начало конца», что это кризис, после которого или все погибнет, или все исправится, но как подумаешь, что можешь не дожидаться этого конца, — становится страшно. <...>

Время от времени мы делаем обходы: по коридору, к входной двери, в столовую. Таким образом можем слушать все, что делается кругом. «Клементий» (маленький револьвер Clément) лежит в кармане моих товарищеских штанов, которые надеты под юбкой. Пока все благополучно.

3 ноября 1917.

...Вечером ярко освещенные комнаты, с забытыми окнами, имеют очень уютный и даже безопасный вид. Решено, если будут бить стекла и рубить ляды, мы стреляем. Пока никто не пробует нападать, только изредка ходят и ездят вокруг дома какие-то личности. Это пока не очень важно. Мы готовы ко всему, но с тех пор, как есть ляды, все успокоилось, спят и даже, кажется, перестали думать, что что-нибудь может случиться. Лидия Дмитриевна написала вчера, что их уезде (Тульской губернии) уничтожили 35 имений, в соседнем тоже столько же. Все это очень тяжело.

Сегодня газеты не пришли. Вчера был один номер «Киевлянина». Новости очень утешительные: Керенский со своими войсками (Уссурийская дивизия) пришел в Гатчину, гарнизон сдался без боя. Красное Село взяли с бою, причем было

¹ Надежда Владимировна Соколова — прислуга. — Ю. К.

² Ольга Николаевна Сайн-Витгенштейн (1900—1943) — младшая сестра автора дневника. — Ю. К.

³ Андрей Николаевич Сайн-Витгенштейн (1899—1939) — младший брат автора дневника. — Ю. К.

¹ Татьяна Николаевна Сайн-Витгенштейн (1894—1974) — старшая сестра автора дневника. — Ю. К.

убито 500 матросов-большевиков. В Петрограде ожидают прихода Уссурийской дивизии с часа на час. В городе творится что-то неопишное: война на улицах, между большевиками с одной стороны и юнкерами, ударниками и ударницами с другой, продолжается. Большевиков много: весь Кронштадт, весь Петроградский гарнизон и «красная гвардия». (Почему это гвардия, один Бог знает!) Если не подойдут войска с фронта, будет плохо. Я что-то не верю, что все это будет так скоро ликвидировано и что это кончится благополучно. Что-то очень тяжело на сердце, будто предчувствие чего-то плохого.

В Петрограде громят квартиры, убивают на улицах прилично одетых людей и обещают устроить Варфоломеевскую ночь для всех буржуев. В городе все время стреляют картечью. Зимний Дворец и Государственный Банк разграблены. В Москве в Кремле засели большевики, которых будто бы выгнали оттуда юнкера. Кремль был обстрелян артиллерией с Ходынки. В Киеве казачий съезд решил наводить порядок, но, кажется, Центральная Рада хочет объявить себя на стороне большевиков. В городе тоже артиллерийский и пулеметный огонь. Везде все перевернулось и рушится.

P.S. Ленин издал декрет о переходе всей земли «трудовому народу». Может быть, скоро это отзовется и здесь. Кажется, он хочет национализировать и частные банки. Все по трафалету.

6 ноября 1917.

Кошмарные известия из Москвы: уже который день идет бой между юнкерами и большевиками. Город все время обстреливается артиллерией; разрушают дома, убивают мирных жителей. По всем улицам, на всех площадях идет перестрелка. Кремль поврежден, но еще неизвестно насколько. Жертв с обеих сторон — масса. Большевики, кажется, одерживают верх. Москва горит. Никогда еще Россия не видала такого позора.

Из Петрограда еще неизвестно ничего точного. Ходят разные темные слухи. <...>

В Бронце — все спокойно. Получаемые известия производят тягостное впечатление на гарнизон нашей крепости. Особенно тяжелы эти события под аккомпанемент австрийской канонады, которая усиливается с каждым днем. Правда, теперь эта канонада не пугает. Как далек тот теплый августовский вечер, когда мы, сидя на скамейке перед домом, слушали те же отдаленные раскаты артиллерии. Смеркалось. Перед нами ярко горела полоса кроваво-красного заката. Тогда казалось, что за этой яркой полосой происходит что-то ужасное. Тогда каждый удар отдавался в сердце. Теперь тут все ждут австрийцев, как избавителей. Помещики-поляки не скрывают своей радости, что враг приближается; крестьяне даже говорят, что «хоть бы уж немец шел поскорее, может быть при нем будет больше порядка». Даже наши тоже говорят, что желают прихода немцев. Говорят это, конечно, через силу, но очень уж все это опротивело.

Я еще не могу заставить себя думать так. Подумать, что здесь будут немцы, что они тут будут хозяевами! Нет, уж лучше пускай здесь будут большевики! Они хоть только звери, а не культурные люди; они снесут все, но перед ними не будет так стыдно нашего позора! А пройти через ужас отступления нашей армии, чтобы потом видеть (в лучшем случае) утрово-насмешливое соболезнавание немцев — нет, лучше большевики!

7 ноября 1917.

В Москве кончилась война на улицах, но власть осталась вся в руках большевиков. Сейчас командующий Московским округом — солдат Муралов. Остальное все в том же роде. В Кремле разрушены Успенский собор, Чудов монастырь, Никольские ворота. Дальше идти некуда. То, чем Россия гордилась веками, в один день было разрушено варварскими руками озверевших солдат. Зачем теперь культура, памятники старины? Зачем собор, где короновались все русские цари? Россия гибнет. Ее топят в грязи и крови ее же сыновья. Какое чудо воскресит дух народа? Какое чудо заставит его опомниться и спасти то, что он же и погубил? Нет, это делает не чудо, потому что русский народ больше не достоин его, а это делает великая нужда и горе и, может быть, тяжелый гнет иноземного рабства. Только слезами горячими да морем крови смоемся весь тот огромный позор, которым покрыла себя Россия! Я, которая верила, что русский народ получит награду за свое долголетнее страдание, теперь

начинаю думать: достоин ли этой награды тот народ, который рушит древние храмы, для которого нет ни Бога, ни чего-либо святого? Может быть он когда-нибудь и получит эту награду, но раньше он тяжело искупит свои преступления.

9 ноября 1917.

Разве поможет, что большевики поссорились, что товарищи Шляпников, Рыков, Ногин и Коллонтай выразили протест против действий товарищей Ленина и Троцкого, что «Викжель», показавший себя большевистским 29 октября, сожалеет об этом 7 ноября; что «комиссар народного просвещения» тов. Луначарский протестует против вандализма в Москве и слагает с себя звание «народного комиссара», а на другой день принимает его обратно? Поможет ли, что «революционный комитет» объявляет Керенского изменником и хочет судить его? Поможет ли, что Муравьев издает «Приказ № 1 по обороне Петрограда», где солдаты, матросы и красногвардейцы официально призываются к самосуду, где им предписывается «беспоощадно и своими силами расправляться со всеми подозрительными элементами»?

Россия соскочила с рельс 27 февраля и остановится только тогда, когда упадет до самого низа откоса. Беда в том, что те рельсы, по которым она бежала раньше, были так ветхи, так ненадежны, что она не могла не сойти с них. Ну да что говорить о прошлом? Его не вернешь и не исправишь.

Кажется, что в Москве еще пострадали собор Василия Блаженного, колокольня Ивана Великого и все остальные здания в Кремле. Когда немцы расстреляли Реймский собор, мы кричали, что это варварство, мы посылали свои протесты в какое-то международное бюро. Теперь мы собственными руками уничтожили Успенский собор и Кремль. Что это? Как это назвать? Разрушая Успенский собор, где короновались все русские цари, мы разрушили все то, что до сих пор короновало величие нашей родины. Вся красота старых преданий, все то, что нам завещали предки, — уважение перед культурой и искусством, любовь к родине, вера в Бога, — все это было уничтожено в один день. Нового нельзя будет создать. Надо, чтобы на культурном народе лежала печать древности, а мы ее стерли. Что мы создадим себе на ее месте?

Еще одно разочарование: казаки, на которых надеялась вся Россия, говорят, что им «не улыбается роль спасителей России». Они не будут вмешиваться в смуту и будут сохранять нейтралитет, заботясь о порядке только в своей области. Какое им дело, что Россия гибнет? Даже с правительством Ленина они будут вступать в «деловые сношения». Каледин в Новочеркасске, по-видимому, и не думает предпринимать того крестового похода, который ему предписывали. О Корнилове ничего не слышно. На кого теперь надеяться?

В Москве новый командующий округом назначает на места полковых и ротных командиров — солдат. Тоже хорошая мера для спасения родины. Интересно знать, куда же он девает командиров? В солдаты?

12 ноября 1917.

За эти три дня случилось то, чего ждали с таким тяжелым чувством все помещики: земля объявлена собственностью «трудового народа». Последние два дня этот «трудовой народ» делит нашу землю и дерется из-за нее так, что уже сейчас «все морды друг другу набок своротили», как выражается картинно Василий (наш машинист). Странно, что пока этим занимается только Григоровка, а Бронца еще не воспользовалась позволением брать чужое добро.

Нас ограбили, нас пускают по миру, но разве сейчас это кого-нибудь интересует? 9 ноября революционная «демократия» исполнила то, о чем мечтала: нанесла ненавистным буржуйам самый чувствительный удар — уничтожила их родные гнезда. <...>

Пускай Россия погибнет! Она опозорена, она жить дальше не может! Но пускай и мы умрем с нею, чтобы не видеть ее позора, не видеть презрения всего мира, не слышать презрительного смеха над ее истерзанной душой. Сейчас все настоящие русские пусть спрячутся подальше, чтобы те союзники, которые раньше уважали их родину, а теперь презирают ее, не слышали их стоны. Сейчас торжествуют предатели, немецкие ставленники, сейчас весь мир отшатнулся от России с омерзением, так пусть же придет поскорее тот убийца, который закроет мои глаза, которые больше не в силах смотреть на позор моей родины!

Сейчас вечер, и мы с Ольгой, как всегда, сидим в моей комнате; я за столом, она на диване в углу. В комнате тепло, горит яркая лампа. Ольга хочет писать «дневничок». Ей хочется, а лень. Мне это очень знакомо. Я только что прочла «На дне», а вчера начала читать «Мать», но не могла кончить, потому что не нашла вторую книгу, где конец. Впечатление странное. Будь бы это год тому назад, не знаю, как бы я это усвоила. Наверно, иначе. Теперь же мне более понятны некоторые места из книги «Мать». Я до них уже дошла, уже доросла; они мне не чужды, несмотря на «все рабочие» — наши братья, все богатые — наши враги». Я бы хотела видеть только хорошие стороны учения Павла Власова и Андрея Находки. Пока я дошла до красоты этого учения, а М. Горький и другие социалисты дошли до большевизма. Это все портит. Они сами уничтожили то, что сами же создавали, или что сами воспевали.

Мы с Ольгой говорим о том, что бы мы делали, если бы могли решать сами. Два дня тому назад я прочла рассказ Л. Андреева «Иуда Искариот и другие» и до сих пор нахожусь под впечатлением его. Я люблю рассказы такого содержания; даже этот подействовал на меня сильно, на мое лучшее я, которое сидит где-то глубоко. Мне все равно, что рассказ написан не так, как я бы хотела, что мне многое в нем не нравится. Есть некоторые слова, мысли, которые затронули что-то внутри меня, и это что-то как-то особенно хорошо откликнулось и звучит. Мне хочется перестать быть такой, какой я была до сих пор. В сердце хорошее чувство, но беспокойное.

Я говорила Ольге, что хотела бы сделать что-нибудь, чтобы служить человечеству, людям. Если бы были другие времена, я может быть пошла бы в монастырь. Или не в монастырь, а в общину. Мне больше всего хотелось бы быть сестрой милосердия в какой-нибудь больнице вроде Екатерининской в Москве, где персонал исполняет только свои официальные обязанности, где так мало сердечного отношения к больным, так мало участия и теплого чувства. По временам мне кажется, что я бы могла порвать со всем тем, к чему привыкла, и отдать себя, свое сердце тем несчастным, которые нуждаются в участии.

Ольга говорила, что она бы хотела лучше жить, как живут все, и ходить, например, в такую «ночлежку», про какую я ей говорила, будучи под впечатлением «На дне». Она думает, что всюду можно найти таких людей и делать им добро, не порывая с той жизнью, которой мы живем. «Жить на своей квартире в Петрограде, иметь знакомых, пить чай с вареньем и ходить в ночлежку» — это формула, но это только фантазия. Это тоже неплохо, но я не думаю, что у меня бы хватило духу «жить на квартире и пить чай», а потом вернуться; я бы хотела быть бедной, чтобы не быть верблюдом, проходящим в ухо иглы.

Вечером, лежа на кровати, я читала Евангелие. «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга». Сколько раз я читала эти великие слова. Но теперь это правда была «заповедь новая». Что-то прозрело у меня на сердце, мне показалось, что я поняла и узнала что-то новое, что-то огромное. На сердце стало сразу светло и спокойно. Я вспомнила что-то, что знала уже раньше.

26 ноября 1917.

По слухам, Корнилов и Мартов прибыли в Новочеркасск. По пути следования Корнилова с текинцами, к отряду прикомандовали ударники (будто бы 7000 с 42-мя орудиями), которые подрались с большевистским бронированным поездом и разбили его, а потом взорвали железнодорожные пути. Пока текинцы и ударники шли походным порядком, привлекая на себя внимание большевиков, Корнилов, (будто бы) переодетый солдатом, без документов, преспокойно доехал до Новочеркаска в вагоне 2-го класса. Мартов доехал так же, но с ним было 5 солдат. Где Деникин, Орлов, Эрдели и другие, пока неизвестно. Дай Бог, чтобы все уцелели и принесли бы пользу нашей несчастной России. <...>

Правда, что то зло, которое сделали Троцкий и Ленин, не поправят и не искупят даже Корнилов и Каледин. Если в этом последнем бою победят большевики, если казачество будет разбито, уничтожено, то тогда начнется что-то такое, по сравнению с чем теперешние переживания покажутся детской игрой. Тогда начнется тот ужасный повсеместный террор — «красный террор против всякого врага демократии» — которым пока только страшатся.

Не писала почти месяц, а многое изменилось за этот месяц! Сейчас мы уже не представляем собой то счастливое исключение из тысячи наших собратьев-дворян, то исключение, которое заставляло меня чувствовать даже некоторое угрызение совести. Сейчас и мы, подобно многим другим, захлестнуты той волной, в которой уже тонут столько наших собратьев.

Брония уже не существует: ее разгромили, разграбили те казаки, прихода которых мы ждали, как прихода помощи против грядущих бед.

То, что сами мы сидим сейчас на Садовой улице № 16, — это, по-моему, милость Божья, а для желающих — очень уж счастливая случайность. Надо бы рассказать по порядку то, что произошло за эти последние недели, но не знаю, хватит ли энергии, чтобы пережить, хотя бы мысленно, то, что было. Попробую.

Не помню которого числа в село Броницу и в Григоровку стали приходить эшелоны казачьих войск. Солдаты говорили, что части пробудут долго, что они будут здесь формироваться, что одна сотня застряла в Атаках (Бессарабия), где ее задержали большевики. Все это нас радовало. Мы думали, что если под боком 4 или 5 сотен казаков, можно спать спокойно. Но скоро заметили, что это соседство не так уж приятно: стали ходить слухи о насильном отбирании овса в магазине¹ и просянки на току.

Об этом громко не говорили: все-таки это казаки и наши защитники! Скоро всем было известно, что магазин каждую ночь взламывают, увозят овес и пшеницу и наводят панику на наших служащих. Впечатление было тяжелое: в пресловутую доблесть наших защитников — казаков перестали верить. Об этом не говорили во всеуслышание, а только между собой, или на вечерних заседаниях нашей «коммуну». Казаки ночью отбивали замки, увозили набранные нами мешки с пшеницей, а остальные разрезали. Свидетели говорили, что все они пьяны, что крестьяне сами пьют их самогонкой. Конечно, все ждали плохого конца. <...>

Прошло еще несколько дней. Мы все так же ходили гулять, кормили кроликов, даже ходили на лыжах. А тем временем каждую ночь что-нибудь да крали: были в большом погребе под домом, украли много бутылок с фруктовыми соками (искали вино!); на черном дворе крали каракулевых овец; на току вырезали всю кожу со всех наших экипажей. Наконец, в ночь на 11-е случилось то, чего мы ждали все лето.

В этот вечер, 10-го, «заседание» было молчаливое: Татьяна писала, я читала «Униженные и оскорбленные»... «А у меня сегодня такое чувство, что не будет «метушох», — сказала Ольга. «У меня тоже. Кажется, что ничего не может быть», — сказала я. Татьяна смеялась. Прошло около часа, когда к нам вбежала Клавдия. «Татьяна Николаевна, скажите князю, у нас под окнами все кто-то ходит. И когда мы возвращались от Виссариона, в парке ходили несколько солдат». Она была очень испугана. Татьяна пошла к папе, который в это время говорил по телефону с Ляшко в конторе. Татьяна не захотела мешать и стала смотреть в наблюдательную дырку. В эту минуту оборвали телефонную проволоку. Папа стал пробовать звонить на завод, в Григоровку, в Могилев, но все четыре проволоки были оборваны. Никто не отвечал.

Сейчас за этим раздался стук в дверь. И Ольга, и я были так уверены, что сегодня ничего не будет, что даже не встали из-за стола. Я продолжала так же спокойно читать, как будто ничего не случилось. Только когда стук повторился и папа прошел по коридору, говоря Андрею и Бобе: «берите оружие», я тоже вышла в коридор. Тут уже были: мама², Боба³, Андрей, Татьяна и Ольга. Папа пошел в спальню за оружием. Мы стояли и слушали. Стук был такой глухой, что казался далеким, и мы не могли разобрать — где стучат? Одни говорили, что на чердаке. Андрей принес лестницу и полез на чердак через открывающуюся стеклянную раму, служившую вентиляцией. Он заглянул на чердак, потом полез в темную дыру. Мамулечка очень волновалась. Если бы на чердаке что-нибудь было, тогда разведка была бы безум-

¹ Магазином назывался у нас склад всего, что собиралось с полей. (Прим. автора.)

² Мария Павловна Сайн-Витгенштейн, в девичестве Зубова (сконч. в 1927 г.) — Ю. К.

³ Борис Николаевич Сайн-Витгенштейн (1890—1919) — старший брат автора дневника. — Ю. К.

ством. Андрей слез, говоря, что там тихо. Стук повторился сильнее. Стучали в дверь в конце коридора. Стук был такой глухой, потому что дверь была устроена так: входная дверь, потом огромная лядя, припертая двумя колами, потом маленькое пространство величиной с квадратный аршин и еще запертая дверь. Через эту тройную баррикаду стук доходился довольно слабо. Я вернулась в комнату, достала свой Clément и вернулась ко всем. Странно, как я была спокойна. Только сердце билось сильно да руки дрожали. Около двери стояли уже папа, Боба и Андрей. Мама, Таня, Ольга и Нудичка прошли в задние комнаты.

«Кто тут? Зачем стучите? Что вам надо?» — слышались папины окрики. Но за тройной дверью его не слышали.

«Кто здесь? Не откроем!» — Раздался шум бьющегося стекла. Это разбили окно над первой дверью. Стало слышнее. Мы могли слышать только то, что говорилось внутри дома.

«Что вам надо? Не ломайте!» — Папин голос все более показывал нам на серьезность положения. Мы слышали тревожные переговоры, что дверь поддается. Тут была минута смятения: мама была в спальне и одевалась потеплее, на случай необходимости выйти. Мы тоже надели сапоги и кое-что теплее. Андрей прибежал и принес массу теплых вещей: на случай, если придется идти в погреб, где было очень холодно. Ольга выдумала переодеться в мужское платье и была почти раздета. Это страшно ее волновало. Татьяна помогала ей одеться. Я стояла у дверей большого дома, слушая, все ли там тихо. Туда было очень легко проникнуть из-за наружных ляд. Прислуга столпилась тут же. Параска и Килина попробовали заплакать, но Клавдия уговорила их быть похрабрее, и они замолчали.

Мы все собрались в спальне; горела одна свеча на маленьком столике. Папин голос выдавал все большую тревогу: «Не ломайте!! Что вам надо? Не откроем!».

Была минута, когда раздался треск и кто-то в коридоре сказал, что дверь взломана. «Отходите, отходите!» — говорил папа мальчиком и крикнул еще раз: «Не ломайте! Мы будем стрелять!»

Когда у нас в спальне услышали страшную весть, что дверь взломана, никто не сказал ни слова. Татьяна и Ольга заперли на ключ две двери; осталась одна, в которую могли бы войти наши. Я стояла около маленького столика и смотрела на пламя свечки. Сейчас вижу перед собой ее свет. Когда сказали, что трюмы уже вошли, я перевела мой Clément с «sûr» на «feu». Больше ничего. Ольга стояла рядом, держа свой дробовик. Все молчали, и, могу сказать почти наверно, страха не чувствовал никто.

Когда версия про дверь оказалась неверной, мы с Ольгой вышли в большую столовую. Теперь переговоры вел уже Боба, через окно (с лядой) в кухне: «Товарищ предводитель, у нас нет таких денег! Да подождите же, товарищи, мы дадим, что можем!»

Товарищ грабитель требовал 6000 р. и давал 5 минут на размышление, но тут же согласился взять 3000 р. и дал 10 минут, чтобы их собрать. Начали скрести. С той минуты, как заговорили о деньгах и выкупе, мне показалось, что опасность миновала. Возник вопрос, как отдать деньги? В ляде на парадной двери был еще раньше сделан прорез. Товарищей пригласили к парадной двери.

«Посторонитесь, товарищи, сейчас упадут осколки стекла». Боба ударил револьвером по стеклу.

«Товарищ предводитель, получите 1000. Нашли? Получите другую... Но вы исполните ваше честное слово? Ну, конечно, я вам верю, как честному человеку».

Я стояла в соседней комнате и, слушая последние слова, засмеялась и переглянулась с Ольгой. «Честный человек» при таких условиях — это было комично.

«Товарищ предводитель, получили 2000? Теперь подождите минуту». Наскребли еще. «Товарищ предводитель, получите 500. Есть? Получите еще 500, есть?»

Произошла заманка. Товарищи требовали еще, говоря, что им недодали. Боба старался их сплавить. Он напоминал про честное слово и т. д. Те все-таки ладили свое. Наскребли еще 300.

«Товарищ предводитель, получите еще 300 и помните ваше честное слово!» Наконец Бобины доводы помогли: грабители ушли, говоря: «Клянемся Богом, что мы вас больше не тронем. Раздевайтесь и ложитесь спать. Вы нас удовлетворили. Но не говорите никому о нашем приходе, а то придем и не оставим камня на камне». Попросили вина, коньяку. «Если был бы коньяк, я бы давно выпивал с вами», — сказал Боба.

Наконец они ушли. Вся эта история длилась 50 минут с чем-то. Мы все собрались в большой столовой около кресла, на которое села мамулячка. Все признали, что героем дня был Боба. Если бы он не предложил столкнуться, папа бы выстрелил, а тогда Бог знает, чем бы все это кончилось.

Боба рассказывал. Это была хорошо организованная шайка, у которой был товарищ предводитель и товарищ комиссар. Начали они по известному трафарету: «Вы проклятые буржуи, довольно нашу кровь пили!» и т. д. Под окнами их было человек 9, а в отдалении ходили еще несколько фигур. Все пьяные. Пока Боба высматривал в дырку, на него были наведены винтовки. Когда говорили о деньгах, один говорил другому: «Стреляй в этого — другой будет разговаривать». Когда Боба сказал, что 6000 в доме нет, товарищ предводитель сказал: «Товарищ комиссар, готовьтесь исполнять мои приказания и жечь флигель». Один был так пьян, что сидел на ступеньках около парадной двери и только повторял: «Жечь флигель, жечь флигель». Винтовка выпала у него из рук и скатилась со ступенек. Потом его увели под руки. Они сказали: «Вы не можете никого позвать, мы перерезали провода».

После пережитых потрясений всегда хочется, чтобы было поуютнее. С каким-то особенным чувством все собрались в этот вечер вокруг чайного стола. Старались свести разговор на нейтральную почву, но это не удавалось. Опять начинали вспоминать подробности, рассказывать впечатления. Всем не хотелось расходиться по своим комнатам: клятые товарищи грабителей не очень-то верили. Долго обсуждали вопрос, оставаться ли всем в Броннице или кому-нибудь ехать в Могилев? Ехать не хотелось никому, но довольно было посмотреть на измученное лицо мамулячки, чтобы понять, что остаться и рисковать подвергнуть ее еще такому испытанию — немыслимо. Было решено, что останутся только папа, Боба и Надя.

Я ушла к себе около двенадцати. На ночь остались дежурить Надя и Боба. Я надела на себя мужское платье: рубашку, кальсоны, носки и верхние панталоны; слегка притушила спиртовую лампу и так легла. Ольга была так же одета. Эту ночь я буду долго помнить: полумрак в комнате, лампа на столе, неудобство лежать одетой и сильнейшая головная боль — эту картину я представляю себе, как будто это было вчера. Я никак не могла заснуть: все прислушивалась к тому, что делается на дворе и в доме; потом заснула и проснулась ночью из-за страшной головной боли. Лампа все так же уныло горела на столе; было тихо. Мне стало вдруг страшно. Воспоминание о вечернем происшествии не давало мне покоя. И насколько я была спокойна тогда, настолько теперь я чуть не дрожала от одного воспоминания.

На другой день с утра началась укладка самых необходимых вещей. К вечеру, когда все устали донельзя, подали лошадей. Тяжело было прощаться с Бронницей: все знали, что мы ее бросаем на разграбление; все предчувствовали, что больше ее не увидим. Страшно было и за остающихся. Около трех часов мы выехали и добрались до Могилева за светом. <...>

13-го утром папа позвонил, что приедет с Бобой нас навесить. Приехали около одиннадцати часов. Оказалось, что они не вернутся в Бронницу: ночью опять было нападение, хуже, чем в первый раз. Опять ломились, разбили окно, выстрелили в воздух (чтобы испугать?), опять разорвали проволоки телефона, требовали вина и золота, говорили, что знают, тут живет офицер; отобрали последние 1300 р., папино обручальное кольцо и часы. Наконец, ушли, крича, чтобы им к следующей ночи приготовили 15 000 р., а то они все разнесут и сожгут. Помещиков обещали не выпустить. Это была та же пьяная шайка. Второе нападение было около часа ночи. Решено было уехать папе и Бобе утром, возможно незаметнее, без вещей, а в ночь на 16-е в экономию пришла чуть ли не вся сотня и разнесла все. От Бронницкого дома остались только стены.

Когда-нибудь я напишу подробности. Напишу, как русские солдаты, из ненависти к людям, которых даже никогда не видели, разорили родное гнездо тех, которые еще так недавно готовы были отдать все для таких же, как они, представителей русской армии. Напишу, как бронницкие крестьяне, освобождаемые из-под ненавистного ига помещиков, вместо того чтобы радоваться, уговаривали не губить экономию и даже спасали наши вещи и мелкий скот и потом переправляли его нам.

Теперь все — все равно. Пока существовала Бронница, казалось, есть хоть один уголок в России, где есть еще мир и тишина. Теперь нет и этого уголка. Все — все равно.

Последний день 1917 года. Есть чем помянуть этот год! Вряд ли в истории хоть одной страны найдется такой же. Он страшен не революцией, не кровью — он страшен всем тем морем подлости, бесчестия, грязи, которое протекло в течение этого года по лицу несчастной России! Бывало ли когда-нибудь, чтобы народ сам, собственными руками, погубил, разрушил свою родину? Чтобы народ слепо, глупо и добровольно проклял все свое и бросился в рабство своего проклятого врага? Чтобы все хорошее называлось порочным и все подлое, грязное, преступное — святым? «Интернационал! Братство народов! Мир всему миру! Свобода, Равенство и Братство! Великие завоевания революции!» — вот лозунги 1917 года. А что мы видим на самом деле? «Интернационал» — предательство родины; «братство народов» — уничтожение всего русского и подхалимство перед немцами; «мир всему миру» — карикатурные переговоры в Бресте; «свобода, равенство и братство» — грабеж, убийство, произвол пьяного большинства, массы, над отдельными личностями; «великие завоевания великой революции» — те же насилия, произвол, события вроде тех, которые сейчас происходят в Черноморском флоте, убийства, самосуды! Да, будет чем помянуть 1917 год. Его запомнит история!

А чем его помянем мы, бедные современники, которых когда-нибудь пожалеет история? Виноваты ли эти современники во всем случившемся? Этот вопрос не дает мне покоя. Осудит ли нас история, как осудила дворян французской революции? Может быть, мы виноваты в темноте русского народа, породившей много бед, но виноваты ли мы, что он продал свою родину на поругание врагу? Да, да, виноваты, во многом виноваты. Даже мы, наше поколение. Но неужели мы заслужили такую кару?

1917 год отнял все то, что у нас было святого; отнял все, что мы любили. Где наша родина и где наша живая, счастливая вера в ее мощь? Где наша вера в людей, наши иллюзии? У нас отняли родину, веру во все хорошее, отняли даже наше родное гнездо. Трудно после этого начать жить сначала! Еще в течение этого проклятого года были минуты искреннего увлечения, веры во что-то светлое. Даже этот год дал большую часть этих новых мыслей и увлечений. Но этот же год разбил и уничтожил эти увлечения, эти иллюзии навеки. Что может теперь их воскресить? Разве только чудо.

Когда говорят: «17-й год довел нас до конечной точки. Дальше идти некуда», — я всегда возражаю: «Мы ли дошли до точки? Нам ли идти некуда? Подождем, что даст нам 18-й год. Когда мы познаем настоящее несчастье, когда мы будем совсем придавлены им, так, что будем уметь только ползать, а не ходить (мы раньше думали летать!) — тогда мы помянем добром теперешнее время». Кто отпил хоть глоток этой чаши, тот уйдет только изломанным и озлобленным. Не дай мне Бог остановиться посередине.

<...>

Могилев-Подольский, 1 января 1918.
Садовая 16

Говорят, как встречаешь новый год, так проведешь его. Это хорошо было говорить при царе Горохе, когда вообще года мало отличались друг от друга. То, как мы встречали 1917 год, не было похоже на то, как мы его провели: 31 декабря в Петроград приехали папа и Нудичка. Нудичка привезла из Киева массу конфет, торт, а из Броницы окорока и многое другое. Вечером Владимир накрыл стол по-праздничному: серебро, красные чашки, гора угощения. Наша красивая столовая имела очень «тонный» вид. Около девяти часов мы сдвинули по углам всю мебель в «музыкальной» (она же и «сарай») и устроили дикий бал под граммофон. К двенадцати был подан холодный ужин. Все были на редкость веселы. Выпили по рюмочке наливки и, конечно, желали друг другу весь год провести счастливо. Мы с Ольгой, с бутылкой наливки, пошли в кухню, поздравлять служащих. Там были гости и шел пир горой. Их было так много, что мы смутились и поспешили скрыться, пожелав всех благ.

Тогда все было так весело и забавно. Долго еще не могли уговориться, и когда легли, то не думали, что через год мы будем почти рисковать быть расстрелянными в собственных кроватях.

5 января 1918.

Это все хорошо рассуждать, что революция принесет пользу нынешней молодежи, что она заставит ее встряхнуться,

и т. д. Это и моя теория. А все-таки хотелось бы пожить получше, поспокойнее, посчастливее. Конечно, жизнь редко кто проживет хорошо, спокойно и счастливо, так что нужно помириться с теперешним положением вещей. Во многом революция принесла пользу: она заставила некоторых углубиться в самих себя, заставила серьезно думать о тех вопросах, которые так навязчиво выдвинула. Она заставила многих одуматься и раскаяться. Она заставила многих вспомнить и даже понять, что жизнь — это тяжелый долг и испытание. Это — польза для молодежи, для будущих граждан. Это — заслуга революции.

Но, с другой стороны, революция (кроме того, что уничтожила Россию, что есть великое неискупимое преступление по отношению к патриотизму и истории) сделала огромное количество людей озлобленными, что есть преступление не меньшее по отношению к человечеству. Какой фундамент для жизни многих таких будущих граждан? Что они с ним сделают в жизни? Наверно только вред, много вреда.

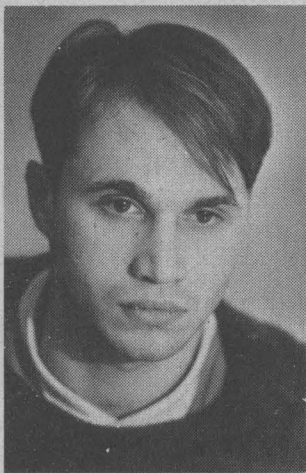
Как уравновесить эти две противоположности? — Допустим, что то хорошее, что зародилось в сердце некоторых, не умрет, хотя это почти невозможно при ныне сложившемся положении; оно не умрет и, пройдя через все трудности и разочарования, только больше окрепнет. Смогут ли только чувство, хотя бы и светлое и хорошее, бороться против всего того зла, которое живет теперь (силою вещей) в сердцах других? И зачем эта борьба? Сейчас слишком трудно представить себе нормальную жизнь людей, жизнь обществом, а не всех людей врозь, что сейчас есть жизнь большинства. А если нет этого общества, нет той арены действий людей, мыслимо ли влияние добра на зло? Оно немислимо в политике, потому что нет России; оно почти немислимо в общечеловеческих отношениях, потому что нет общения, нет общества.

Чувство любви христианской, любви ко всем и, главное, чувство всепрощения может зародиться в сердце человека сейчас больше, чем раньше. Это чувство может зародиться под влиянием того толчка, который дала революция. Эта любовь, это всепрощение может преобразить человека, может поднять его дух на большую высоту. Что должно быть на душе того, который в ответ на всю эту ненависть, несправедливость, неблагодарность и зло, которые так обыкновенны в наше время, может сказать источнику этого зла, чувствуя, что говорит правду: «Я вам прощаю, а если я был когда-нибудь виноват перед вами, простите меня». Какая отрада и поддержка в теперешнее тяжелое время не чувствовать в своем сердце той злости и ненависти, которой кипит все кругом. («Вы делали зло лично мне, я вам прощаю».) Это чувство может жить в сердце только того человека, у которого все отняли, который получил столько несправедливых ударов судьбы, что не ожидает уже ничего другого. Все перенесенное и сознание своей вины и греховности заставляет его простить другим. Но таких людей немного. Сколько таких, которые в ответ на каждое новое несчастье еще больше озлобляются и только мечтают о мести. «Подождите, когда придет время, мы вам выплатим все с избытком! Будет и на нашей улице праздник!» Вот что говорят и думают многие.

Может ли то высокое чувство христианской любви и всепрощения остаться в сердцах тех, которые уже раз нашли его пребывание? Можно ли его уберечь в своем сердце, несмотря на все? Ведь в ухабах жизни так легко потерять всякое хорошее чувство. Люди такие слабые и такие несчастные своей слабостью!

А все-таки это счастье возможно! Надо только любить. Надо постараться стать на ту точку зрения, что то, что мы называем земными благами, это не так устойчиво и важно. Раньше было трудно стать на эту точку зрения, теперь стало легче. Куда делось все то, что считалось высшим благом? Богатство, знатность, значение в обществе, карьера, собственность? Ничего этого больше нет. Лишенный всего этого, человек невольно останется один на один со своей совестью.

Если все это случилось, кто виноват? Если все, что я считал прочным, — рухнуло, за что же ухватиться? Ответ может быть только один: «Ты построил свой дом на песке». Если была сила сознать это, будет ли сила построить другой, на камне? <...>



Эпитафия

ПАМЯТИ ЗАЙЧИКА

В третьем классе было велено принести свои любимые игрушки: собирали помощь вьетнамским детям. Приносили кто «получше», кто «похуже», кто совсем уж шикарные. Разные семьи — разные уровни! Бедный мальчик Саша принес единственную и очень любимую: затертого плюшевого зайчика. Сортировка проходила прилюдно, в классной комнате. После этой процедуры у каждого, как и полагается, сложилось достаточное представление о материальном положении товарища.

Дошла очередь и до Саши. Взяв зайчика за уши и потрясая им, Галина Яковлевна иронично и горланно изрекла: «А вот посмотрите, пожалуйста, дети, что нам Саша принес». «Повальный» смех. Саша сидел подавленный: опустив голову, он закрывал ладошками багряные от стыда щеки.

Зайчика, естественно, никуда не отправили, но и Саше не вернули. Прошло время. Как-то класс согнали на пришкольный участок расчищать хлам. Мусор собрали в кучу и устроили костер. Запыхавшись, прибежал Коля — озорник и забияка. В руках он держал того самого зайчика. Как зайчик попал к нему, до сих пор никто не знает. Потрепав игрушку, Коля с ухмылкой швырнул ее в костер. Стояли одноклассники, стояла Галина Яковлевна — большинство смеялись. А Саша смотрел на догорающего зайчика и плакал...

Так мы усваивали непреложное: коллектив — это сила.

* * *

Кто не играл в детстве в войнушку? Витя и Леша — вечные драчуны — тоже играли! Витя был красноармейцем, а Леша — белогвардейцем. Витя и Леша «сражались» на крыше школьного сарая. В результа-

те Витя «победил»: столкнул Лешу вниз. Леша сильно покалечился и долго лежал в больнице.

Когда всем классом обсуждали поведение Вити, то единогласно решили оправдать его: «Ведь он же белогвардейца хотел убить!»

Так мы научились давать классовую оценку событиям.

* * *

Больше всего ребята любили уроки пения, потому что на них было весело. Сам преподаватель настаивал, правда, на том, чтобы его предмет называли уроками музыки, а его самого — непременно Учителем.

У Учителя тоже была большая «любовь» — актывый зал, оформленный согласно его концептуальному плану. Стены зала обтянуты кумачом, а вдоль красных стен стенды, отражающие кипучую деятельность и широкие интересы всеми любимого вождя: «Ленин и музыка», «Ленин и елка», «Ленин на субботнике», «Искра»...

Учитель любил пошутить! Например, когда троечница Таня пришла на урок без пионерского галстука, он заставил ее прилюдно снять колготки и завязать на шее. Затем приказал маршировать по периметру зала. Таня чеканно маршировала, старательно отмахивая руками. Сам Учитель при этом патетически наигрывал на рояле похоронный марш и декламировал: «Колготки мы носить умеем, а галстуки — нет! Это же ваш партбилет!»

На этом экзекуция не закончилась. Учитель усадил Таню в центре зала с мальчиком, который ее особенно обижал, и долго играл новоиспеченной «чете» свадебный марш Мендельсона. Ребята дружно смеялись над женихом и невестой.

Так нас учили беречь и уважать символы.

* * *

В любом коллективе всегда найдется человек «не от мира сего». В этом классе таковой являлась тихая, незаметная девочка. А все дело в том, что Света верила в Бога.

С атеизмом, как известно, было все в порядке. Ведь даже всеми уважаемый преподаватель литературы неоднократно объяснял:

— Если читаете книгу и встречаете слово Бог, заменяйте его на слово Судьба!

Грустная судьба ждала Свету.

Над Светой исподтишка подсмеивались. Часто на переменках в ее присутствии свершались боготворческие оргии. Излюбленным занятием было рисовать карикатуры: «Это Светка богу молится».

Прошло время. Пролетели годы. Светлана стала многодетной мамой. Перестала ходить в церковь, а затем и вовсе сняла крест. Уехала с мужем-офицером в далекую Сибирь, «охранять» зону. Мама пыталась отвести дочь в местную церковь к батюшке, чтобы посоветоваться, как жить дальше. Но Света твердо заявила, что «к попу больше не пойдет никогда».

Так нас «обращали».

* * *

«Мы все учились понемногу...»
Валя — казначей класса — тоже училась.

Классная руководительница громкогласно объявила:

— Каждый должен написать письмо в поддержку Луиса Корвалана. Будьте любезны.

Почему-то никому этим не хотелось заниматься. Валя смекнула:

— Не хочется — не надо, — обрадовалась она к классу. — Я собираю деньги. Текст сама напишу.

Деньги Валя собрала. По тем временам немалые. Открытки и конвертики купила. Самые дешевые! Добросовестно подписала и снесла на почту. А оставшиеся от операции денежки припрятала в копилочку — разноцветного гипсового котика.

Тайна, видимо, не давала покоя юному неопытному сердцу, и Валя решила поведать ее своей лучшей подруге.

На следующий день подружки отдыхали по полной программе: ходили в парк на аттракционы, ели эскимо и мармелад. Были очень довольны!

Так мы постигали азы коммерции.

* * *

Особый интерес в классе представляли девочки-активистки. Они были неприступны, как средневековая крепость. Их расположением пользовалась лишь небольшая часть мальчиков, с которыми эти девочки, упрямые галстуки в портфели, бегали на переменках курить в подворотню.

...Шел урок географии. Кате — болтушке и веселушке — вцепили «двойку». Заслуженную. Катя решила ликвидировать «злую» страничку в дневнике: изорвала ее в клочья и спустила ворох бумаг в унитаз. Ликвидационный процесс наблюдала Вика — активистка. Вика пообещала никому не рассказывать...

На следующий день на внеочередном классном собрании состоялась «суд Линча», Катю «судили»: Вика — «плюмбум», подделывавшая подписи, Ница — известная всей школе гуляка, менявшая себе кавалеров чуть ли не каждую неделю... Педантично шло дознание. Выяснились мотивация и обстоятельства проступка. Говорились обличительные речи...

Катя, не выдержав нападков хулиганов, выплеснула:

— Не вам с вашими пороками меня обсуждать.

И ушла. После этого Катю больше никто не трогал, но девочки активистками остались.

Так мы учились защищать себя.

* * *

Эти истории можно рассказывать до бесконечности. Каждый отыщет в них параллели из собственной жизни.

Кем же выросли мы?

Добавлю, что действие происходило в московской спецшколе №18, в которой ребяток пытались окунать в безбрежный океан французского языка. (Теперь у школы другой номер.)

Игорь ГРИЦЕНКО

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЮНОСТЬ» за 1991 год

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ

АКСЕНОВ Василий. Московская сага	5—11
АМБЛЕР Эрик. Маска Димитриоса	7—9
БЕРДЖЕС Энтони. Заводной апельсин	3, 4
ВАСИЛЬЕВ Борис. Капля за каплей	4, 5
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Андрей. Рэнзю	10
ГЛАДИЛИН Анатолий. Репетиция в пятницу	2
ДЫШЕВ Сергей. И своей невысказанной болью	1
ЗАЙЦЕВ Борис. Жизнь Тургенева	2—4
НАРБИКОВА Валерия. «Великое князь»	12
ПОЛЯКОВ Юрий. Парижская любовь Кости Гуманкова	6—8
ПОПЛАВСКИЙ Борис. Аполлон Безобразов	1, 2
Домой с небес	10
САЗАНОВИЧ Елена. Тристана	5
СКАЛДИН А. Странствия и приключения Никодима Старшего	9—11
СКОРОБОГАТОВ Александр. Сержант Бертран	6
ЧЕСТЕРТОН Гилберт К. Три рассказа об отце Брауне	1
ЯКИМЧУК Николай. Прогулки с Ляо-Саном	12

РАССКАЗЫ

БАКЛАНОВ Григорий. В ожидании милостей. Неужели — опять?	7
БУЛЫЧЕВ Кир. Любимец	9
ДАНИЛОВА Дарья. Сны	11
ЛАВРИН Александр. Общество воздержания от нецелесообразного	2
ЛИМОНОВ Эдуард. Красавица, вдохновлявшая поэта	2
МАЛОЮГИН Александр. Порода	3
ПЕРЕЯСЛОВ Николай. До100яние и100рии	3
ПРИГОВ Дмитрий. Описание предметов	3
ПРОТАСОВ Сергей. Трактую. Ты и др. рассказы	3
СЕРГЕЕВ Андрей. Об упорядочении наименований исторических центров страны	3
ХАНДУСЬ Олег. Мародеры	12
ХЛУМОВ Владимир. Сухое письмо	12
ХОФМАН Феликс. Театр сюрреаль	12
ШАРЫПОВ Александр. Рассказики	3

СТИХИ

АГРАЧЕВА Марина	2
АМЛИНСКИЙ Андрей	5
АНДРЕЕВ Михаил	3
АРАБОВ Юрий	10
БАЧУРИН Евгений	3
БАШИРОВ Вячеслав	8
БЕЛЯЕВ Александр	8
БЕЛЯКОВ Александр	4
БЛАЖЕЕВСКИЙ Евгений	11
БЛИНКИНА Маша	12
БОКОВ Виктор	3
БУРДИНА Вера	8
БУШУЕВ Дмитрий	9
БЫКОВ Дмитрий	11
ВАНШЕНКИН Константин	11
ВАСИЛЬЕВ Сергей	12
ВИНОГРАДОВА Лилия	2
ВОЛОДАРСКИЙ Леонид	3
ВОЛЫТСКАЯ Татьяна	12
ГАМЗАТОВ Расул	4
ГРИГОРЬЯН Леонид	6
ДЕЛОНЕ Вадим	2
ДЕМЕНТЬЕВ Андрей	1
ДМИТРИЕВ Николай	6
ДРУСКИН Лев	2

ЗАВАЛЬНЮК Леонид	7
ЗАГOTOBA Светлана	4
ЗАМОСТЬЯНОВ Арсений	9
ЗНАМЕНСКАЯ Ирина	3
ИСАЕВА Елена	1
ИСКРЕНКО Нина	11
ИРТЕНЬЕВ Игорь	7
КАЙДАНОВ Аркадий	6
КАЛЬПИДИ Виталий	1
КЕНЖЕЕВ Бахыт	2
КИБИРОВ Тимур	11
КОВАЛЬДЖИ Кирилл	3
КОЗЛОВСКИЙ Яков	9
КОХАНОВСКИЙ Игорь	7
КРЕПС Михаил	2
КРЫЛОВА Элла	12
КУДИМОВА Марина	4
КУЛАКОВА Марина	8
ЛЕВИТАНСКИЙ Юрий	5
ЛИПКИН Семен	4
ЛОСЕВ Лев	2
ЛЫСЮК Анна	8
МАКАРОВ-КРОТКОВ Александр	12
МАКСИМЕНКО Татьяна	7
МАКСИМОВА Мария	12
МЕЖИРОВ Александр	1
МЕЛАМЕД Игорь	9
МЕСЯЦ Вадим	3
МИСЮК Владимир	3
МУРАВЬЕВА Ирина	2
НЕЧАЕВ Антон	7
НОРДХОФФ Ханс Бернхард	10
ОКУДЖАВА Булат	8
ПАШКОВ Юрий	12
ПУХАНОВ Виталий	4
РЕВИЧ Александр	6
РЕЙН Евгений	7
РИЗДВЕНКО Татьяна	3
РЯЗАНОВА Алла	9
САЛИМОН Владимир	7
САФРОНОВ Леонид	5
СОЛНЦЕВ Роман	2
ФЕЛЬДМАН Мара	4
ХАТКИНА Наталья	5
ХЛЕБНИКОВ Олег	6
ХЛЕБНИКОВА Марина	8
ЦВЕТАЕВ Анатолий	2
ЦВЕТКОВ Алексей	12
ЧУРАНОВ Иван	10
ШВАРЦ Елена	12
ШИРЯЕВ Андрей	12

ПУБЛИЦИСТИКА

АНТОНОВ Анатолий. Кризис власти. <i>Интервью К. Михайлову</i>	10
АРБАТСКАЯ Галина. Рюмин-Рязанский, или Эпоха увольнения от войн	9
БЕЛИКОВ Юрий. Я пришел дать вам долю	8
Не поднимай голову, когда свистят птицы	10
БИЗНЕС-КЛУБ	9, 11
БОГУСЛАВСКАЯ Зоя. Европейки в Америке	1, 2
БРОДСКИЙ Иосиф. Напутствие	2
БУРИН Сергей. Плацдарм	5
ВОЗНЕСЕНСКАЯ Юлия. Записки из рукава	1, 2, 3
ГАМАЮНОВ Игорь. Как изменяют КГБ	6
Двойная жизнь агента «Литовченко»	11
ДЕМЕНТЬЕВ Андрей. Возвращение в будущее	2
КАУФМАН Эндрю. Письмо русскому автолюбителю	3
КОРОТИЧ Виталий. Наедине	7, 8
КОСТРОВ Марк. Рдейский рай	3
КРИВОВ Александр. Переселение народов начинается с Костромы. <i>Интервью К. Михайлову</i>	9
КУБЛАНОВСКИЙ Юрий. Технология страха	3
ПАНКОВ Юрий, РЫСКИН Александр. Таинственный остров	3

ПАНЧЕНКО Александр. В чем наша надежда? <i>Интервью Р. Раматуллину</i>	4
ПЕРЕЛЬМАН Виктор. Театр абсурда	4, 5
ПЛАТКОВСКИЙ Александр. Я помню Тяньаньмэнь	6
«Последний вздох сатаны?» Августовский путч глазами Т. МАЛКИНОЙ, Н. БАНЭРДЖИ, Г. ЯКУНИНА, И. КЕМАРСКОЙ, Г. АНОХИНА, К. ПРИВАЛОВА и участников анкеты журнала	10
РУМЯНЦЕВ Олег. Опасность новой закрытости. <i>Интервью К. Пушилову</i>	10
РЫЖОВ Юрий. Вид с 14-го этажа. <i>Интервью Р. Раматуллину</i>	8
САВЕЛЬЕВ Олег. Быть русским	3
САЛЬНИКОВА Людмила. Баллада о прекрасной даме	9
СМОЛЕНСКИЙ Александр. Не пора ли за кордон, господин банкир?	5
СУПРУНЕНКО Павел. Война убивает правду	6
ТКАЧЕНКО Александр. Возвращенная книга Олжаса Сулейменова	11
ТОЛСТОЙ Николай. Жертвы Ялты. Публикация подготовлена Р. Золотаревым	5, 6

КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

АНАСТАСЬЕВ Николай. Драма идей	7
Всё во всем («Улисс» Джеймса Джойса)	8
Поражение как успех	11
БАХМИНА Татьяна. Пять минут свободы	2
Без иллюзий. (<i>Беседа Анны Пузач с Владимиром Максимовым</i>)	8
ГАЗДАНОВ Гайто. О Поплавском	10
ДЕДКОВ Игорь. «Они» всегда знали о нас все. И сверх того...» (<i>Беседа вел Андрей Амлинский</i>)	9
ЗОЛОТОНОСОВ Михаил. Логомахия	5
ЗОЛОТУССКИЙ Игорь. «Другого пути к спасению я не вижу»	2
ИВАНОВА Наталья. Жизнь прекрасна?	1
КАРАБЧИЕВСКИЙ Юрий. Улица Мандельштама	1
КРЕЙД Вадим. Борис Поплавский и его роман	1
О Скалдине и его романе	9
ЛИМОНОВ Эдуард. «В этом был какой-то азарт»	2
ПУГАЧ Анна. Действующие лица, организации и исполнители	2
ПЬЯНОВ Алексей. Рассказы об Ираклии Андроникове	7
ТАРАТУТА Евгения. Гори, гори, моя звезда	7
ЧУДАКОВА Мариэтта. Весной семнадцатого в Киеве	5
НАСЛЕДИЕ	
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, Великий Князь. Главы из «Книги воспоминаний»	3, 4
ВЫШЕСЛАВЦЕВ Борис. Кризис индустриальной культуры	2
ЛЕОНТЬЕВ Константин: «Желать отечеству поэзии»	11
КОМАРОВСКИЙ Василий. Стихи. Проза	
МАМАРДАШВИЛИ Мераб. «Если кто и возвращается из ада...»	4
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, Великая Княгиня. Вдали от милой, дорогой России. (Письма к А. И. Куприну)	11
САВИНКОВ Борис (В. РОПШИН). Стихи	5

САИН-ВИТТЕНШТЕЙН Екатерина, княгиня. Мы выросли, любя Россию 12
ФЕДОТОВ Георгий. О национальном покаянии 8
ШАХОВСКОЙ Иоанн, епископ Сан-Францисский. Беседы с русским народом 5

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

АЛЕКСЕЕВ Илья. В поисках потерянной реальности 12
АЛЬБОМ «РУССКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ» (К. МИХАЙЛОВ, В. ПРОСТОВ, М. ТАЛАЛАЙ) . 4—7, 9, 10

ВЕЧЕРСКИЙ Юлий. Наш дорогой Юрий Александрович 11
ЗЕРЧАНИНОВ Юрий. Два глотка надежды 3

Дело было в городе Владимире 8
Дураковины Грини Кусочкина 12

КОКИН Олег. Бумажный корабль Марчелло 5
КОМИССАРОВА Майя. Вот приедет из Австрии 8

ЛЕВИТИН Михаил. Книга, написанная второпях 9, 10
ЛИПАТОВ Виктор. Басни шута 1

Коллежский асессор и живописи художник 3
«Джотто — прозвание мне» 4
Беспечный ездок 6
Пассажир корабля дураков 7
На краю бездны 8

НЕ СУДИТЕ. *Интервью, взятое у Ю. Шевчука* 11
М. Тимашиевой и И. Смирновым 11
РАССЕЛ Джон. Русский поэт открывает новый вид поэзии 10
СЛАВКИН Виктор. «Расскажи, о чем тоскует саксофон» 6, 7
ТКАЧЕНКО Александр. Он взял Нью-Йорк 2
ФЕДОРЕНКО Николай. Мир Сальвадора Дали 9

ПОЧТА «ЮНОСТИ»

«Исповедь поколений: о жизни и о себе». *Конкурс писем* . . 10—12
Письма из зоны. *Письма читателей и комментарий* 7
В. Абрамкина 5
Подборка читательских писем 5

СПОРТ

ЗЕРЧАНИНОВ Юрий. А если вплавь 7
ЛУКЬЯЕВ Владимир. Этот маршрут двадцать первого века 3
ЛЮБЕЦКАЯ Татьяна. Из жизни замечательного великана 6

ОРАНСКИЙ Игорь. Московский самурай 12
ПАСЫНСКИЙ Дмитрий. Неутраченные иллюзии 8
РЕЙЗЕР Леонид. Будем драться? Сами разберутся 1
ТКАЧЕНКО Александр. Тебе, Эдик 9

ЗЕЛЕННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

АВЕРЧЕНКО Арк., БУХОВ Арк., ЛАНДАУ Георгий, ТЭФФИ Н. А. Анатомия и физиология человека (Предисловие Мих. Андраша) . . . 1—5
БОРСКИЙ Николай. Ювенализмы Вечер короткого рассказа (В. Верижников, С. Власов, В. Дворцов, Е. Казанин, П. Капкин, В. Влимович, Г. Костовещий, А. Перлюк, О. Попов, О. Птенчиков, В. Ручинский, Ю. Решенцев, Ю. Снежков, В. Шендерович) 6, 9
ВИШНЕВСКИЙ Владимир. Иронические стихи 10
Второй микрофон, пожалуйста. Иронические стихи (С. Белорусец, Е. Бергер, И. Бондаревский, С. Ванетин, С. Сатин, В. Ширяев) 9
ДЕКЕЛЬБАУМ Алексей. Угон 11
ДРОБИЗ Герман. Из цикла «Входят трое» 8
ДУДОЛАДОВ Александр. Про букву «Г» 12
ЖВАНЕЦКИЙ Михаил. Любовь еще быть может 10
ЗАБАБАШКИН Вадим. Иронические стихи 1
КАНДЕЛЬ Феликс. Темнота. Экология 4
МЕЛИХАН Константин. В разных жанрах. Из записных книжек 11
ПРУДОВСКИЙ Владилена. Два стихотворения 12
ХОРТ Александр. Зона вечной теплоты 7
ЦАПИК Алексей. Урна 12

«20-я КОМНАТА»

АЛЕКСЕЕВ Илья. Отнесенные ветром 4
АРТЕМОВ Артем. От марксизма к идеализму-2 12
АУЗИНЬШ Модрис. Черным углем в дымоходной трубе. Стихи 5
БАЛОН Виктория. Странники и мифы 5
Искусство носить белые штаны 8
БАРТЕНЕВ Эдгар. Стихи 7
БЕЛИКОВ Юрий. Казачок потешного полка 3
БЕЛЯКОВ Владимир. Некий Скит 11
БОЛДЫРЕВ Юрий. «Одиноким себя не чувствую». *Интервью Р. Рахматуллину* 3
БЫКОВ Дмитрий. Всем повезло. Взгляд на нечто 9
ВЕЛИЧКО Светлана. Пойду искать по свету 12

ГАРФ Анна. Счастливики 11
Пантикапая 11
ГОЛОВАНОВ Владимир. «Двое в комнате — я и Нищие». Стихи 4
ГОРСКИЙ Юрий. Виноватые умерли 4
ГРИЩЕНКО Игорь. Памяти зайчика 9
«До востребования». Письма 12
ИРКАЕВА Екатерина. Н.К. КРИЧЕВСКИЙ Илья. Обрученный Садовым кольцом. Стихи 12
КРЮКОВ Дмитрий. Рок вокруг КУЗЬМИН Михаил. От восхода до солнца 4
ЛЕВКИН Андрей. Революционный этюд 8
МАЛЮГИН Александр. Темное дело с черным золотом 8
Он же и МИХАЙЛОВ Константин, РАХМАТУЛЛИН Рустам. Манифест редколлегии 4
«20-й комнаты» 10
Они же. Вон из Москвы! 10
МАРТЫНОВ Игорь. Заявление об отставке 9
На солнечной стороне истории. МАРЧЕНКО Вероника. Лучшая европейская «Двадцатка» 12
МЕЛЬНИКОВ Алексей. Человек Эпицентра. *Интервью К. Михайлову* 12
МУСАТОВ Алексей. Проснуться в России 12
НОВИКОВ Андрей. За миллиард лет до выстрела «Авроры» 3
Дилемма веры и свободы 5
Будущее исчезло 12
«Письма смертника». (Отрывки из книги) 8
«Письмо счастливого человека» 12
ПОМЕРАНЦ Григорий. Одинокая вера 8
ПРИМОСТ Валерий. Лекарство против морщин 6—7
Раскопки поколения. «Круглый стол» в записи А. Малюгина 7
Письма 12
РАХМАТУЛЛИН Рустам. Уйти нельзя остаться 9
Он же и ТАЛАЛАЙ Михаил. Русская идея в отсутствие капитана Грэя 11
РУМШИСКАЯ Марина. «Тюрьма и воля». *Интервью В. Марченко* 8
САЛЬНИКОВА Людмила. Что делать с Арбузом? 1
СОКОЛОВ Сергей. Олесь Доний как зеркало студенческого движения 7
СТАРЦЕВА Маргарита. (Письмо без заглавия) 11
СТРОЧКОВ Владимир. Больная Р. Поэма 6
УРОВ Александр. Записки возвращенца 9
ФИЛИППОВ Степан. Отчего мне невесело жить 12
ЧАЙКА Владимир. ЧАЙКА 11
Максим. Вместе нам 28. Графика 11

Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино

БЕСПЛАТНО распространяет среди библиотек страны художественную, общественно-политическую, естественно-научную, детскую и справочную литературу на английском языке, переданную в дар англо-американскими издателями.

Наш адрес: 109189, Москва, Ульяновская ул., д. 1, тел.: (095) 297-94-67

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЕвроРосс

предлагает следующие книги:

Сказки русского народа. Подарочное издание. 280 стр. 15 руб.

Сказки русских писателей. Подарочное издание. 300 стр. 15 руб.

Библия для детей. Сост. А. Соколов. Илл. Г. Доре. 479 стр. 28 руб.

Рассказы из русской церковной истории. История дохристианства и православия Руси. 440 стр. 30 руб.

Разбойники России. Исторические рассказы об атаманах. 250 стр. 29 руб.

Слово о полку Игореве. Подарочное миниатюрное издание. 110 стр. 10 руб.

Православный Молитвослов. Подарочное миниатюрное издание. 251 стр. 15 руб.

А.М.Афанасьев "Русские народные сказки" В трех томах.

Училище благочестия. Собрание историй назидательных, забавных из жизни церковной иерархии. 350 стр. 28 руб.

Книги выйдут в твердых обложках с цветными иллюстрациями.

Христианская жизнь по Добротолюбию. Избранные места из творения святых Отцов и Учителей Церкви. Мягкая обложка 240 стр. 28 руб.

А также, популярные серии:

СОВЕТЫ ДЛЯ ЖИЗНИ: Полезные советы. Славянский травник. Ребенок и семья. Советы о земле. Книги в твердых обложках с цветными иллюстрациями.

СКАЗКИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ: Русские народные сказки. Чешские народные сказки. Украинские народные сказки. Книги в твердых обложках с цветными иллюстрациями.

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА - ТЕБЕ: Правда о Святоте (Сергии Радонежском). История храма Христа Спасителя в Москве. Смутное время глазами современников, историков и писателей. Иван Забелин. Минин и Пожарский. Книги карманного формата в твердых обложках с иллюстрациями и фотографиями.

Подписчикам наших серий гарантируем последующие книги. Стоимость книг от 12 до 18 рублей. Залоговая стоимость одной серии — 30 рублей. Книги вы получите наложенным платежом с вычетом аванса в 1992 году.

КРОМЕ ТОГО, "ЕвроРосс" выпустило поздравительные открытки "С днем Ангела" двух видов, красочно оформленные на мелованной бумаге. Стоимость одной открытки - 1 руб. 20 коп.

Заявку, копию квитанции почтового перевода (наши банковские реквизиты: 117947 Москва, коммерческий Востокстройбанк р/с 468101, к/с 161531 МГУ Центрального Банка РСФСР МФО 201791), конверт с обратным адресом направляйте: 121069, Москва "ЕВРОРОСС".

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Юность» обязательна.

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ: Редакция не рецензирует рукописи и не возвращает. Рукопись может быть возвращена только при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на ее пересылку. Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в издательство «Правда» по адресу: 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24

Художественный редактор Юрий Петелин
Технический редактор Ольга Трепенюк
Оформление рекламы
Вадима и Владислава Игониных

Сдано в набор 09.10.91. Подп. к печ. 18.11.91.
Формат 84×60%. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.
Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75.
Тираж 999 000 экз. Заказ № 991.
Цена 1 р. 75 к.

Адрес редакции: 101524, Москва, К-6, ГСП,
ул. Тверская, 32/1.
Телефон для справок: 251-31-22

Отдел рекламы: 251-14-21

Типография издательства «Пресса»
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24

© Журнал «Юность», 1991 г.

Тел.: (095) 371 05 69

COMPUTER WORLD

КОМПЬЮТЕРУОЛД - СССР
USSR

С 1991 г. выходит на русском языке советско-американский еженедельник "КомпьютерУолд - СССР" - ГАЗЕТА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ.

"ComputerWorld" - ведущее издание среди двух тысяч газет и журналов этого профиля, существующих в мире. "CW" издается в более, чем двадцати странах: США, Англии, ФРГ, Франции, Японии... Все национальные редакции "ComputerWorld" объединены в единую информационную систему средствами глобальной электронной почты, поэтому наши подписчики оперативно получают материалы из общемировой сети "CW" о ситуации и тенденциях на мировом компьютерном рынке. Значительное место в газете занимают оригинальные статьи советских авторов о становлении этого рынка в СССР.

Стоимость годовой подписки на 1992 год (48 номеров):

для организаций - 576 руб.

для частных лиц - 144 руб.

КРОМЕ ТОГО, вы можете получить 12 номеров "CW" за 1991 г. Для этого необходимо перечислить на наш расчетный счет: 144 руб. (для организаций) или 36 руб. (для частных лиц).

Наш р/с 36200423 во Внешэкономбанке при ЦОУ Госбанка г. Москвы. Корр. счет 000165004. МФО 299112. Заявку, квитанцию почтового перевода или заверенную копию платежного поручения направляйте по адресу: 129223 г. Москва, ВДНХ, павильон 4, СП "ICE", фирма "КомпьютерУолд - СССР". Факс: 187 88 30.

... В МИР БЕЗ ГРАНИЦ!





Респектабельное
американское
семейство, восхищенное
результатами совместной
работы с фирмой
ИНТЕРМИКРО,
имеет серьезные намерения
поселиться в СССР
и найти работу
по душе.

Эпл Макинтош

Вы, конечно, догадались, что речь идет о семействе самых популярных в издательском мире компьютеров Macintosh фирмы Apple. Все журналисты и издатели зовут его по-свойски — Мак. Как, Вы не знакомы с Маком?

Наконец-то у Вас появилась такая возможность!

Вы наборщик? Корректор? Художник? Редактор?

- Вам нужен Мак!

Вы журналист? Ответсек?

- Вам обязательно нужен Мак!

Вы главный редактор?

- Вам просто необходим Мак!

Macintosh не один, это целое семейство. Какой из них станет вашим - выбирайте! Справиться с этой задачей вам поможет СП ИНТЕРМИКРО - генеральный представитель фирмы Apple Computer в СССР.

ИНТЕРМИКРО



Наш адрес: 107066 Москва,
Нижняя Красносельская, 39



Apple Computer

Телефон: (095) 267-32-10
Телефакс: (095) 200-22-38